



Социология за пределами обществ

*Виды мобильности
для XXI столетия*

Джон Урри

С Е Р И Я

С О Ц И А Л Ь Н А Я

Т Е О Р И Я

В Ы С Ш А Я

Ш К О Л А

Э К О Н О М И К И

С Е Р И Я
С О Ц И А Л Ь Н А Я
Т Е О Р И Я

SOCIOLOGY
BEYOND
SOCIETIES

*Mobilities
for the twenty-first century*

JOHN URRY

Routledge

LONDON AND NEW YORK

СОЦИОЛОГИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЩЕСТВ

*Виды мобильности
для XXI столетия*

ДЖОН УРРИ

*Перевод с английского
ДМИТРИЯ КРАЛЕЧКИНА*



*Издательский дом
Высшей школы экономики*
МОСКВА, 2012

УДК 316.4
ББК 60.5
У71

Составитель серии
ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Дизайн серии
ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Научный редактор
ЯКОВ ОХОНЬКО

У71 Урри, Дж.
Социология за пределами обществ: виды мобильности для XXI столетия [Текст] / пер. с англ. Д. Кралечкина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. — 336 с. — (Социальная теория). — 1000 экз. — ISBN 978-5-7598-0824-4 (в пер.).

В настоящей работе ведущий британский социальный теоретик Джон Урри утверждает, что традиционное основание социологии — исследование общества — утрачивает свое значение в мире, где происходит постепенное стирание границ. Если социология намерена внести свой вклад в понимание «постсоциетальной» эпохи, она должна забыть о жестких социальных конструкциях, существовавших до наступления глобального порядка, и сосредоточить внимание на различных видах физического и виртуального движения и перемещения. Предлагая такую «социологию мобильностей», Урри рассматривает путешествия людей, идей, образов, объектов, посланий, мусора и денег через международные границы и анализирует влияние, оказываемое такими «мобильностями» на восприятие времени, пространства, жизни и гражданства.

УДК 316.4
ББК 60.5

Authorised translation from the English language edition published
by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group

ISBN 978-5-7598-0824-4 (рус.)
ISBN 0-415-19088-6 (англ.)

© 2000 John Urry
All rights reserved.
© Перевод на рус. яз., оформление.
Издательский дом Высшей школы
экономики, 2012

СОДЕРЖАНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ.....	8
I. ОБЩЕСТВА.....	9
II. МЕТАФОРЫ	37
III. ПЕРЕДВИЖЕНИЯ	76
IV. ЧУВСТВА.....	116
V. ВИДЫ ВРЕМЕНИ	154
VI. МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ.....	190
VII. ГРАЖДАНСТВА	231
VIII. СОЦИОЛОГИИ	269
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	302
ЛИТЕРАТУРА	305

Мне кажется, что я бы всегда чувствовал себя хорошо там, где меня сейчас нет; и вопрос о переезде туда — вот что я обсуждаю непрестанно в беседах с моей душой.

Шарль Бодлер

Суть человеческого естества — в движении. Полный покой означает смерть.

Блез Паскаль

«Самость» это мало, но она не изолирована, а встраивается в сложную и мобильную, как никогда, ткань отношений.

Жан-Франсуа Лиотар

БЛАГОДАРНОСТИ

Я чрезвычайно признателен Грегу Майерзу, Филу Макнагтену, Брону Зерзински и Марку Тугуду за комментарии, а также их недавние работы, ставшие для меня источником вдохновения, и за сотрудничество в исследованиях. Я благодарен и ESRC за финансирование исследования: грант R000236768. Я также признателен за комментарии к одной или нескольким главам книги или за соответствующие статьи Нику Аберкромби, Эрику Дарье, Энн-Мэри Фортьер, Саре Франклин, Скотту Лашу, Джону Ло, Майку Майклу, Дорин Масси, Энн-Мэри Мол, Эндрю Сейеру, Мими Шеллер, Элизабет Шоув, Джеки Стейси, Сильвии Уолби и Джеймсу Уикэму.

Необычайно плодотворным для меня было научное руководство следующими докторантами в Ланкастерском университете в 1990-х годах, работы которых так или иначе оказали влияние на эту книгу: Кристофом Армбрустером, Булентом Дайкеном, Саоло Квернером, Моникой Деген, Тимом Иденсором, Кевином Хедерингтоном, Нилом Луисом, Ричардом Шарпли и Кэтлин Салливан.

Следует отметить, что большинство примеров, рассматриваемых в этой книге, относятся к тому, что я называю Северо-Атлантическим регионом; смысл этой отсылки к океану, пересекаемому морскими судами и самолетами, кабелями и спутниками, должен стать очевиден по прочтении книги.

Я очень признателен за поддержку в работе над этой книгой Эми и Томасу Урри.

Джон Урри
Ланкастер, март 1999 г.

I. Общества

На современном этапе человеческой истории сеть социальных отношений покрывает весь мир, абсолютных нарушений ее непрерывности нет нигде. Это ведет к затруднению..., которое состоит в том, чтобы определить значение термина «общество»... Если мы говорим, что предметом наших исследований и сравнений являются человеческие общества, то мы должны быть способны сказать и что они представляют собой в действительности.

А.Р. Рэдклифф-Браун [Radcliffe-Brown, 1952, p. 193;
Рэдклифф-Браун, 2001, с. 224]

ВВЕДЕНИЕ

В этой книге я намереваюсь разработать категориальный аппарат, пригодный для социологии как «дисциплины» на пороге нового столетия. Я собираюсь предложить манифест социологии, изучающей различные виды мобильности людей, объектов, образов, информации и отходов, а также сложные взаимосвязи между ними и социальные последствия этих разных типов мобильности. Отсюда и подзаголовок этой книги, который указывает, что это и исследование видов мобильностей в новом столетии и для него.

Я показываю, как разнообразные виды мобильности преобразуют исторически сложившийся предмет социологии в ее «западном» варианте, который был направлен на изучение отдельных обществ и их основных характеристик. Я фокусирую свое внимание на том, как развитие различных глобальных «сетей и потоков» подрывает эндогенные социальные структуры, которые, как предполагалось в социологическом дискурсе, обладают способностью воспроизводить самих себя. Я ставлю под вопрос понятие социального как общества и хочу показать, что каково бы ни было его значение в прошлом, в будущем оно не сможет играть сколько-нибудь существенной роли в качестве организующего понятия социологического анализа. Я пытаюсь разрабо-

тать новую повестку для социологии и выступить с манифестом по ее перестройке в эту «постсоциетальную» фазу.

В будущем понятие общества будет особенно широко применяться теми могущественными «национальными» силами, которые пытаются усмирять, контролировать и регулировать мощные сети и потоки, пересекающие их проницаемые границы. Новые правила социологического метода затребованы видимым упадком власти национальных обществ (независимо от того, действительно ли мы живем в глобальном обществе), до настоящего момента составлявших контекст социологических исследований. Коль скоро этих сильных обществ больше нет, я попытаюсь установить, какие новые правила социологического метода и теории могут оказаться пригодными в данных условиях. В частности, я собираюсь затронуть некоторые материальные трансформации, которые изменяют суть «социального». Особенно это коснется тех различных мобильностей, которые посредством множественности чувственных данных, воображаемых путешествий, движения образов и информации, виртуального и физического перемещения видоизменяют на материальном уровне «социальное как общество», превращая его в «социальное как мобильность».

Против этих тезисов можно выдвинуть три аргумента. Во-первых, часто говорится, что общество никогда не было центральной категорией социологии, что были и другие понятия, такие, как значимое действие, противопоставленная структуре деятельность (агенсу), интеракция или миросистема. Во-вторых, утверждается, что общества все еще не утратили своей силы и что национальные государства способны предпринять важные действия в области как внутренней, так и внешней политики, чтобы сохранить существующие паттерны власти. В-третьих, доказывается, что, поскольку «глобализация» подрывает сами основы социологии как отдельной дисциплины, утрачивающей свое центральное понятие — общество, постольку социологии, и не остается ничего иного, как поставить нечто на его место, дабы не завянуть вовсе.

Возражением на эти доводы могла бы стать прежде всего демонстрация того, что в странах Северо-Атлантического региона социология исторически была организована вокруг дискурса об «обществе» и, следовательно, зависела от условий, которые поддерживают их характерную структуризацию (таких, как функ-

циональная интеграция, социальный конфликт или базис и надстройка). Такая социетальная структуризация была связана с представлениями о том, что такое член или гражданин данного национального общества и что такое отдельные социетально гарантированные права и обязанности гражданства.

Далее, мобильности, вовлекающие бесчисленное множество различных технологий и объектов, проблематизируют возможности общества. Я покажу, как и в какой степени «социальная управляемость» поставлена под вопрос мобильностями, организованными в сложно структурированных временных и пространственных координатах. Целью данного анализа является решение вопросов, действительно ли такие виды мобильности подрывают социетальные границы и каковы степени и формы их проницаемости. Осмыслить такие мобильности сразу не удастся, для этого, возможно, придется использовать различные метафоры движения, в особенности метафоры сетей и потоков.

Кроме того, мобильности, пересекающие социетальные границы так, что само их проникновение образует неожиданные пространственно-временные паттерны, создают возможность новой большой повестки для социологии. Это повестка мобильности. Здесь и заключена ирония. Социология XX в. в значительной мере сводилась к изучению профессиональной, экономической, образовательной и социальной *мобильности*. В определенном смысле британская социология исходила из допущения, что различные коэффициенты вертикальной мобильности, фиксируемые для разных поколений или на протяжении нескольких поколений, являются центральным вопросом для социологической корпорации. С небольшой натяжкой можно даже заявить, что социология всегда считала мобильность своим «основным делом». Та формулировка, которую я буду разрабатывать в настоящей книге, предполагает, однако, несколько расхождений с этим характерным для социологии XX в. видением, центральным элементом которого выступает социальная/социетальная мобильность.

Очевидно, что мобильность считается как географическим, так и социальным феноменом. Во многих работах по проблемам мобильности общество рассматривалось как однородная поверхность, и исследователям не удавалось зафиксировать моменты географического пересечения региона, города и места с социальными категориями класса, гендера и этничности. В то

же время социология миграций в ее нынешнем виде слишком ограничена своими целями, чтобы быть нам каким-либо образом полезной. Более того, меня интересуют потоки людей как внутри, так и, главное, за пределами территории каждого общества, а также то, как эти потоки могут соотноситься с различными желаниями людей — со стремлением получить работу, жилье, доступ к какому-то виду досуга, исповедовать ту или иную веру, выстроить семейные отношения, незаконно обогатиться, найти убежище и т.п. Не следует забывать, что мобильность характеризует не только людей, но и многие иные «объекты». Я намерен продемонстрировать, что получившее развитие сравнительно недавно направление «социологии объектов» нуждается в дальнейшей разработке и что различные потоки объектов, проникающие сквозь социетальные границы, и их пересечения с множественными потоками людей чрезвычайно значимы. Наконец, мобильность понимается здесь главным образом в горизонтальном, а не вертикальном смысле, в отличие от большинства работ по социальной мобильности. Я анализирую плодотворность горизонтальных метафор как основания для преобразованной социологии.

Меня могут спросить: почему социология должна быть дисциплиной, занятой в основном изучением подобных форм горизонтальной мобильности? Не создается ли такой исследовательской фокусировкой постдисциплинарная социально-культурно-политическая наука, лишаящая отдельные дисциплины их места и роли? В самом деле, возможно, те отрасли, которые отвечают за названные глобальные потоки, вообще не будут нуждаться в академии, поскольку могут рефлексивно познавать (или думать, что познают), что именно вовлечено в сферу их действий, и потому могут сами исследовать главные процессы (как в пределах отдельных фирм, так и за счет частных мозговых центров). Так почему же социология должна изучать эти пересекающиеся горизонтальные мобильности?

Во-первых, большинство других дисциплин, принадлежащих к числу социальных наук, подвержены гораздо более экстенсивным формам дискурсивной нормализации, мониторинга и регуляции, что делает их плохими кандидатами для подобной постдисциплинарной перестройки. Действительно, теории, методы и данные в силу своей чрезмерной «социальности» могут буквально выдавливаться из таких дисциплин, а значит, и за преде-

лы сферы внимания той или иной контролируемой дисциплины [Urry, 1995, ch. 2]. Во-вторых, дискурсивная формация социологии часто демонстрировала относительную нехватку иерархии. Зачастую она являла собой нечто неуправляемое, неспособное противостоять интеллектуальным вторжениям, основанное на представлении о том, что вся человеческая деятельность организована социально, — нечто, имеющее потенциал определения социальных сил объектов и природы и демонстрировавшее рост осознания пространственных и темпоральных процессов. Несмотря на всю неразбериху с непосредственным пониманием общества, социология все еще способна разработать новую повестку, повестку для дисциплины, утрачивающей центральную свою категорию — человеческое «общество». И это дисциплина, организованная вокруг сетей, мобильности и горизонтальной текучести.

Далее в этой главе рассматриваются различные понятия *общества* и их конститутивная роль в историческом развитии социологического дискурса. Эти представления об обществе связываются с изучением границ, мобильностей и управления. Я затрону несколько сценариев, в которых «социология мобильностей» подрывает «социологию социального как общества».

Во второй главе я демонстрирую важность различных *метафор* социального, выделяя, в частности, те из них, что применимы к изучению разных видов мобильности. Я проанализирую метафоры сети/паутины и потоков/течений, а также покажу различия между ними и метафорами региона и структуры, которые играли центральную роль в понятии общества. Некоторое внимание будет также уделено пространственной и временной организации сетей/потоков и их комплексному влиянию на то, что исторически рассматривалось в качестве социетальных процессов.

В третьей главе разбираются различные социопропространственные практики *мобильности*. Я касаюсь физической мобильности, в том числе прогулок, путешествий на поезде, езды на автомобиле и авиаперелетов; мобильности объектов, коль скоро они конституируются и характеризуются ею; воображаемых путешествий посредством радио и телевидения, а также их влияния на преобразование публичной сферы; наконец, затрагиваю виртуальные путешествия и их связь с сообществами и телесной мобильностью. Как будет показано, в каждой из этих

мобильностей обнаруживаются сложные мобильные гибриды, образованные своеобразным соединением людей, машин и технологий.

Последнее подробнее рассматривается в четвертой главе, где утверждается, что при изучении отношений между людьми и вещами необходимо учитывать влияния различных чувств, которыми социология, как правило, пренебрегает. В анализе чувств воплощается социологический анализ как таковой, однако проводить его нужно лишь в связке с более масштабными культурными процессами. В этой главе будет показано, что отдельные «актанты» зависят от конкретных чувств, а мобильности в определенные места или из них основаны на определенных «способах чувствования». Кроме того, здесь подробно обсуждается меняющееся соотношение между различными чувствами.

Пятая глава посвящена *времени* и, в особенности, структуре и критике различия между так называемым социальным и природным временем. Здесь показывается, как якобы «природное» часовое время в действительности производится социально и даже играет большую роль в покорении природы. Далее рассматривается мгновенное время, замкнутое на самое себя и преобразующееся в различные мобильности, связанные с сохранением кратких промежутков времени. Демонстрируются социальные последствия подобного мгновенного времени, их глубина и неизученность в рамках основных социологических течений.

В шестой главе внимание сфокусировано на природе *жилища*. Имеются в виду те следствия, которые вытекают из предположения, что люди живут внутри сообществ — заданных или сконструированных, а также из того тезиса, что большинство форм проживания зависит от различных моделей реальной или воображаемой мобильности. Особое внимание сосредоточено при этом на локальных сообществах, *союзах*, коллективном энтузиазме, виртуальных сообществах, нациях и диаспорах. В этой главе отстаивается точка зрения, что социологическое понятие сообщества следует заменить понятием жилища и проживания, многие формы которых предполагают различные виды мобильности.

В седьмой главе излагается критика существующих понятий *гражданства*, основанных на принадлежности национальному обществу, а также тех ограниченных прав и обязанностей, которые содержит то или иное определение. Все труднее становится

сохранять социетальную модель гражданства на фоне развития разных форм прав и обязанностей, связанных с мобильностью, в том числе прав космополитических и глобального гражданства. Гражданство этого типа анализируется в терминах новых практик, рисков, прав и обязанностей, которые выходят за пределы национальных границ. Центральную роль в таком гражданстве играет стыд, поскольку публичная сфера трансформируется в «медиатизированную» и отчасти глобализированную публичную сцену.

В последней главе разрабатывается повестка для *социологии за пределами обществ*, построенная вокруг различения метафор садовничества и лесничества. Возникновение лесничества предполагает пересмотр природы гражданского общества, основанного на мобильностях; наблюдение за тем, как государства все больше функционируют в качестве «регуляторов» подобных мобильностей; устранение «садовнического» различия природы и общества; наконец, изучение возникающего глобального уровня, состоящего из блуждающих, перекрещивающихся, сложных гибридов.

«НЕТ ТАКОЙ ВЕЩИ, КАК ОБЩЕСТВО»

Я начну с понятия социального как общества. Когда бывшая премьер-министр Маргарет Тэтчер произнесла ставшую впоследствии знаменитой фразу «нет такой вещи, как общество», социологи взялись критиковать ее заявление. Они объявили, что общество, несомненно, существует и что тезис Тэтчер указывает на неприемлемость ее политического курса, основанного на попытке свести социетальное к интересам того, что она называла «отдельными мужчинами, женщинами и их семьями».

Я не собираюсь представлять здесь Тэтчер в качестве центральной фигуры индивидуалистской социальной теории (положения которой представляют собой вольную интерпретацию тезисов Хайека). Однако надменная ответная реакция британского социологического сообщества на высказывания Тэтчер не была оправданна. Ведь и в самом деле неясно, что означает термин «общество». Хотя в социальной жизни есть нечто «большее», чем «отдельные мужчины, женщины и их семьи», далеко не очевидно, что именно представляет собой этот излишек. Большинство социологов не могут прийти к согласию относи-

тельно его природы, что довольно иронично, ведь если и есть у социологии некое центральное понятие, то это, разумеется, понятие общества (даже когда используются альтернативные термины, такие как «страна», «социальная структура», «нация» или «социальная формация»).

В связи с этим я, во-первых, хочу показать, что понятие общества было центральным для социологического дискурса. Затем я намереваюсь доказать, что если существует некое согласие относительно понятия общества, то оно встроено в понятия национального государства, гражданства и национального общества, основанные на «банальном национализме» [Billig, 1995]. В дальнейшем я собираюсь продемонстрировать, что именно общество в смысле «общества национального государства» ставится под вопрос современной мобильностью, а значит, Тэтчер, как ни странно, могла быть права, заявляя, что такой вещи, как общество, не существует. Вместе с тем она глубоко заблуждалась, поскольку не была знакома с многими «постсоциетальными» процессами, которые происходят вне всякой связи с жизнью отдельных мужчин и женщин, в особенности с теми, что относятся к глобальному рынку. Она также упускала из виду сохраняющуюся идеологическую силу нации, главным образом потому, что склонна была считать ее чем-то «природным», а не «социетальным». Разберем эти пункты подробнее.

Социологический дискурс действительно базировался на понятии «общество» как на предмете изучения [Billig, 1995, p. 52–53; Hewitt, 1997, ch. 1]. Особенно заметным это стало начиная с 1920-х годов, когда социология была институционализована внутри американской академической корпорации. В классической работе Макайвера и Пейджа «Общество: вводный анализ» утверждается, что социология — наука «о» социальных отношениях, сети отношений, которые мы называем обществом» [MacIver, Page, 1950, p. v]. Придерживавшийся радикальной точки зрения Гоулднер в своем «Наступающем кризисе западной социологии» говорит об «акценте, который американская социология делала на силе общества и подчинении [sic] ей человека» [Gouldner, 1972, p. 52; Гоулднер, 2003, с. 75]. В фундаментальной «Энциклопедии социальных наук» Шилз говорит о том, что социологические знания «добываются изучением всего общества в целом и его частей» [Shils, 1985, p. 799], тогда как Корнблум определяет социологию как «научное изучение обществ людей

и человеческого поведения во многих группах, составляющих общество» [Kornblum, 1988, p. 4]. Теоретик миросистемного анализа, Валлерстайн, подводит черту под описанием всей ситуации: «ни одно понятие не распространено в современной социальной науке так, как понятие общества» [Wallerstein, 1987, p. 315].

Такая организация дискурса социологии вокруг понятия общества была отчасти обусловлена относительной автономией американского общества на протяжении всего XX в. То есть она представляет собой универсализацию американского социетального общества. Толкотт Парсонс, теоретик, представивший США в качестве образцового общества современного типа, определял «общество как такой тип социальной системы, который обладает наивысшей степенью самодостаточности относительно своей среды, включающей и другие социальные системы» [Parsons, 1971, p. 8; Парсонс, 1998, с. 19]. Разумеется, эмпирически такие самодостаточные общества встречаются редко и обычно опираются на господствующее положение в своей физической и социальной среде, а также на гарантии того, что действия их «членов... будут служить адекватным “вкладом” в его социетальное функционирование» [Ibid, p. 9; Там же, с. 20].

Валлерстайн также утверждает, что ни одно понятие не применяется так неререфлексивно, как понятие общества [Wallerstein, 1987, p. 315]. Это можно заметить, рассмотрев главные «теоретические ракурсы» в социологии и реконструировав то понимание общества, которое в них содержится. Такими ракурсами, вовсе не обязательно схожими друг с другом в организации, структуре или интеллектуальной согласованности, можно считать позиции критической теории, этнометодологии, феминизма, функционализма, интеракционизма, марксизма, теории структуризации, теории систем и веберовской теории [Urry, 1995, p. 41; Hewitt, 1997, ch. 1, 2]. Ниже для каждого ракурса указано соответствующее представление об обществе:

критическая
теория

общество как формы отчужденного сознания, воспроизводимые институтами массового общества

этнометодология

общество как хрупкий порядок, раскрываемый методами здравого смысла, которыми пользуются члены сообщества в практических рассуждениях

феминизм	общество как связанная система социальных отношений, в которой интересы мужчин господствуют над интересами женщин
функционализм	общество как социальная система, в которой различные части функционально связаны друг с другом
интеракционизм	общество как неустойчивый социальный порядок, договоренности по поводу которого постоянно пересматриваются акторами
марксизм	общество как структура отношений между экономическим базисом и политико-идеологической надстройкой
теория структуризации	общество как сгусток (clustering) институтов во времени и пространстве, формирующийся с опорой на определенные структурные принципы и поочередно воспроизводящий их
теория систем	общество как аутопойетическая сеть саморегулирующихся и рекурсивных коммуникаций, организационно отличных от своей среды
веберовская теория	общество как отношения между специфическими социальными порядками и неравномерно распределенными социальными группами, представленными в каждом порядке.

Итак, существуют различные смыслы термина «общество», и каждый из них предполагает возникновение некоего иного качества на том уровне общества, который находится над «отдельными мужчинами, женщинами и их семьями». Гидденс заключает, что «общество» — практически неисследованный термин социологического дискурса [Giddens, 1987, p. 25], тогда как Манн доказывает, что нам следует отказаться от этого термина из-за столь обширных разногласий и расхождений [Manн, 1986, p. 2].

В большинстве из этих формулировок упускается из виду то, как именно понятие общества связано с системой наций или национальных государств. Биллиг утверждает, что «общество»,

лежащее в самой сердцевине самоопределения социологии, создано по образу национального государства» [Billig, 1995, p. 53, 10]. Интересно, что американские теории общества часто игнорировали «националистический» базис американского, а на самом деле всех западных обществ. Обычно они считали национализм неким довеском к обществу, который должен использоваться лишь в ситуациях «крайнего» экстремизма (который, как предполагается, не имеет ничего общего с Западом). Однако Элиас недвусмысленно указывает на то, что «многие социологи XX в., говоря об “обществе”, уже не имеют в виду... “буржуазное общество” или “человеческое общество” вне государства, а все чаще подразумевают некий размытый идеальный образ национального государства» [Elias, 1978, p. 241; Billig, 1995, p. 52–54].

Поэтому в последующей теоретизации общества основную роль играют суверенитет, национальное гражданство и социальная управляемость. Каждое «общество» является суверенным социальным образованием с национальным государством, которое регулирует права и обязанности каждого социетального члена или гражданина. Считается, что основной набор социальных отношений разворачивается в пределах территориальных границ данного общества. Государство мыслится в качестве образования, обладающего монополией на юрисдикцию или управление живущими в пределах определенной территории или региона членами общества. Экономика, политика, культура, классы, гендер и т.д. структурируются социетально. В совокупности они образуют некий сгусток, или то, что обычно концептуализируется в качестве «социальной структуры». Последняя организует и регулирует жизненные возможности каждого члена данного общества.

Эта социетальная структура является не только материальной, но и культурной, поэтому ее члены верят, что имеют общую идентичность, отчасти связанную с территорией, которую общество занимает или на которую претендует. Вопреки господствующему представлению, характерному почти для всей социологии как науки, центральным элементом большей части таких обществ является локальный национализм, который частично определяет то, как люди думают и как ощущают самих себя в качестве людей. У банального национализма, который выстраивает идентичности каждого общества через его вполне приземленные отличия от другого, есть множество проявлений.

К ним относятся размахивание праздничными флагами, распевание национальных гимнов, развешивание флагов на государственных зданиях, идентификация со звездами национального спорта, упоминание в СМИ в качестве члена данного общества, празднование дня независимости и т.д. [Billig, 1995]. Метафорически этот локальный национализм можно охарактеризовать в качестве некоего фрактала, неправильных, но странным образом схожих форм, которые обнаруживаются в фрагментированных феноменах на самых разных уровнях социального тела. Мы можем заметить это самоподобие в том, как на каждом уровне — начиная с локального и заканчивая центром государства — члены общества делают нечто похожее, разделяют общие убеждения, думают о себе как о типичных «французах» или «американцах».

Вместе с тем вряд ли общества можно представить в качестве полностью самодостаточных образований (аутопойетическое описание общества см.: [Luhmann, 1995; Луман, 2007]). Социология склонна рассматривать то, что находится «вне» общества, в качестве неизученной среды. Однако ни одно общество даже в первой половине прошлого века, в период расцвета национального государства, не было отделено от самой системы таких государств, оставаясь зависимым от понятия национальной идентичности, которая мобилизует суверенные общества. Калхун указывает: «Ни одно национальное государство не существовало само по себе» [Calhoun, 1997, p. 118; Калхун, 2006, с. 231]. Именно благодаря этой взаимозависимости такие общества выстраиваются в качестве самоуправляющихся образований, в значительной мере определяющихся банальными или локальными отличиями друг от друга. Как замечает Валлерстайн, «бессмысленно анализировать процессы *социетального развития* наших множественных (национальных) обществ так, словно бы они были автономными, внутренне развивающимися структурами, когда в действительности они были и остаются прежде всего структурами, созданными процессами общемирового масштаба и в ответ на эти процессы» [Wallerstein, 1991, p. 77]. Страны Северной Атлантики были сформированы как система таких национальных обществ с четкими границами и множеством банальных национализмов, которые отличают одно общество от другого [Billig, 1995; Held, 1995; Хелд, 2007;

Calhoun, 1997; Калхун, 2006]. Общества различались по степени их связанности и, особенно, как утверждает Турен, по тому, в какой мере они были организованы мобилизующей «культурой» и объединены ею; в то же время без этой социетальной культуры сложно определить, каковы границы того или иного общества [Touraine, 1998].

В течение по меньшей мере двух последних столетий эта концепция общества была центральной для американских и европейских представлений о том, что значит быть человеческим существом, обладающим правами и обязанностями общественного гражданства. Быть человеком означает быть членом или гражданином конкретного общества. В историческом и концептуальном плане существовала строгая взаимосвязь между идеей человечности и членством в обществе. Общество здесь означает нечто, упорядоченное национальным государством, обладающее четкими территориальными и гражданственными границами, а также системой управления его гражданами. Концептуально и исторически существовала неделимая двойственность граждан и обществ. Роуз характеризует эту модель как правление с «социальной точки зрения» [Rose, 1996, p. 328]. Подобная социетальная управляемость реализовывалась посредством новых форм экспертизы, отчасти основанных на социологии как науке о подобных обществах и о соответствующих формах социального гражданства (см. гл. VII наст. изд.).

При таком подходе «общество» и его характерные формы социальной дифференциации, в особенности разделение на классы, крепко переплетены с «национальным государством». Манн в своем обширном исследовании «возникновения классов и национальных государств» на Западе в период между 1760 и 1914 гг. показывает, что общества, нация и государства были тесно связаны друг с другом на протяжении всего своего исторического развития [Mann, 1993, p. 737]. Они развивались вместе, и потому их нельзя представить в виде сталкивающихся друг с другом бильярдных шаров, находящихся лишь во внешних отношениях друг с другом. Манн убедительно говорит о предельной запутанности социального мира и о взаимном усилении накладывающихся друг на друга класса и нации, в то время как общества расширяли свою «коллективную власть» (отличную от дистрибутивной власти человека-над-человеком [Parsons, 1960]). Он уверенно отстаивает концепт коллективной власти, показывая, как

Западная коллективная власть была революционизирована... Общества стали лучше организованы для мобилизации способностей человека и эксплуатации природы, а также других менее развитых обществ. Необычайная социальная плотность позволила правителям и народу действительно стать членами одного и того же «общества» [Mann, 1993, p. 14].

Коллективная власть такого рода предполагала четкое различие социальной управляемости, с одной стороны, и тем, что находится вне общества, т.е. природой, — с другой. Такая позиция сохраняется независимо от того, рассматривается ли эта досоциальная природа так же, как у Гоббса или Локка, как нечто агрессивное или, напротив, как нечто миролюбивое [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 1]. Напряженный конфликт между природой и обществом в Западной Европе и Северной Америке достиг своей кульминации к концу XIX столетия. Природа рассматривалась или низводилась до пространства несвободы и враждебности, которое необходимо обуздать и подчинить. Эпоха Модерна (Современности) предполагала веру в то, что прогресс человеческого общества следует измерять и оценивать в терминах господства над природой, а не преобразования самих отношений между нею и людьми. Реализация коллективной власти таких обществ привела к значительному росту интенсивности извлечения и использования энергии.

Социология как особая академическая практика была продуктом этого исторического момента, рождающегося промышленного капитализма Западной Европы и Северной Америки. За данность ею был принят завораживающий успех обществ современного типа в деле покорения природы. Социология специализировалась на описании и объяснении характера именно обществ современного типа, основанных на отраслях промышленности, которые внедряли и применяли принципиально новые формы энергии, и возникающих на их основе паттернов общественной жизни. По существу социология восприняла одну из версий разделения традиции и современности, предполагавшую, что в обществах североатлантического ареала революционные изменения произошли в период между 1700 и 1900 гг. Считалось, что эти общества Модерна качественно отличались от обществ прошлого. Дихотомия традиции и современности (или Модерна) формулировалась по-разному: Мэн описывал ее как переход от статуса к контракту, Маркс — как движение от

феодализма к капитализму, Тённис — от *gemeinschaft* (общности) к *gesellschaft* (обществу), Спенсер — от военного общества к промышленному, Фуко — от классической эпохи к буржуазной, Дюркгейм — от механических к органическим формам разделения труда.

Итак, социология основывалась на принятии и развитии установившегося разделения академического труда, основанного на выделении той области социального, которую, согласно Дюркгейму, следует изучать и объяснять в ее автономности [Durkheim, 1952; Дюркгейм, 2007]. Социология, таким образом, реализовала стратегию выстраивания самой себя по образцу биологии, отстаивая свою особую и независимую область фактов, в данном случае относящихся к социальному или социетальному. До недавнего времени подобное академическое разделение на мир природных фактов и мир социальных фактов считалось бесспорным. Оно придавало смысл стратегии профессионализации социологии, поскольку обеспечивало последнюю ясной и ограниченной сферой исследования. Эта сфера не пересекалась, не ставила под сомнение и не входила в противоречие с областью физических наук, имевших дело с явно отличной анализируемой природой и значительно опередивших социологию в гонке за академическую респектабельность и финансирование [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 1, 4, 6].

Предполагалось, что между природой и обществом существует разрыв (иногда он считался методологическим, а иногда — онтологическим). Естественные науки считались именно что «естественными», а их научный метод применялся повсеместно. Разумеется, я вовсе не утверждаю, что все социологии были дюркгеймовскими. Отдельные направления выходили за пределы этих формулировок, когда настаивали на примате таких категорий, как «субъект», «интеракция», «представления членов группы», «миросистема» или «культура». Вместе с тем данные дискурсы оставались довольно маргинальными по отношению к общему социологическому стремлению установить характер социетального порядка, фундаментально отделенного от порядка естественного.

В эпоху организованного капитализма в Европе и Северной Америке с 1900-х по 1970-е годы предполагалось также, что большинство экономических и социальных проблем и рисков производятся — и соответственно решаются — на уровне от-

дельного общества. Каждое общество было суверенным, основанным на своей социальной управляемости и отделенным от природы образованием. Его проблемы решались посредством национальных программ, а начиная с 1930-х годов — главным образом через кейнсианское государство всеобщего благосостояния, которое могло выявлять и реагировать на порождаемые организованным капитализмом риски [Lash, Urry, 1987; 1994]. Последние принято было считать локализованными преимущественно *в пределах* географических границ и временных рамок каждого отдельного общества. Решения также вырабатывались и применялись в указанных социетальных границах. Национальные общества основывались на понятии гражданина, получающего набор прав и обязанностей перед обществом благодаря основным институтам национального государства.

Конечно, такая «социетальная» модель подходила не более чем дюжине обществ Северо-Атлантического ареала (а также Японии). Но даже здесь был Ватикан, территориально находящийся в Риме, однако отчасти определявший внутреннюю политику некоторого числа «южно»-европейских стран (см. [Walby, 1996]). Большая часть остального мира была подчинена чужому господству. Именно общества Северо-Атлантического региона были колониальными державами, поддерживающими значительные экономические, военные, социальные и культурные отношения за пределами своих границ. Так, к 1913 г. на долю европейских и североамериканских обществ приходилось 90% всего промышленного производства [Mann, 1993, p. 14]. При этом одно национальное общество — германское — приблизилось к возможности установить свою военную гегемонию над всей остальной Европой. А на протяжении почти всего XX в. наиболее сильное общество — США — функционировало главным образом как сверхдержава, втянутая в нарастающую дипломатическую, политическую, военную, экономическую и культурную конфронтацию с другим мощнейшим имперским обществом — СССР. Я уже отмечал тот парадокс, что именно в США особое развитие получили теории общества как связанной, относительно автономной «функциональной» единицы.

Итак, в этом параграфе я показал, что понятие общества (при этом могут использоваться различные термины) играло центральную роль в социологическом дискурсе, особенно в США. Вместе с тем в разных социологических направлениях это по-

нятие использовалось совершенно разными, противоречащими друг другу способами. Я продемонстрировал, что если понятие общества имеет смысл, то лишь будучи встроенным в анализ *системы* обществ национальных государств.

В следующем параграфе я продолжу анализ этой системы, оказавшейся под вопросом в свете происходящих сегодня перемен, дав основания предполагать правоту Маргарет Тэтчер в ее сомнении по поводу принципиального существования общества. Но если такой вещи, как общество, действительно нет, связано это не с силой отдельных индивидов-субъектов, а как раз с их слабостью перед лицом «внечеловеческих» (inhuman) жестких процессов глобализации. Валлерстайн отмечает: «Понятие общества фундаментально ошибочно потому, что оно овеществляет и, следовательно, кристаллизует социальные феномены, чье действительное значение состоит не в их устойчивости, а, напротив, в текучести и пластичности» [Wallerstein, 1991, p. 71]. Теперь я подробно остановлюсь на некоторых недавних спорах вокруг так называемой глобализации, которые демонстрируют гибкость и текучесть социальных феноменов.

ВНЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

В разных главах этой книги я затрону самые разные «глобальные» процессы, предположительно видоизменяющие контуры сегодняшнего социального опыта. В качестве первого подхода к обширной литературе на эту тему в табл. 1.1 приведены основные типы рассуждений о глобализации.

Время от времени в этой книге я буду обращаться к некоторым из указанных трактовок. В следующей главе я намереваюсь развить последнюю из них как наиболее продуктивную на пути постижения того, что может включать в себя предполагаемая глобализация сегодняшнего капитализма. Следует также заметить, что термин «глобализация» так часто сбивает с толку потому, что одновременно указывает на некоторые глобальные процессы (от глагола глобализировать) и на глобальные результаты (от существительного глобус, земной шар). Я использую термин «глобализация» в первом значении, поскольку, как мы увидим, многие из обсуждаемых процессов носят незавершенный характер, и нет ничего, что могло бы быть представлено в качестве единой глобальной экономики или единого общества.

Я задаюсь вопросом: существуют ли какие бы то ни было конкретные глобальные процессы и наблюдается ли появившееся хотя бы частичное улучшение какого-то глобального уровня? Если да, то как это можно измерить и каковы последствия этого для анализа «обществ»?

Таблица 1.1

Главные формы глобализации

Стратегия	Разработанная транснациональными корпорациями, действующими в общемировых масштабах и не связанных обязательствами в части нужд отдельных регионов, рабочей силы или правительств
Образ	Образы «Земли» и «земного шара», которые используются в рекламе различных продуктов (например, авиакомпаний) и для привлечения людей в группы, протестующие против угроз «глобальной среде»
Идеология	Те из них, что связаны с экономическими интересами по продвижению капитализма по всему миру, утверждают, что глобализация неизбежна и что национальные правительства не должны вмешиваться в регуляцию глобального рынка
Основа политической мобилизации	Признание «глобальности» проблемы упрощает мобилизацию широкого круга индивидов и организаций во имя или против некоторого явления
Каналы (scapes*) и потоки	Люди, деньги, капитал, информация, идеи и образы рассматриваются в качестве «потока», который движется по различным «каналам», образующим сложные, переплетающиеся сети, проходящие как внутри, так и поверх определенных обществ (пример — монетарные каналы и потоки между Лондоном, Нью-Йорком и Токио)

* В качестве русского эквивалента английского *scare* принят термин «канал», поскольку в предельно обобщающем смысле он включает все возможные способы и устройства перемещения самых разных потоков. Авторскую трактовку *scare* (канал) см. на с. 56 наст. изд. — *Примеч. ред.*

Полезным отправным пунктом может стать описание сегодняшнего мира, предложенное Манном: «Сегодня мы живем в глобальном обществе. Оно не унитарно и не представляет собой идеологическое сообщество или государство, но является уникальной силовой сетью. Взрывные волны проносятся по

ней, сокрушая империи, перемещая огромные массы людей, материалов и сообщений, угрожая в конечном счете экосистеме и атмосфере планеты» [Mann, 1993, p. 11]. Здесь следует отметить несколько моментов: не существует единого глобального общества; существуют отдельные уровни глобальной взаимозависимости; непредсказуемые взрывные волны «хаотически» распространяются из одной части на всю систему в целом; существуют не «общества», но чрезвычайно могущественные «империи», перемещающиеся по земному шару; и существует также мобильность людей, предметов и опасных отходов человеческой деятельности. В этой книге я намереваюсь описать социологические следствия данного наброска.

Возможны два кардинально различных возражения на вышеприведенный тезис о глобализации. Существуют энтузиасты глобализации, которые считают, что названные процессы порождают новую эпоху, золотой век космополитической «безграничности». Эта эпоха обещает колоссальные новые возможности, прежде всего позволяющие преодолеть ограничения и запреты, которыми общества и особенно национальные государства сужали свободу корпораций и индивидов, на распоряжение миром как «собственной вотчиной» [Ohmae, 1990; Омэ, 1998].

Другие описывают глобализацию не в качестве утопии без границ, а как новую дистопию. Глобальный мир рассматривается в качестве нового Средневековья, в то время как Запад возвращается в предсовременную эпоху [Cerny, 1997]. Средневековый мир характеризовался отсутствием четких территориальных границ и «обществ»; здесь были империи с их центрами и перифериями, многочисленными сетями взаимопроникновения и соперничающими юрисдикциями; имелись тут и многочисленные языковые сообщества [Mann, 1986; Billig, 1995, p. 20–21]; критику идеи нового Средневековья [Hirst, Thompson, 1996, p. 184]. Новый средневековый глобальный мир, похоже, также состоит из конкурирующих институтов с перекрывающимися зонами юрисдикции и идентичностями. Государства преобразуются в государства-конкуренты; многим из них не грозит внешняя военная опасность, что вызывает у наций трудности с сохранением представления о собственном единстве. Различные могущественные империи, такие как Microsoft и Coca-Cola, блуждают по планете, перекраивая экономики и культуры в собственных глобальных интересах. Заметен и рост конкури-

рующих городов-государств, таких как Нью-Йорк, Сингапур, Лондон, Гонконг, Сидней, Токио и т.д.

Как оптимистический, так и пессимистический анализ показывают, что именно *внечеловеческие* объекты преобразуют социальные отношения, создаваемые и трансформируемые машинами, технологиями, предметами, текстами, образами, физическими средами и т.д. Растущие человеческие возможности все чаще имеют своим источником сложные *взаимосвязи* людей и материальных предметов, таких как знаки, машины, технологии, тексты, физические среды, животные, растения и отходы производств. Собственно человеческие возможности крайне ограничены, а большая часть из имеющихся может быть реализована лишь посредством взаимодействия с подобными *внечеловеческими* компонентами. Абсолютно новыми по своей онтологической глубине и преобразовательной силе оказываются такие *внечеловеческие* разработки, как миниатюризация электронных технологий, к которым люди «подключены» самыми разными способами и которые будут окружать нас на работе и дома; преобразование биологии в совокупность генетически закодированных данных; увеличение объема и масштаба легко перемещаемых отходов и вирусов; колоссально возросшие возможности симулировать природу и культуру; изменение технологий, обеспечивающих мгновенную физическую мобильность; информационные и коммуникационные потоки, которые радикально сокращают *временные* расстояния и пространства, разделяющие людей, компании и страны.

В силу значения возникающих *внечеловеческих* гибридов я не развиваю концепции деятельности (*agency*), которые фокусировались бы главным образом на способности людей придавать значение, или проявлять чувства, или следовать социальному правилу. Это не значит, что люди не заняты подобными вещами или не являются субъектами действия. Просто таковыми они оказываются не в ими созданных обстоятельствах, а именно такие обстоятельства — устойчивые и все более тесные связи субъектов и объектов — обладают *первостепенным* значением. Сказанное означает, что человеческий и физический миры тесно взаимосвязаны и их невозможно анализировать отдельно — как общество и как природу или людей и объекты. В разных главах будет показано, почему такие сложные мобильные гибриды обладают предельной социологической значимостью.

Вопрос о субъекте — это не вопрос о людях, которые, действуя независимо от объектов, якобы обладают уникальной способностью приписывать значение или следовать правилам. Решающим, скорее, является то, как физический мир и артефакты переживаются людьми в их чувственном опыте. Понятие действия (*agency*) нуждается в воплощении, и я собираюсь развить эту мысль посредством анализа чувств и взаимосвязей между ними. Эти чувства играют ключевую роль не только, как предполагал Зиммель, в терминах отношений человека с человеком, но и в терминах отношения людей к природе, технологиям, объектам, текстам и образам (см. гл. IV наст. изд.).

Если не существует автономной области человеческой деятельности, не следует представлять себе и отдельный уровень *социальной* реальности, который был бы уникальным результатом человеческих поступков и особых способностей. Разные авторы пытались развить идею диалектики общества, создаваемого индивидами, и индивидов, формируемых обществом [Berger, Luckmann 1967; Бергер, Лукман 1995]. Подобная диалектика, однако, может быть убедительной лишь в том случае, если под обществом мы подразумеваем нечто тривиальное, т.е. чистые социальные интеракции, отделенные от сетей сложного взаимодействия с внечеловеческим. Поскольку почти все социальные сущности вовлечены в сети, связывающие людей с другими компонентами, не существует неких исключительно *человеческих* обществ как таковых. Общества — суть всегда гибриды.

Более того, как мы впоследствии увидим, различные трансформации внечеловеческого ослабляют возможности обществ по сплочению своих граждан, обеспечению их национальной идентичности и выражению солидарной позиции. Роуз утверждает:

В то время как наши политические, профессиональные, моральные или культурные власти с прежним энтузиазмом разглагольствуют об «обществе», само значение и этическое содержание этого термина находится под вопросом, поскольку «общество» представляется разорванным на множество этических и культурных сообществ со взаимоисключающими лояльностями и несоизмеримыми обязательствами [Rose, 1996, p. 353].

Лаклау и Муфф, выдвигая более общий тезис, показывают невозможность общества как валидного предмета дискурса [Laclau, Mouffe, 1985; Barrett, 1991]. Причина этого кроется в не-

избежно неполном характере всякой тотальности. В частности, нет фундаментального принципа, который фиксировал бы и тем самым учреждал соответствующее поле различий, отделяющих одно общество от другого. Используя лакановскую метафору, они высказывают предположение, что социальные отношения являются неизменно открытыми — кожа разорвана — и всегда наличествует потребность в гегемонном заполнении или повторном сшивании общества [Laclau, Mouffe, 1985, p. 88]. Такое восполнение или обратное сшивание социального считается невозможным. Оно будет просто прорвано где-то еще, рана начнет кровоточить, ткань разорвется, поскольку прошлое продолжит клеймение поверхности «социального тела» (в следующей главе я рассмотрю некоторые другие метафоры социального).

Итак, Лакло и Муфф задаются вопросом о том, что сшивает общество, когда внечеловеческие сети начинают пересекать его в самых неожиданных направлениях и на все возрастающих скоростях. В этой книге я исхожу из допущения, что классические философско-социологические споры относительно достоинств методологического индивидуализма и холизма или, в более поздней версии, теории структуризации и структурного дуализма не могут нам помочь. Эти споры не имеют отношения к сложным последствиям разных типов мобильности, переплетающихся чувственных отношений людей с различными объектами, пространственного и временного качества отношений, выходящих за пределы социетальных границ, сложных и непредсказуемых взаимоналожений многих «регионов, сетей и потоков». Описывать их в качестве либо «структур», либо «действия» (agency) — значит не принимать в расчет темпоральную и пространственную сложность такого рода отношений. В этой книге предполагается, что упорядочивание социальной жизни носит случайный, непредсказуемый, рваный и несводимый к человеческим субъектам характер. Луман так выражает эту мысль: «Не может быть “интерсубъективности” на основе субъекта» [Luhmann, 1995, xli].

Эти пункты можно прояснить, вкратце рассмотрев морфогенетическую социальную теорию Маргарет Арчер, созданную с целью разобраться с «досаждающей» природой общества [Archer, 1995]. Она помещает «время» в центр своей «не-объединяемой» социальной теории, основанной на двух тезисах. Во-первых, социальный мир онтологически стратифицирован так, что возникающие свойства структур и агентов несводимы друг к другу и

аналитически принципиально различны. Во-вторых, структуры и агенты различаются темпорально, т.е. возможно говорить о соответствующем возникновении либо структуры, либо агента [Archer, 1995, p. 66]. Ее главным реалистическим ходом является именно комбинирование аналитической различимости и темпоральности в противоположность одновременности. Тем самым создается основа для изучения *морфогенеза*, радикального и непредсказуемого реформирования общества, проистекающего из исторически обусловленного взаимодействия структуры и действия (*agency*). Это взаимодействие современем порождает открытое общество, которое подобно себе и ничему больше (см. диаграмму морфогенетического цикла: [Ibid., p. 157]).

Однако ее исследование ключевого понятия времени остается проблематичным. Во-первых, время анализируется в отрыве от пространства, что противоречит как общей логике движения науки XX в., так и обширной аргументации, развитой в социальных науках. Это ньютоновская концепция времени. Не затрагиваются развернутые дебаты в области социологии времени, которые показали, что социальную жизнь составляют разные «времена». Арчер считает время линейным, т.е. принимает его за четвертое измерение, простое «до и после» (см. гл. V наст. изд.). Структуры и агентов она располагает во времени словно бусины, нанизанные на четвертое измерение. В этом смысле, она не допускает возможности того, что время (и пространство) также являются мощными «сущностями» или что существуют некие стрелы времени, причем все они не заключены внутри обществ. Арчер не учитывает и того, что хотя само по себе время не оказывает воздействия, существуют особые времена, которые обладают определенным влиянием. В частности, гибрид «часового времени» в значительной степени послужил (конечно, лишь в совокупности с другими каузальными процессами) орудием подчинения природного мира на протяжении XIX и XX вв. Подобным образом и предполагаемый «конец общества» может попасть в повестку социологии по причине необычайного искажения «пространства — времени», которое вызывают текущие глобальные изменения — изменения, в которых время как нечто мгновенное приобретает вид особенно сильного гибрида.

Гипотетический «конец общества», по всей видимости, будет означать и конец социологии — дисциплины, которая, согласно Роуз, «ратифицировала существование этой [социальной]

территории»; поскольку же территория трансформируется под влиянием зарождающейся силы новых темпоральных и пространственных топологий, социология «претерпевает кризис идентичности» [Rose, 1996, p. 328; Mol, Law, 1994]. Аналогичное мнение выразил Турен, заявивший, что рамки классической социологии рушатся, поскольку разлагается само общество; он описывает процесс «демодернизации» и «распад того единства, которое мы все еще называем обществами» [Touraine, 1998].

В частности, если нет связанного общества, то как можно выделить функциональные требования, которые должны быть выполнены, чтобы каждое такое «общество» продолжало существовать? Не имея возможности предложить их, социолог-функционалист не сможет объяснить ни влияние особых организаций или процессов на общество, ни, что более занятно, возникновение или сохранение любой из организаций такого рода в терминах их функциональных последствий [Isajiw, 1968; Elster, 1978]. Но даже если мы больше не «функционалисты», трудно понять, как мы могли бы концептуализировать определенные сущности (или образования), если не в терминах их «функций» относительно общества. Далее я собираюсь показать, что сегодняшние государства следует описывать главным образом в терминах «регуляции». Но что именно регулируется и как можно задать эту функцию, если отчетливых границ того, что мы называем обществом, более нет? Я попытаюсь доказать, что новые глобальные потоки и сети породили новое функциональное требование, поскольку государства должны регулировать масштабные последствия этих потоков сетей. Я покажу, что это глобально порождаемое функциональное требование преобразует государства, которые переходят от того, что я буду называть эндогенной регуляцией народов в духе Фуко, к экзогенной государственной поддержке, регуляции и реакции на последствия различных типов мобильности.

Итак, кажется, что социология уходит в свободное плавание, когда мы покидаем относительно безопасные воды функционально интегрированного, связанного общества или аутопойетической социетальной системы в лумановском духе [Luhmann, 1995]. Возникает теоретический и эмпирический водоворот, где гибнет большая часть промежуточных истин, которые социология попыталась закрепить. Книга, которую вы держите в руках, посвящена мобильностям, а это означает, что нам предстоит

столкнуться с быстрым разрушением тех немногих положений, которые были легкомысленно провозглашены социологией устойчивыми в течение нескольких последних десятилетий. В этой пучине социальной и интеллектуальной мобильности я задаюсь вопросом, сохранятся ли какие бы то ни было фиксированные раз и навсегда положения в принципе?

Я уже указывал на некоторые факторы, которые могут позволить социологии преодолеть возможную утрату ключевого для нее понятия общества. Справиться с этим она может благодаря дисциплинарным свойствам, делающим ее особенно приспособленной к относительно текучему миру и горизонтальным мобильностям «глобальной эры», т.е. свойствам, которые проистекают из довольно подвижного, аморфного и сетевого характера самой социологии [Albrow, 1996]. Однако есть здесь и иная проблема. Социология всегда находилась на границе академии (некоторые даже скажут, по ту ее сторону) по причине своей близости к разным общественным движениям. К ним относятся борьба за права рабочих и профсоюзное движение, отстаивание своих интересов профессионально-управленческим классом, движения городских жителей, бедноты, женщин, геев и лесбиянок, экологические движения и т.д. Каждое из них значительно повлияло на развитие социологии в рамках академии. Маловероятно, что «социология» сможет выжить, если снова не вберет в себя амбиции какого-либо из этих общественных движений. Я вернусь к этой теме в последней главе, где будет обсуждаться вопрос о том, могут ли движения за глобальное гражданство обеспечить социальный базис обновленной социологии.

БОЛЬШЕ НОВЫХ ПРАВИЛ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА

ЗаклЮчить главу хотелось бы обсуждением того, какими должны быть «правила социологического метода» социологии нескольких будущих десятилетий (с приличествующими случаю реверансами в адрес Дюркгейма [Durkheim, 1964; Дюркгейм, 2008] и Гидденса [Giddens, 1976; Гидденс, 2002]). Я уже показал, что «общества» можно понять только через их отношения с другими «обществами», выстраиваемыми на протяжении последних двух столетий. Общества, кроме того, не обязательно организованы вокруг некоего порождающего центра. Отчасти они заданы объектами в той же мере, что и субъектами, а поскольку

границы их проницаемы, определить, что именно образует границу каждого из обществ, довольно трудно (об этой проблеме для случая аутопойетических систем см. [Mingers, 1995]). Более того, общества — лишь один из возникающих уровней социальной жизни. Они — не единственные образования, которые в том или ином смысле являются самовоспроизводящимися по отношению к своей среде. Если говорить в целом, ниже даны желательные характеристики того, что Дайкен называет «более «мобильным» теоретизированием», с которым необходимо будет иметь дело при столкновении с многообразием возникающих гибридных сущностей, как и с так называемыми обществами [Diken, 1998, p. 248]. В скобках я отмечаю главы настоящей книги, в которых будет развито каждое из следующих положений:

○ посредством подходящих метафор разрабатывать социологию, фокусирующуюся на движении, мобильности и случайном упорядочивании, а не на покое, структуре и социальном порядке (см. гл. II наст. изд.);

○ изучать пределы, диапазон и разнообразные эффекты физической, воображаемой и виртуальной мобильности людей, осуществляемой в целях трудоустройства, получения удовольствия, избежания пыток, поддержания диаспор и т.д. (см. гл. III и VI);

○ рассматривать вещи как социальные факты, а действие (agency) как возникающее из взаимопересечений объектов и людей (см. гл. IV);

○ придавать анализу материальную наглядность за счет исследования чувственной конституции людей и предметов (см. гл. IV);

○ исследовать относительное и неравномерное распространение различных сетей и потоков в их перемещении внутри и через социетальные границы, а также их взаимодействие в пространстве и во времени (см. гл. II, III и V);

○ изучать как класс гендер; этничность и национальность складываются благодаря мощным перекрещивающимся темпоральным режимам и местам проживания и перемещениям (см. гл. V, VI и VIII);

○ описывать различные основания человеческого чувства жилища, включая зависимость этих оснований от различных типов мобильности людей, подарков, фотографий, образов, информации, рисков и т.д. (см. гл. VI);

○ понимать изменчивый характер гражданства в условиях, когда источником прав и обязанностей все чаще выступают

структуры, чьи топологии накладываются на топологии общества (см. гл. VII);

○ высвечивать возрастающую медиатизацию социальной жизни, обусловленную все большей скоростью циркуляции образов и повышением эффективности их донесения, которая формирует и реформирует различные воображаемые сообщества (см. гл. VII);

○ учитывать усилившуюся взаимозависимость «внутренне-и внешнеполитических» проблем, а также ослабление значения средств физического принуждения в определении влияния государств (см. гл. VIII);

○ объяснять изменения внутри государств, выражающиеся в выдвигании на первый план мер по «регуляции» мобильностей и их зачастую непредсказуемых и хаотических последствий (см. гл. VIII);

○ направлять интерпретативные усилия на понимание процессов порождения хаотических, непреднамеренных и нелинейных социальных последствий, которые, удаляясь во времени и/или пространстве от своего источника, приобретают совершенно иной, непредсказуемый масштаб (см. гл. V, VIII);

○ изучать, действительно ли появляется некий новый уровень «глобальности», который может рассматриваться в качестве рекурсивно самовоспроизводящегося, где результаты предопределяют входные данные, формируя аутопойетическую замкнуто-круговую систему «глобальных» объектов, идентичностей, институтов и социальных практик (см. гл. VIII).

Надеюсь, в этих положениях изложен смелый манифест дисциплины, по всей видимости, утрачивающей свое центральное понятие. Однако, быть может, кое-что из этого уже устарело. Великий социолог-урбанист Анри Лефевр четверть века назад писал о значимости новых пространственных сетей и мобильностей, перемещающихся как внутри, так и через социетальные границы. Он отмечал, что товары

образуют относительно независимые *сети* или цепочки обмена в пространстве. Мир товаров не обладал бы «реальностью» без такого рода *креплений* или *точек соединения* или вне их совместного существования как совокупности... магазинов, складов, кораблей, поездов, грузовиков и используемых *путей*... Исходный базис или основание социального пространства составляет природа... На этот базис накладываются — трансформируя его, вытесняя или

даже угрожая ему разрушением, — все новые и новые *стратифицированные, запутанные сети*, которые, будучи материальными по форме, тем не менее существуют за пределами собственной материальности: трасс, путей, железных дорог, телефонных соединений и т.д. [Lefebvre, 1991, p. 402–403] (Курсив. — Дж. У.).

В дальнейшем я намереваюсь рассмотреть эти стратифицированные и запутанные паутины трасс, путей, железных дорог и т.д. Лефевр помимо всего прочего указывает, что любой отдельно взятый жилой дом можно рассмотреть под двумя углами зрения. Можно видеть в нем нечто прочное и непоколебимое с четкими, холодными и неподвижными контурами. Но можно заметить и то, как такой дом «с разных сторон пронизан потоками энергии, которая входит и выходит из него во всех возможных направлениях». Как следствие, образ незыблемости здесь «замещается образом комплекса мобильностей, узла входных и выходных каналов» [Lefebvre, 1991, p. 93].

В разных главах этой книги описываются и анализируются именно эти каналы и обеспечиваемые ими мобильности. Я отстаиваю точку зрения, что материальное преобразование социального предполагает существование социологии разнообразных типов мобильности. И эта книга может считаться манифестом такого обновленного социологического проекта.

II. Метафоры

Феодальная собственность на землю наделяла достоинством, тогда как современная собственность на движимое имущество вновь превратила нас в орду кочевников.

Э.М. Фостер [Forster [1910] 1941, p. 141]

ВВЕДЕНИЕ

Наше понимание общества и социальной жизни во многом определяется различными метафорами и отражается в них. В этой главе исследуется природа метафорического мышления. Подобно любой иной форме мысли, социологическое мышление, как я полагаю, не может осуществляться без метафор. В своей книге «СПИД и его метафоры» Сьюзен Зонтаг утверждает, что «мыслить без метафор невозможно» [Sontag, 1991, p. 91]. И хотя в другом тексте Зонтаг, по-видимому, допускает, что наука может обходиться и без них, значительное место в истории и философии науки отводится демонстрации той объяснительной и конститутивной роли, которую метафоры играли в становлении научного знания.

В данном случае метафора используется в обобщенно фигуральном смысле, отсылающем к широкому разнообразию режимов замещения одной фигуры другой, — процессу, который захватывает всю сферу языка и значения. Такое понимание метафоры контрастирует с исходной аристотелевской трактовкой, согласно которой название вещи именем, принадлежащим некоей иной вещи, строго отделяется от сравнения, аналогии, синекдохи и метонимии. В сегодняшней лингвистике и постструктуралистских построениях метафора принимается в качестве общего момента языка, конститутивного для человеческих субъектов. Хокс обобщает эту мысль так: «Все языки... фундаментально метафоричны... Метафора — это функция языка... “всеобщий принцип” всякого языка» [Hawkes, 1972, p. 60].

Лакофф и Джонсон идут дальше, утверждая, что метафора, т.е. понимание и восприятие одного типа вещи в терминах другой, не только языковое явление. Пожалуй, все мыслительные про-

цессы человека в значительной степени метафоричны [Lakoff, Johnson, 1980, p. 5–6; Лакофф, Джонсон, 2004, с. 25]. Авторы настаивают, что развитие мысли и поддержание существования невозможны вне множества «Метафор, которыми мы живем» [Ibid.]. Система человеческих понятий устроена и описывается метафорически. Новые значения и реальности зависят от разных типов метафорического мышления.

В дальнейшем я буду исходить из допущения, что все человеческое мышление, включая частные и абстрагированные практики науки и социальной науки, основано на метафоре. Действительно, попытка выстроить неметафорическое мышление предполагает определенные формы метафорического замещения. Я буду также опираться на тезис, что «выявление» метафорического основания различных форм мышления — главная цель и задача социальной науки. Ведь теоретические споры в значительной части сводятся к противопоставлению одной метафоры другой, причем успех какой-либо из них предопределен разнообразными внеаучными соображениями.

Вместе с тем я не хочу утверждать, что процедур для оценки и отбора различных теорий не существует. Я считаю релятивизм позицией, опровергающей саму себя. Метафоры как таковые значительно различаются по своей продуктивности как в обыденной жизни, так и в научной практике. Оценка соответствующей продуктивности различных метафор включает сложные вопросы значения и интерпретации. И это, конечно, выводит оценку теорий за пределы якобы релевантных им эмпирических данных, за пределы того, что Лакофф и Джонсон называют «мифом объективизма» [Lakoff, Johnson, 1980; Лакофф, Джонсон, 2004]. Однако эмпирические данные, извлекаемые из разных «ситуативных контекстов», составляют часть того процесса, посредством которого должны оцениваться и подкрепляться приемлемость и пригодность той или иной метафоры. Метафоры бывают плохими и хорошими, и для их оценки используются в том числе и различные виды эмпирических свидетельств, хотя отношение между эмпирическими данными и метафорами-как-теориями никогда не бывает прямым. В более общем плане нам следует принимать во внимание, какие именно обстоятельства приводят к принятию или отбраковке теорий, когда привлекательность той или иной из них отчасти объясняется подкрепляющими ее метафорами. Важно учитывать, насколько разработ-

ка теории связана с оценкой убедительности соответствующих метафор. К примеру, нам следует задаться вопросом, как долго хорошая метафора может сохранять теорию от выбраковки; а также что собой представляют те основания, которые в бесконечном потоке социальной жизни влияют на то, что отдельные метафоры-как-теории до сих пор принимаются или отвергаются.

В этой книге я пытаюсь предложить теории, приложимые к социальной жизни, на основе метафор сети, потока и перемещения. Очевидно, что сегодня такие теории риторически более убедительны, поскольку названные метафоры представляются отвечающими некоему актуальному опыту со свойственным ему ощущением «сжимающегося мира», порождаемого глобальными процессами. В особенности это применимо к тем академическим социологам, чьи сети перемещений, накладываясь друг на друга, периодически образуют удивительно насыщенные «тесные миры» [Lodge, 1983; Лодж, 2004]. Альтернативные теории, в которых подчеркивается прочная власть национальных обществ, подобные теории Хирста и Томпсона, в свою очередь, используют противоположную метафору «суверенного» национального государства, которое сохраняет способность противостоять глобальному рынку и потокам международного капитала [Hirst, Thompson, 1996].

Позднее я еще вернусь к этим метафорам. Однако в данный момент мы должны понять, почему силу метафорического мышления так сложно ухватить. Почему социальные науки в полной мере не осознавали, что различные теории общества предполагают или включают метафоры, что бытие и мышление в социологическом контексте не могут осуществляться за пределами метафор? Отчасти это связано с влиянием позитивистского представления о науке и исключения метафорического мышления, как это делалось в истории социальных наук. Лакофф и Джонсон утверждают: «Объективизм не признает... тот факт, что понятийные системы человека по сути своей метафоричны и предполагают образное понимание сущностей одного вида на основе сущностей другого вида» [Lakoff, Johnson, 1980, p. 194; Лакофф, Джонсон, 2004, с. 216–217]. Социальная наука попыталась скрыть свои ненаучные корни и истоки подобно тому, как учебники, согласно Куну, преобразовали научный нарратив. Она стремилась выглядеть так, словно устранила в себе все метафорическое и/или метафизическое, а значит, лежащее по ту

сторону достоверности экспериментальной науки [Kuhn, 1962; Кун, 1975].

Такое забвение социологией собственного метафорического прошлого отчасти явилось следствием широкого распространения критики функционализма и особенно «органической аналогии», лежавшей в основании функционалистской теории [Isajiw, 1968, ch. 5]. Согласно этой метафоре, наиболее известную версию которой предложил Герберт Спенсер, функционирование социального тела должно рассматриваться по аналогии с действиями тела человеческого; и пока общества развиваются и растут, в них, как и в теле, наблюдается рост структурной дифференциации специализированных функций. Подобно человеческому, социальное тело характеризуется взаимозависимостью и интеграцией отдельных своих частей, которые совместно осуществляют саморегуляцию, а описание любого конкретного социального института возможно через демонстрацию его вклада в функционирование социального организма как целого [Spencer, 1893; Peel, 1971, ch. 7].

В 1960–1970-е годы многие западные социологи отвергали органическую метафору как «ложную» и взятую саму по себе, исходя из того общего основания, что любое метафорическое мышление ошибочно. Методологические индивидуалисты, в целом симпатизировавшие индивидуалистической защите Спенсером режима *laissez-faire*, доказывали, что любые суждения об обществе, рассматривающие его в качестве органического образования, могут быть редуцированы к утверждениям об индивидах. Позитивисты отстаивали науку законов и фактов, подлежащих исчерпывающей проверке посредством строгих исследовательских методов, далеких, с их точки зрения, от метафор социального или социетального. Поборники различных версий теории конфликтов пытались заменить метафору общества как организма, характеризуемого ростом структурной дифференциации, анализом фундаментальной «реальности» все более простых конфликтующих классов или структур власти (см. [Rex, 1961, p. 50], где Рекс говорит о «пагубных» последствиях органической метафоры).

Но в каждом случае разоблачение органической метафоры достигалось выдвижением новых метафор, подтверждая тем самым, что теоретические споры часто сводятся к противопоставлению одной метафоры другой. Даже Спенсер, защищая

органическую метафору, развивал ее в противовес метафоре общества как «механизма» или «фабрики».

В методологическом индивидуализме была разработана метафора *обмена*, призванная противостоять метафоре организма и функции. Считалось, что индивиды осуществляют сложные расчеты издержек и прибылей в различных типах «социального обмена». Сторонники этого взгляда полагали, что такие максимизирующие полезность индивиды благодаря своим субъективным подсчетам и поведению способны производить сложные социальные паттерны, основанные на предположительно непреднамеренных последствиях социального обмена (см. [Homans, 1961; Blau, 1964]).

В позитивизме органической метафоре противопоставлялась метафора *зрения*. Утверждалось, что наука развилась через первичное человеческое чувство зрительного наблюдения, и все, что препятствует требованию фиксации непосредственных фактов нашим «внутренним глазом», признается ненаучным и отвергается. Визуальные образы определяют способы формирования, организации и легитимации науки, а также различения ее и ненауки [Hempel, 1966].

Теория конфликта предполагала замещение метафоры общества как организма метафорой общества как постоянно упрощающейся, основанной на интересах социальной *структуры*. Структура рассматривалась либо как дихотомия двух частей, одна из которых наложена на другую (см. теорию конфликта в версии Дарендорфа [Dahrendorf, 1959]), либо в терминах строительной метафоры базиса и надстройки (см. [Cohen, 1978; Keat, Urry, 1982, ch. 6]).

Таким образом, прилагая все усилия к преодолению метафорического мышления через отвержение органической метафоры, социология всякий раз вырабатывала новые метафорические способы мышления. Я не буду рассматривать все имеющиеся направления социальной теории, чтобы показать всеобщее значение такого рода метафорического мышления. Однако как бы ни были сложны отдельные теории общества, в большинстве своем они покоятся на достаточно простых фигуративных идеях, позаимствованных из других академических областей, прежде всего из биологии, физики, географии и экономики. Чтобы расширить этот тезис, я проанализирую недавние прочтения Фуко, которые «высвечивают» некоторые более

общие характеристики метафор (в первую очередь визуальных) осмысления социального «тела».

Джудит Стейси начинает с проведенного Фуко анализа биомедицинской науки и природы клинического взгляда [Stacey, 1997, p. 51–57]. Она разбирает предложенный им анализ механизмов, посредством которых «болезнь... выходит на свет, ...в видимое... но доступное пространство человеческого тела» [Foucault 1976, p. 195; Фуко, 2010, с. 290]. Стейси исследует, насколько современная биомедицина одновременно предельно метафорична и чрезвычайно искусна в сокрытии собственных фигуративных оснований. При переходе от того, что Фуко называет классификационной медициной, к медицине клинко-анатомической первостепенное значение приобретают метафоры пространства и зрения. Клинко-анатомическая медицина подразумевает реорганизацию пространственной метафоры, в которой болезнь и пациент пространственно разделены, в такую, в которой первая рассматривается в качестве пространственно интегрированной части второго. Предполагается, что болезнь находится в теле, а это, в свою очередь, предопределяет необходимость клинического взгляда, который позволил бы врачу научиться видеть, изолировать, распознавать, сравнивать и предотвращать. Болезни классифицируются уже не в соответствии с гомологическими симптомами, а по их видимым признакам, «цветам, вариациям, мельчайшим аномалиям, будучи всегда настороже по отношению к отклонению» [Ibid., p. 89; Там же, с. 141], которые указывают на истинную локализацию болезни.

Визуальные метафоры становятся центральными для науки. Глаз превращается в хранилище и источник истины. Согласно Фуко, клиника — это первая попытка упорядочить науку в соответствии с опытом и решениями ученого-медика, принятого на основе пристального взгляда. Одновременно клинко-анатомическая медицина натурализует собственную зависимость от визуальных и пространственных метафор. Такой клинко-анатомический метод

образует историческое условие медицины, которое представляет себя и принимается нами как позитивное... Болезнь отрывается от метафизики страдания... и обретает в наблюдаемости смерти законченную форму, где ее содержание проявляется в позитивных терминах [Foucault, 1976, p. 196; Фуко, 2010, с. 293], по вопросу непространственных метафор, используемых в акупунктуре, см. также [Stacey, 1997, p. 56–57].

В целом начиная с XVII в. именно наблюдение, а не априорные знания средневековой космологии было принято в качестве фундамента научной легитимности, а впоследствии легло в основание научного метода западной науки. Чувственные данные продуцируются и гарантируются главным образом чувством зрения, «безвредной методологической формой «наблюдения»» [Jenks, 1995a, p. 3]. В «Словах и вещах» Фуко показывает, что естественная история предполагает наблюдаемую структуру видимого мира, а не функции и отношения, недоступные нашим чувствам [Foucault, 1970; Фуко, 1994]. Возник целый ряд научных направлений о «видимой природе», организованных вокруг визуальных таксономий, начало чему положил Линней в 1735 г. [Gregory, 1994, p. 23; Pratt, 1992]. Классификации такого рода основывались на новой эпистеме отдельного субъекта, видящего глаза и на различиях, выводимых из релевантно выбранной метафоры, объектом которой он выступает. Фуко утверждал, что «человек — это изобретение недавнее» [Foucault, 1970, p. 312, 386; Фуко, 1994, с. 329, 403]; и этот «человек» является тем, кто видит, наблюдает и классифицирует, поскольку подобие уступает место различным режимам репрезентации.

Итак, возникла новая визуальная эпистемология, предполагавшая слияние видения и достоверности, видения и говорения [Stacey, 1997, p. 56]. Она породила сегодняшнюю науку, которая представляется полным антитезисом по отношению к метафоре, — науку, натурализующую собственные метафоры. Вместе с тем истории науки и биомедицины в действительности были основаны на ментальных репрезентациях внешнего мира, построенных на интериоризированных визуальных образах, формирующихся «во внутреннем глазу» [Rorty, 1980; Рорти, 1997]. Этого наука добивается лишь за счет сокрытия от нашего взора того, как именно ее позитивная власть выстраивается фигуративно. Рорти проясняет этот момент: «Именно образы, а не суждения, именно метафоры, а не утверждения определяют большую часть наших философских убеждений... историю доминирования в умах западных философов окулярной метафоры...» [Rorty, 1980, p. 12–13; Рорти, 1997, с. 9] (см. гл. IV наст. изд.).

В следующем параграфе я анализирую несколько метафор, приобретших социальную силу сравнительно недавно. Они не принадлежат к числу окулярных метафор, но, скорее, предполагают фигуральное использование примеров, обра-

зов или характеристик мобильности. Я упоминаю множество метафор перемещений, принимая во внимание то, насколько широко они распространены в культурном анализе сегодня, настолько распространены, что многие авторы описывают саму научную работу как разновидность путешествия (пример «путешествующей теории» Клиффорда [Clifford, 1997]). Метафоры дома и перемещения, границ и пересечений, кочевников и туристов стали общепринятыми в публичной жизни и в академическом дискурсе.

Однако я перейду к рассмотрению некоторых других пространственных метафор, метафор региона, сети и текучей среды, возникших в связи с перемещениями крови и лечением анемии. Я утверждаю, что здесь возможен целый ряд плодотворных метафор, которые будут использованы в следующем параграфе, где речь пойдет о глобализации и о том, как создать продуктивные метафоры глобального. Задача не выглядит простой, поскольку «земной шар» сам по себе уже метафора. В самом деле, не существует единого «шара» (globe), есть, скорее, различные метафоры шара и глобальности. Центральными для понятия глобализации являются метафоры глобального, воплощающие в себе бинарные оппозиции гомогенизации — гетерогенизации, простоты — сложности, движения — покоя, включения — исключения и т.д. Я обращаюсь к вопросу различия между метафорами «канала» и потока и между планетой, которая включает, и той, которая исключает человеческих участников (participants).

МЕТАФОРЫ МОБИЛЬНОСТИ

Начнем с Дюркгейма и его критики текучего, неустойчивого, неубедительного характера «чувственных представлений». По мнению французского социолога, проблема состоит в том, что чувственные представления «находятся... в постоянном течении и приливе. Они толкают друг друга, как волны реки, и даже в то время, пока они существуют, они не остаются подобными себе самим» [Durkheim, 1968, p. 433; Дюркгейм, 1994, с. 82]. Науке необходимо абстрагироваться от этих потоков времени и пространства, чтобы достичь того уровня концептуализации, на котором, согласно Дюркгейму, формируются «коллективные представления». Дюркгейм полагал, что понятия лежат под этим бесконечным чувственным поверхностным потоком. Понятия

неподвластны времени и переменам, они не движутся сами по себе. Они неизменны и непреложны, и задача науки — открывать их, а не соблазняться бесконечно изменчивыми «ощущениями, восприятиями или образами» [Там же].

Гейм любопытным образом противопоставляет культивируемые Дюркгеймом власти «понятия» и отвержению чувственных потоков развитие метафор движения и течения, повсеместно обнаруживаемое в постструктуралистских и феминистских исследованиях тела, а также, в целом, письма и социальности [Game, 1995]. Многие авторы использовали метафоры моря, реки, потока, волн и текучести [Bachelard, 1983; Башляр, 1998], в то время как другие разрабатывали категории бродяги, кочевника, пилигрима, мотеля [Deleuze, Guattari, 1986; Braidotti, 1994]. Конечно, такие метафоры подразумевают и теоретика, и теорию, поскольку и он, и она не могут пребывать в покое или развиваться вне этих движений. Субъекты конституируются посредством различных форм текучести, и прежде всего письма. «Различение несовместимо со статичными, синхронными, таксономическими, внеисторическими мотивами понятия структуры» [Derrida, 1987, p. 27].

Некоторые метафоры текучести будут разобраны далее. В отличие от Дюркгейма, я полагаю, что некоторые из них полезны для науки и не являются продуктом простой чувственности (о чувствах см. гл. IV наст. изд.). Возникновение метафор текучести обусловлено трансформациями коллективных представлений, в которых «коллективное» уже не является чисто социальным, а простирается за его пределы, туда, где чрезвычайно уместными оказываются метафоры глобального.

Вместе с тем в противоположность постструктурализму я предполагаю, что возможно оценить различные метафоры по степени их научной продуктивности. Их можно сопоставить друг с другом, а для оценки убедительности использовать различные типы эмпирических данных. Образно говоря, мы не обязаны просто плыть по течению. Возможность оценивать образы потока позволит провести оценку эмпирических тезисов, неявно содержащихся в некоторых метафорах. Одна из особенно влиятельных в популярном дискурсе метафор предлагает картину того, как чистота отдельных национальных культур якобы «размывается под натиском орд иноземцев», проникающих внутрь и загрязняющих сущность каждой отдельной культуры.

Теперь я кратко назову некоторые недавно возникшие метафоры мобильности и путешествия, проникшие в сегодняшнюю социальную мысль. Вероятно, наиболее распространенной является метафора номада (кочевника). Так, Бауман говорит о «номадах постмодерна» [Bauman, 1993a], тогда как Делёз и Гваттари исследуют значение номадов, внешних для любого государства, в том, что они называют машиной войны [Deleuze, Guattari, 1986, p. 49–53]. Номады характерны для обществ детерриториализации, определяемых линиями ускользания, а не точками или узловыми пунктами. Они утверждают, что «у номада нет точек, путей или земли... Если номад может быть назван детерриторизированным *par excellence*, то именно потому, что с ним не происходит последующей ретерриториализации, как с мигрантом...» [Ibid., p. 52]. Номады выступают источником некоторой конфликтности для государств, фундаментальная задача которых — «расчерчивать пространство, над которым оно властвует... не только чтобы подавить номадизм, но и чтобы контролировать миграции и, в более общем смысле, создать зону прав, покрывающую всё “внешнее”, все пересекающие ойкумену потоки» [Ibid., p. 59]. Сходным образом государство описывает Вирильо — как «полицию»: «врата города, взимаемые им поборы и налоги, являются барьерами, фильтрами против текучести масс, против проникающей силы мигрирующих групп» (цит. по [Ibid., p. 60]). Я вернусь к Делёзу и Гваттари в восьмой главе, где остановлюсь на вопросе о том, как трансформируются сегодня государства под воздействием разрастающихся номадических потоков и гладких пространств, которые они отчаянно стремятся «контролировать».

В целом номадическая детерриториализация представлялась одним из путей преодоления дисциплинарных границ и гегемонных культурных практик, способом «маргинализации центра», в особенности маскулинистских, имперских, белых академических культур «Запада» (см. [Kaplan, 1996, ch. 2]). Номадизм связан с представлением о том, что академическое и политическое письмо само является неким путешествием. Чтобы выработать теорию, человек покидает свой дом и уходит в странствие. Согласно Ван ден Аббеле, «дома» или некоей неизменной точки, из которой теоретик отправляется и куда впоследствии возвращается, не существует [Van den Abbeele, 1980]. Теоретик представляется тем, кто путешествует наудачу, не оставаясь дома, но и не

покидая его (обзор подобных номадических метафор, включая де Серто [de Certeau, 1984] и теорию ризомы Делёза и Гваттари [Deleuze, Guattari, 1988; Делёз, Гваттари, 2010; Cresswell, 1997]).

Брайдотти предлагает новый «взаимосвязанный номадизм» для выработки многообразных нелинейных способов мышления посредством комплексных и разнородных паттернов, характерных особенно для жизни женщин [Braidotti, 1994]. Феминисты, утверждает она, должны развивать номадическое сознание. Номадизм используется здесь не в буквальном смысле, отсылая не к паттернам путешествия по миру, а, скорее, к тому критическому сознанию, которое несет в себе метафора номада, сознанию, противостоящему господствующим культурным кодам, в особенности фаллоцентрическим.

Вместе с тем многие из примеров Брайдотти в действительности опираются на актуальные формы мобильностей между различными местами и, следовательно, на разнообразные географические перемещения. Так, она отмечает, что «испытывает особенную привязанность к транзитным местам, связанным с путешествиями, — станциям и залам ожидания аэропортов, трамваям, пригородным автобусам и зонам досмотра. Промежуточные зоны, где все связи подвешиваются, а время растягивается, превращаясь в некое непрерывное настоящее» [Ibid., p. 18–19]. Брайдотти не объясняет, как номадическое сознание могло возникнуть без физической мобильности. Чамберс характеризует этот процесс как превращение *фланёра* в *планёра* [Chambers, 1990] (о повышенной мобильности интеллектуалов и художников в период между войнами см. [Clifford, 1997, p. 30–31]). Невозможно также представить номадизм и без виртуальных и объектных мобильностей. Макимото и Маннерз утверждают, что мы вступили в новую номадическую эпоху. Благодаря оцифровке многие домашние или офисные устройства в следующем десятилетии будут размещены на теле человека или по крайней мере в небольших сумках, что сделает тех, кто сможет себе это позволить, «географически независимыми» [Makimoto, Manners, 1997, p. 2]. Такие люди смогут «свободно жить там, где захотят, и путешествовать столько, сколько им вздумается», и будут вынуждены решить, являются ли они оседлыми или настоящими «глобальными кочевниками» [Ibid., p. 6]. Несколько иная разновидность номада обнаруживается в «номадическом капитализме» Реймонда Уильямса — концепции, которую он

использовал при анализе забастовки британских шахтеров в 1984–1985 гг. Он утверждал, что забастовки стали следствием «логики нового номадического капитализма, который эксплуатирует реальные места и людей, а затем (когда сочтет нужным) перемещается дальше... реальные мужчины и женщины знают, что столкнулись с чуждым им порядком бумаги и денег, который кажется всемогущим» [Williams, 1989, p. 124].

Многие комментаторы, однако, подвергли критике некоторые из этих номадических метафор. Бауман отвергает номадическую метафору, поскольку настоящие кочевники перемещаются с места на место вполне упорядоченным образом [Bauman, 1993a, p. 240]. Напротив, он утверждает, что для постмодернистских времен больше подходят метафоры бродяги и туриста, не предполагающие подобной регулярной мобильности. Он говорит, что бродяга — это паломник без пункта назначения, номад без курса, тогда как турист «платит за свою свободу, право не обращать внимание на местные заботы и чувства, право создать собственную сеть значений... Мир принадлежит туристу... он должен прожить в нем с удовольствием и, таким образом, разделить его смыслом» [Ibid., p. 241]. И бродяга, и турист перемещаются через пространства других людей, они в равной степени возводят отделение физической близости от любого чувства морального участия и оба задают стандарты счастья. Согласно Бауману, счастливая жизнь должна мыслиться в качестве чего-то подобного «нескончаемому отпуску» [Ibid., p. 243].

Вольф критикует маскулинистский характер многих метафор номадизма и путешествий как несущих в себе идею произвольного и безграничного движения, тогда как возможности разных людей оказаться «в пути» — буквально или метафорически — совершенно различны [Wolff, 1993]. Как отмечает Крессвелл, постмодернистский номад «не несет следов класса, гендера, этноса, пола и географии» [Cresswell, 1997, p. 377]. Сходным образом Клиффорд пытается «освободить термин “путешествие” от истории европейских, литературных, мужских, буржуазных, научных, героических, рекреационных значений и практик» [Clifford, 1997, p. 33]. Йокинен и Вейола также демонстрируют «маскулинность» многих номадических метафор [Jokinen, Veijola, 1997]. Они показывают, что некоторые мужские метафоры могут быть переписаны и перекодированы. Будучи реконцептуализированы как образы папарацци, бездомного пьяницы,

секс-туриста и бабника, они утрачивают те положительные коннотации, которыми обычно наделяются в рамках главенствующей теории номадизма. Исследователи также отмечают, что нам следовало бы изучить некоторые женские метафоры движения, включая метафоры проститутки, няни и домработницы.

Теперь я перейду к паре более специфичных метафор путешествия и случайных встреч. Гилрой разрабатывает хронотип корабля, живой, микрокультурной, микрополитической системы, находящейся в движении [Gilroy, 1993, p. 4]. Эта метафора выдвигает на первый план развитие гибридной «черноатлантической» культуры, локализованной в треугольнике работорговых маршрутов, указывает на общую значимость циркуляции, вызывает в памяти яркие образы моря, обращает внимание на сложное движение людей и артефактов через Атлантику. Гилрой так подытожил эту мысль:

Корабли служили живыми инструментами связывания географических пунктов в пределах атлантического мира. Это были мобильные звенья, которые выступали своеобразными перемещающимися пространствами между фиксированными областями, которые они связывали. Таким образом, их следует воспринимать в качестве культурных и политических единиц... средств урегулирования политических разногласий и, возможно, особым модусом культурного производства [Gilroy, 1993, p. 16–17] (см. гл. VI наст. изд.).

Клиффорд утверждал, что хронотип или метафору гостиничного вестибюля, т.е. зоны пространства и времени, базовыми характеристиками которых являются удаленность от дома, движение и случайные встречи, следует предпочесть метафорам дома и проживания, предполагающим неподвижность и фиксированность [Clifford, 1997]. Однако позднее он переходит к критике хронотипа отеля, называя его ностальгическим и маскулинным (или, скорее, джентльменским); вместо этого он рекомендует хронотип или метафору мотеля (см. [Morris, 1988]). В мотеле нет настоящего вестибюля, он вплетен в сеть автомагистралей, его функция — пропускать через себя людей, а не создавать условия для консолидации человеческих субъектов, он полностью обращен на циркуляцию и движение и уничтожает чувство пространства и местоположения. Мотели «фиксируют лишь память о движении, скорости и непрерывной циркуляции» [Ibid., p. 3]; они «никогда не могут стать настоящим местом», и один мотель отличается от другого лишь «быстродействующей, эм-

пирицистской вспышкой» [Morris, p. 5]. Мотель, подобно залу ожидания аэропорта, воплощает не прибытие или отправление, а «паузу» [Ibid., p. 41].

Рассмотрев достаточно большой набор метафор движения, я хочу представить свой тезис в более систематизированном виде, обратившись к несколько иному источнику, а именно к проведенному Анн-Мари Мол и Джоном Ло анализу накладывающихся друг на друга метафор регионов, сетей и потоков [Mol, Law, 1994]. Различения такого рода разработаны для того, чтобы разобраться с интригующей пространственной проблемой, относящейся к современной биомедицинской науке. Если человек страдает от анемии, где, по нашему представлению, находится его заболевание? В каком именно месте организма ее следует искать? Ответ состоит в том, что анемия не находится нигде конкретно, но может быть везде, куда поступает кровь. Кровеносные сосуды расположены по всему телу, они формируют огромную сеть, позволяющую крови в конечном счете достигать каждой клетки, а не только крупных органов тела. Кровь не остается в сосудах, несущих ее, поскольку некоторые кровяные клетки мигрируют через стенки кровеносных сосудов. Таким образом, кровь характеризуется странным пространственным паттерном. Он не согласуется со структурами или регионами обычной анатомии. Кровь — это текучая среда, движущаяся по чрезвычайно сложным сетям кровеносных сосудов человеческого тела и в результате оказывающаяся практически во всех его частях. Она демонстрирует топологию, отличную от топологии четко выстроенной структуры.

Мол и Ло используют это рассуждение о крови, чтобы поставить вопрос о различных пространственных формах социальной жизни. Какие метафоры социального эквивалентны их описанию крови и анемии? Существуют три метафоры пространства или социальных топологий. Во-первых, есть *регионы*, в которых объекты связаны друг с другом, а вокруг каждого регионального кластера проведена граница. Эта топология территориализации давно известна, она стара и надежна [Lefebvre, 1991]. Во-вторых, есть *сети*, в которых относительное расстояние является функцией отношений между компонентами, составляющими сеть. Результат, выдаваемый по всей сети, неизменен, несмотря на частое пересечение региональных границ. В-третьих, существует топология или метафора *текучей среды*, как, например, в случае кро-

ви. Мол и Ло утверждают, что в таких текучих средах «ни границы, ни отношения не маркируют различие между одним местом и другим. Вместо этого границы временами возникают и снимаются, дают течь или исчезают вовсе, тогда как отношения преобразуются без разлома. То есть порой социальное пространство ведет себя как текучая среда» [Mol, Law, 1994, p. 643].

Мол и Ло используют эту концепцию текучего пространства для описания того, как медицина во всем мире работает с анемией, обращая особое внимание на явные отличия в ее клиническом наблюдении и лечении в Нидерландах в сравнении с рядом африканских стран. Они утверждают, что нет простого *регионального* различия между наблюдением и лечением этого заболевания в Нидерландах и в Африке. Не существует и единой всемирной клинической *сети* с элементами, поддерживающими друг друга посредством регулярных контактов, которые позволили бы согласовывать голландское и африканское понимание того, что такое «анемия». Мол и Ло заявляют: «Мы видим перед собой *вариацию без границ и трансформацию без разрыва*. Мы видим перед собой потоки. Пространство, с которым мы имеем дело, является *текучим*» [Ibid, p. 658].

Следовательно, «анемия», как и кровь, может считаться втекающей и покидающей различные регионы, пересекающей границы и использующей разнообразные сети. По пути она меняется, хотя, как правило, эти изменения более или менее незначительны во времени. Анемия как болезнь подобна текучей среде, крови, она подвержена трансформациям. Текучие среды смешиваются и плавно изменяются, не имея четких границ. Возникающие объекты могут не быть четко определенными. Нормальность изменчива и не является чистым абсолютом. В текучем пространстве невозможно четко и однозначно, раз навсегда установить идентичности; также невозможно отличить внутреннее от внешнего. Многие иные текучие среды могут соединяться или не соединяться друг с другом. «Текучий мир — это мир *смесей*» [Ibid, p. 660]. Текучие среды не являются твердыми или стабильными, и это не единственные пространственные образования, которые нам следует изучить. Кроме того, текучие среды способны преодолевать определенного рода нехватки, например отсутствие лабораторий в зонах боевых действий в Африке, они всегда зависят от обстоятельств. В итоге Мол и Ло приходят к выводу:

Изучение текучих сред, таким образом, станет изучением отношений, сил отталкивания и притяжения, которые формируют поток... Итак, как именно перетекает анемия? Как она движется между Нидерландами и Африкой, а потом обратно? ...Она может перетекать в навыках людей, или в качестве характеристики устройств, или в форме записанных слов... И в процессе движения она меняет свою форму и характер [Mol, Law, 1994, p. 664].

Итак, я рассмотрел различные метафоры мобильности, включая номада, бродягу, туриста, корабль, отель, мотель и зал ожидания. Многие представляются весьма полезными, и к некоторым из них я еще вернусь, когда буду обсуждать различные соотношения принадлежности и путешествия. Вместе с тем, чтобы предложить более убедительный анализ «глобального», я обратился к пространственным метафорам региона, сети и текучей среды.

Мол и Ло выявляют силу этих метафор на примере с анемией, объединяющем в себе неравномерные, гетерогенные навыки, технологии, кооперацию и неявные знания тех, кто вовлечен в наблюдение и лечение заболевания в клиниках по всему миру. Масштаб и сила таких сетей и текучих сред, простирающихся через социетальные границы, поднимают важные вопросы о способности обществ («регионов») сопротивляться. Так, текучая среда «анемии» принимает разные формы, когда втекает внутрь или просачивается через тот или иной регион. Любую текучую среду можно отличить от других на основании скорости потока, вязкости, глубины, консистенции и степени локализации. В следующем параграфе я рассмотрю некоторые глобальные эквиваленты регионов, сетей и текучих сред и попытаюсь предложить несколько метафор глобального.

МЕТАФОРЫ ГЛОБАЛЬНОГО

Социологическое понятие общества построено вокруг метафоры региона, того, в котором «объекты связаны друг с другом, а вокруг каждого регионального кластера проведена граница» [Mol, Law, 1994, p. 643]. Следовательно, должны существовать различные общества с характерными для них сгустками социальных институтов и четкими и контролируруемыми границами, окружающими каждое из этих обществ как регион. Далее я обращаюсь к вопросу о том, как глобализация ломает эту метафору

общества и тем самым проблематизирует господствующую дискурсивную схему социологии.

Один из способов изучить глобализацию — оценить ее роль в межрегиональном соревновании с «обществом». О глобализации можно сказать, что она заменяет один регион, целостное «западное» общество национального государства, другим — глобальной экономикой и культурой. А поскольку и экономика, и культура все больше глобализируются, господствовавший ранее регион общества, по-видимому, начинает утрачивать свое относительное влияние. Кажется, будто в борьбе двух регионов глобальный должен взять верх над социетальным [Robertson, 1992]. Поведение и мотивация станут продуктом не столько социетального производства и воспроизводства, сколько более глобально организованной культуры, постепенно избавляющейся от какой бы то ни было связи с обществом.

Однако это лишь один из способов понимания так называемой глобализации. В дальнейшем я постараюсь показать, что глобализацию не стоит рассматривать таким образом, как процесс замещения одним большим регионом меньшего региона каждого общества. Глобализация, скорее, предполагает замену метафоры общества как *региона* метафорой глобального, понимаемого как *сеть* и *текущая среда*. Именно это постулируемое замещение одной социальной топологии другими определяет значимость глобализации. Я намереваюсь продемонстрировать, что «глобальное» предполагает метафоры сети и потока, а не региона (см. [Brunn, Leinbach, 1991; Lash, Urry, 1994; Waters, 1995; Albrow, 1996; Castells, 1996; Кастельс, 1999; 1997; Eade, 1997]). По понятным причинам начиная с 1989 г. наблюдается исключительный рост числа работ о глобализации [Busch, 1997].

Вполне естественно, что литература о глобализации сосредоточена на описании широкого разнообразия новых объектов, *машин и технологий*, способствующих радикальному уплотнению и сжатию времени—пространства. Глобализация предполагает такое развитие инфраструктуры, которое буквально или символически выходит за пределы социетальных границ. К технологиям такого рода относятся оптоволоконные кабели, реактивные самолеты, аудиовизуальные передачи, цифровое телевидение, компьютерные сети (включая Интернет), спутники, кредитные карты, факсы, электронные торговые терминалы, переносные телефоны, электронные биржи, высокоскоростные поезда и виртуальная

реальность. Наблюдается серьезный рост ядерной, химической и военной технологий, а равно новых отходов и рисков для здоровья, о которых нельзя уже просто утверждать, что они порождены внутри обществ как конкретных регионов и являются их проблемой. Технологии переносят людей, информацию, деньги, образы и риски. Непрерывно ускоряясь, они распространяются внутри и за пределы национальных обществ. В эпоху, названную Томом Петерсом «наносекундными девяностыми», было внедрено множество технологий, порождающих новые, поразительные по скорости и масштабу потоки [Peters, 1992] (о мгновенном времени см. гл. V наст. изд.). Эти технологии не возникают непосредственно и исключительно из намерений людей и их действий. Они сложным образом связаны с машинами, текстами, объектами и иными технологиями [Michael, 1996; Майкл, 1999]. Как было указано в первой главе, не существует чистых *социальных* структур как таковых, есть лишь гибриды [Latour, 1993; Латур, 2008].

Более того, схватыванию образа пересечения людей и объектов не может служить метафора вертикальной структуры. Последняя обычно предполагает центр, концентрацию власти, вертикальную иерархию и формальный или неформальный устав. Напротив, по мнению Кастельса, мы должны использовать метафору сети, «узла в сети» [Castells, 1996, p. 198]. «Сети формируют новую социальную морфологию наших обществ, а распространение сетевой логики существенно меняет работу и результаты процессов производства, опыта, власти и культуры... в сетевом обществе, характеризуемом преобладанием социальной морфологии над общественным действием» [Ibid., p. 469].

Кастельс определяет сеть как совокупность связанных узлов, в которой расстояние между социальными позициями короче там, где такие позиции являются узлами конкретной сети, а не лежат за ее пределами. Сети следует рассматривать в качестве динамичных открытых структур, способных осуществлять коммуникацию с новыми узлами и эволюционировать [Ibid, p. 470–471]. Значительная часть работ в области экономической географии посвящена явно возросшему значению подобных сетей для современной экономики как на уровне отдельных компаний, так и при их взаимодействии друг с другом и целыми сообществами [Amin, Thrift, 1992; Cooke, Morgan, 1993].

В данном случае сети — это не просто *социальные* сети. Дело в том, что «конвергенция социальной эволюции и информа-

ционных технологий создала новый материальный базис для осуществления определенных форм деятельности по всей социальной структуре. Этот встроенный в сети материальный базис маркирует господствующие социальные процессы, формируя тем самым саму социальную структуру» [Castells, 1996, p. 471]. Таким образом, сети производят сложные устойчивые связи в пространстве и времени между людьми и предметами [Murdoch, 1995, p. 745]. Такая протяженность имеет первостепенное значение, поскольку, по справедливому замечанию Ло, «оставленные на произвол судьбы, человеческие слова и поступки лишены возможности распространяться на сколь бы то ни было большие расстояния» [Law, 1994, p. 24]. Различные сети обладают разной степенью проникновения и способностью передавать на расстояния отдаленные события, места и людей, т.е. преодолевать «трение пространства» за приемлемые промежутки времени. Это требует мобилизации, стабилизации и соединения людей, поступков или событий из разных мест в устойчивую сеть [Latour, 1987]. К примеру, бухгалтерское дело чрезвычайно эффективно в сведении различных форм деятельности из разных регионов к общему набору количественных данных, информационному потоку, который может быть мгновенно передан другим частям сети и в первую очередь — осуществляющему контроль и управление головному офису [Murdoch, 1995, p. 749]. Таким образом, сети одновременно находятся в пространстве и при этом сами его образуют, они обладают пространственными и темпоральными характеристиками, к чему я еще вернусь в следующих главах (об «актор-сетях» см. [Law, Hassard, 1999]).

В отличие от неизменных мобильных составляющих бухгалтерского дела, сети измерения уровня гемоглобина менее надежны [Mol, Law, 1994, p. 647–650]. Мол и Ло задаются вопросом, как создать региональные сравнительные карты уровней гемоглобина (что аналогично задаче бухгалтеров, составляющих карты относительной доходности разных предприятий одной глобальной компании). Для этого, по их мнению, необходима сеть, покрывающая несколько разных регионов, оснащенная соответствующими технологиями, измерительными устройствами и людьми с надлежащими медицинскими и техническими навыками.

Здесь следует подчеркнуть два момента. Во-первых, такую сеть довольно сложно выстроить, поскольку в отдельных частях

мира, например в бедных африканских странах, нет достаточного количества приборов, необходимых для измерения уровня гемоглобина, а те, что есть, не всегда правильно обслуживаются. Такие неработающие сети Мол и Ло называют «несостоятельными». Измерение гемоглобина не является неизменным, но зависит от обстоятельств (о значении неизменной мобильной составляющей см. [Latour, 1990]). По мере перемещения устройств и техники от центра к периферии «их точность становится все менее надежной» [Mol, Law, 1994, p. 652]. Во-вторых, когда между множеством регионов выстраивается успешная сеть, она меняет конфигурацию пространства и времени, которые перестают быть региональными. В сети измерения уровней гемоглобина два госпиталя могут быть ближе друг другу, даже если их разделяют тысячи километров. Они являются узлами сети — подобно тому, как разнесены узловые аэропорты на тысячи километров в системе авиаперевозок. Сети нуждаются в картографировании, изучении зон высокой и низкой плотности и белых пятен [Brunn, Leinbach, 1991; Lash, Urry, 1994, p. 24].

Вернемся к глобализации и попробуем развить предложенное различие каналов (scapes) и потоков. *Каналы* — это сети машин, технологий, организаций, текстов и акторов, образующие различные взаимосвязанные узлы, через которые могут передаваться потоки. Каналы преобразуют измерения времени и пространства. Основные из них таковы:

- транспортировка людей воздушным, морским путем, по железным дорогам, автомагистралям и иными путями;

- транспортировка объектов через почтовые и другие системы;

- проволочные и коаксиальные кабели;

- микроволновые каналы, используемые сотовыми телефонами;

- радио- и телевизионные спутники;

- оптоволоконный кабель для телефонии, телевидения и компьютеров.

После появления того или иного канала индивиды и прежде всего корпорации внутри каждого общества, как правило, предпринимают попытки подключиться к ним через превращение самих себя в узлы данной сети. Они постараются построить собственный узловой аэропорт или по крайней мере наладить регулярное авиасообщение с уже существующими; они захотят,

чтобы местные школы были подключены к Интернету; они попытаются наладить спутниковое вещание; они могут даже попробовать заняться переработкой ядерных отходов и т.п. Между некоторыми из узлов отдельных shaftов будут протекать колоссальные объемы информации, финансовых, экономических, научных и новостных данных и образов, к которым некоторые группы подключаются с необычайной легкостью, тогда как другие оказываются от них практически отрезаны. Важным становится то, что Брунн и Лейнбах называют «относительным» положением, в противовес «абсолютному» [Brunn, Leinbach, 1991, p. xvii]. Тем самым в противоположность неравенствам покоя создаются новые неравенства потоков, приобретающие форму «туннелей». Грэм и Марвин определяют то, с чем мы здесь сталкиваемся, как сворачивание времени и пространства продвинутыми телекоммуникационными и транспортными структурами, где каналы, минуя одни области, соединяют другие плотными в информационном и транспортном отношении «туннелями» [Graham, Marvin, 1996, p. 60].

Некоторые каналы отчасти функционируют на глобальном уровне. К организациям, вовлеченным в этот процесс, относятся ООН, Всемирный банк, Microsoft, CNN, Greenpeace, Европейский союз, News International, церемония «Оскар», Всемирная организация интеллектуальной собственности, ЮНЕСКО, Международная ассоциация воздушного транспорта, Международная организация труда, Олимпийское движение, «Друзья Земли», Нобелевские премии, Banaid, Доклад Брундтланд, Саммит Земли, Европейский суд по правам человека, Британский совет, Английский язык и т.д. Названные организации употребляют большую часть оборудования и технологий на цели, способствующие сжатию времени-пространства.

В отличие от структурированных каналов, *потоки* состоят из людей, образов, информации, денег и отходов, которые движутся внутри, а главное, поверх национальных границ, причем отдельные общества зачастую неспособны или не желают контролировать их ни прямо, ни косвенно. Потоки создают новые неравенства «доступа — отсутствие доступа», которые не фиксируются в юрисдикциях отдельных обществ. У человека конца XX столетия эти потоки порождали новые возможности и *желания*, так же как и новые *риски*. К новым относятся: распространение СПИДа почти по всему миру в течение последних 15 лет;

рост экологических рисков, распространяющихся через границы, например, в виде потоков «ядерных монстров»; утрата национального суверенитета в результате выхода глобальных каналов и потоков из-под контроля национальных правительств; тенденция гомогенизации различных локальных культур; изгнание людей из стран происхождения и приобретение статуса беженцев с чрезвычайно ограниченным набором прав в тех странах, где они оказались.

В то же время глобализация открывает перед людьми новые возможности и предлагает новые формы деятельности. К ним относятся: сравнительно дешевые заморские поездки; возможность приобретать потребительские товары и выбирать образ жизни по всему миру (допустим, мексиканскую еду, индийские кувшины, африканские украшения, южноамериканский кофе); доступ к общению с жителями разных стран через Интернет; возможность формировать «новые социальные группы», часто противостоящие или выдвигающие альтернативы отдельным сторонам глобализации; свобода участия в глобальных культурных инициативах, таких как Кубок мира, или знакомство с этнической музыкой; актуализация отдельных форм локальной идентичности, например, за счет целенаправленных усилий по возрождению этнических традиций и идентичностей.

Потоки действуют опустошающе на существующие общества, в частности, за счет избыточного количества возникших «социаций», ставящих своей целью отражать, оспаривать, уклоняться, предлагать альтернативы или отстаивать различные потоки, часто выходящие за пределы социетального «региона». Как следствие, внутри каждого существующего «общества» устанавливается сложный, смещенный, дизъюнктивный порядок, порядок рассредоточенности, порожденный постоянным комбинированием и рекомбинированием множественных потоков во времени и пространстве, зачастую без всякой связи с регионами существующих обществ, но лишь следующий некоей гипертекстуальной схеме. Пересекающие социетальные границы потоки усложняют государствам задачу мобилизации строго обособленных и консолидированных *наций* для достижения целей в интересах всего общества как региона. Описанные конфигурации ослабляют способность социетального сплачивать своих граждан, принимать политические решения от имени общества в целом, обеспечивать его национальной идентич-

ностью и озвучивать единогласное мнение национального государства. Мы не живем в обществе риска с его незримыми константами «регионального» института и социальной структуры. Скорее, мы находимся в неопределенной, амбивалентной, семиотической культуре риска, в которой риски отчасти являются следствием ослабления возможностей обществ перед лицом многочисленных «внечеловеческих» глобальных потоков и множественных сетей [Lash, 1995]. При глобализации потоки информации и образов приобретают повышенное значение, что порождает различные типы контроля. Как было отмечено в отношении Японии, «сетевые системы усиливают тот тип человеческого контроля, который предполагает *побуждение или убеждение посредством манипулирования информацией*, нежели тот, который основан на властном или контрактном политическом действии» (цит. по [Dale, 1997, p. 33]).

До этого момента о пересекающихся региональные границы общества глобальных сетях и потоках я говорил, скорее, в общем, пытаясь выявить некоторые аспекты «детерриториализации» современной социальной жизни (о «детерриториализированной» банковской системе см. [Lefebvre, 1991, p. 346–348]). Теперь я уточню эти понятия, снова обратившись к вышеупомянутой дискуссии о крови и анемии. Я буду исходить из того тезиса, что *глобальные сети и глобальные текучие среды* — явления различного порядка.

Многие «глобальные» предприятия, такие как American Express, McDonalds, Coca-Cola, Disney, Sony, British Airways и т.д., созданы на основе глобальной сети (см. [Ritzer, 1992; Ритцер, 2011; 1995; 1997]). Эта сеть технологий, навыков, текстов и брендов гарантирует, что более или менее одинаковый продукт поставляется примерно одним и тем же образом в каждой стране, в которой работает данное предприятие (хотя продукт не всегда один и тот же — к примеру, в мусульманских странах в «Макдоналдсе» не продают еду со свининой). Продукция производится в предсказуемых, калькулируемых, рутинизированных и стандартизированных средах, даже когда речь идет о франчайзинге. Названные компании создали довольно эффективные сети, характеризующиеся минимальным количеством «сбоев» (в отличие от тестирования уровней гемоглобина в Африке). Так, африканский «Макдоналдс» будет ничем не хуже американского. Существование данных сетей зависит от вложения очень большой

доли ресурсов в брендинг, рекламу, контроль качества, тренинг персонала и интернализацию имиджа корпорации, причем все эти элементы распространяются через социетальные границы в форме стандартизированных паттернов, обеспечивающих устойчивость сети. Расстояние измеряется временем, которое требуется, чтобы достичь следующего «Макдоналдса», Диснейленда, следующего узлового аэропорта британских авиалиний и т.д., т.е. временем перемещения из одного узла глобальной сети в другой.

Описанная макдоналдизация предполагает новые способы организации компаний на глобальном уровне с минимумом центральной координации (близкими примерами могут служить American Express или Disneyland). Макдоналдизация производит новые виды низкоквалифицированных, стандартизированных рабочих мест, рассчитанных в основном на молодежь (McJobs), новые продукты, радикально меняющие пищевые привычки людей (такие как бигмаки или куриные макнаггетсы), а также новые социальные практики, распространяющиеся по всему миру, например, покупку стандартизированного фаст-фуда навынос («грейзинг»).

Глобальные сети производят не только вполне предсказуемые материальные товары и услуги, но также просчитываемые и контролируемые симуляции опыта, зачастую «более реальные, чем оригинал» [Ritzer, 1997; Eco, 1986; Baudrillard, 1983]. Симуляции исторических мест, подводного плавания, древних племен, «традиционных танцев», индейских резерваций и т.п. производятся глобальными сетями. Туризм в основном превратился в набирающий обороты экстатический поиск все более странных неаутентичных симуляций, производимых внутри и за счет современных безопасных сред глобальных сетей [Ritzer, 1997, p. 108–109]. По мнению Ритцера, люди все больше стремятся к тому, чтобы их туристический опыт и развлечения «макдоналдизировались в той же степени, что и повседневная жизнь» [Ibid., p. 99]. На глобальном уровне макдиснеизация туриндустрии предполагает наделение внечеловеческих механических, аудио- и электронных технологий возможностью производить гомогенные, просчитываемые, безопасные формы опыта, не зависящие от места их потребления.

Любопытным образом попытки создания глобальной сети могут исходить и от таких оппозиционных организаций, как

Greenpeace. Как и другие глобальные игроки, Greenpeace уделяет много внимания развитию и поддержке своего бренда во всем мире. Идентичность бренда Greenpeace обладает «настолько культовым статусом, что он стал всемирным символом экологической добродетели, значительно превосходящим практические успехи организации и почти независимым от них» в любом отдельно взятом обществе [Szerszynski, 1997, p. 46].

Ранние исследования на тему глобализации уделяли основное внимание проблеме глобальных сетей, а также предположительно порождаемой ими культурной гомогенизации. Отчасти это было связано с так называемым Американским веком, проявлением окончательного триумфа которого как раз и считались глобализация и гомогенизация [Taylor, 1997].

В последнее время, однако, внимание было переключено на глобальные текучие среды — поразительно неравномерные, фрагментированные потоки людей, информации, объектов, денег, образов и рисков, преодолевающие расстояния и границы между регионами со все большей скоростью и по все менее предсказуемым траекториям. Это приведет к тому, что социология текучих сред (в отличие от социологии сетей) в дальнейшем сосредоточится главным образом на гетерогенных, неравномерных и непредсказуемых мобильностях. Ниже приведены основные характеристики такого рода глобальных текучих сред (см. [Deleuze, Guattari, 1986; 1988; Делёз, Гваттари, 2010; Lefebvre, 1991; Mol, Law, 1994; MacCannell, 1992; Augé, 1995; Kaplan, 1996; Shields, 1997b]). Они:

- лишены признаков, позволяющих составить четкое представление о пунктах отправления и назначения, демонстрируя лишь детерриторизированное движение или мобильность (скорее, корневое, нежели древовидное);

- перемещаются по определенным, ограничивающим их территориальным каналам;

- являются относительными, поскольку продуктивно воздействуют на отношения между пространственно изменчивыми свойствами любого канала перемещения, который в ином случае был бы лишен своей функциональности;

- движутся в определенных направлениях и на определенных скоростях без явного конечного состояния или цели;

- обладают различными свойствами вязкости и, как и в случае крови, могут быть гуще или жиже, а потому двигаться по разным траекториям с разной скоростью;

○ движутся в соответствии с определенными темпоральными изменениями, в каждую минуту, день, неделю, год и т.д.;

○ не всегда остаются в берегах — они могут выйти из них или, подобно частицам крови, просочиться сквозь «стенку» канала, уходя во все более тонкие капилляры;

○ рассеивают власть среди множества мельчайших капиллярно-подобных отношений господства/подчинения;

○ осуществляют власть через соединение различных текущих сред, работающих с разными чувствами;

○ пространственно пересекаются на «свободных переговорных площадках», в местах, не свойственных модерну, таких как мотели, аэропорты, станции технического обслуживания, Интернет, международные отели, кабельное телевидение, высококлассные рестораны и т.д.

Проиллюстрируем значение текучих сред на примере трех кейсов, один из которых касается компьютерных систем во Франции и США, другой — «западных товаров» в бывшей «Восточной Европе», а третий — различных форм сопротивления самим процессам глобализации. Каждый пример демонстрирует силу различных социальных текучих сред, состоящих из людей и объектов, проникающих сквозь национальные границы и порождающих гетерогенные, накладывающиеся друг на друга, непредвиденные эффекты внутри различных национальных обществ.

Первый пример относится к французской компьютерной системе Minitel (см. [Castells, 1996], а также гл. V наст. изд.). Видеотекстовая система Minitel была реализована на территории Франции, став результатом правительственных инициатив по развитию национальной электронной промышленности. Система была запущена в середине 1980-х годов, а к середине 1990-х ею пользовалась треть всего французского населения. Каждому французскому домохозяйству вместо обычного телефонного справочника предлагался бесплатный терминал Minitel (основанный на ограниченной технологии видеопередачи и обмена данными). Благодаря ему пользователи получили доступ ко многим компаниям и службам, в том числе к секс-чатам. То есть Minitel создавался французским государством как национальная система, организованная по принципу телефонного справочника и единых тарифов, действующих в любой точке страны, а одна и та же услуга предоставлялась всем домохозяйствам-

подписчикам в единой форме, независимо от адреса проживания. Национальная, или социетальная, сеть стирала пространственные различия, делая всех подписчиков частью единой общенациональной структуры.

Однако к середине 1990-х годов технология Minitel устарела. Ее терминалы не подходили к обычным компьютерным системам, а их архитектура базировалась на иерархии серверных сетей, что ограничивало возможности горизонтальной коммуникации и генерации потоков поверх национальных границ. В конечном счете возникла необходимость обеспечить подсоединение терминалов Minitel (за определенную плату) к международной сети Интернет, и сегодня такая услуга предоставляется. Minitel стал просто еще одной сетью, подключенной к неуправляемой, анархической, общей системе Интернета, объединяющей по меньшей мере 44 тыс. сетей с более чем 100 млн пользователей по всему миру. Интернет демонстрирует социальную топологию не сети, а текучей среды.

Система Arpanet, или Internet, была разработана военными США с целью поддержания возможности военной коммуникации в случае ядерной атаки. Гарантия сохранения при нападении была достигнута благодаря разработке компьютерной сети, независимой от разнообразных военных центров управления и контроля. Ключевой инновацией стала «коммутация пакетов», при которой сообщения должны были разбиваться на равные по размеру части, сформированные таким образом пакеты переправлялись автономно друг от друга к месту назначения, а по прибытии соединялись вместе [Rheingold, 1994, p. 74]. Разные части одного и того же сообщения могли двигаться разными траекториями, а затем складываться вместе. Фрагменты сообщений были способны находить пути самостоятельно, циркулируя в качестве разделенных пакетов, так что если та или иная часть системы уничтожалась вражеской атакой, сообщения все еще проходили бы. Вертикальная иерархия отсутствует, и если тот или иной узел неисправен, сеть его огибает. Рейнгольд заключает: «Если вы построите систему передачи сообщений по этой схеме и примените компьютеры для маршрутизации, вы сможете создать сеть, которая уцелеет и тогда, когда ее узлы будут подрываться один за другим» [Ibid.].

Преобразование этой военной системы в чрезвычайно текучую и потенциально глобальную сеть Интернет стало

возможным благодаря инициативам американских научно-исследовательских сетей (в особенности Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Массачусетского технологического института и Гарвардского университета) и альтернативным попыткам создания компьютерной сети с универсальным (горизонтальным) публичным доступом [Rushkoff, 1994]. Так, именно студентам мы обязаны «изобретением» модема в 1978 г. и веб-браузера Mosaic в 1992 г. Это были ключевые моменты в истории альтернативной разработки персональных компьютеров. Как отмечает Кастельс, «открытость системы проистекает из непрерывного инновационного процесса и свободы доступа, обеспеченных усилиями первых компьютерных хакеров и сетевых энтузиастов, которые все еще населяют сеть тысячами» [Castells, 1996, p. 356]. Интернет превратился в систему, предлагающую возможность горизонтальной коммуникации, контроль или эффективное цензурирование которой национальными обществами невозможен. Перед нами один из наиболее ярких примеров того, как технология, изобретенная в одних целях (военная коммуникация в США в случае ядерной атаки), хаотически развивается, порождая цели, абсолютно непредвиденные теми, кто ее изобретал и разрабатывал.

Итак, к концу XX в. Интернет стал метафорой социальной жизни как текучей среды. Он объединяет тысячи сетей, народов, машин, программ, текстов и образов, в которых квазиобъекты смешиваются с квазисубъектами, образуя новые гибридные формы. Появляются все новые и новые компьютерные сети и связи, образующие неожиданные и смешанные конфигурации. В этом текучем пространстве невозможны раз и навсегда определенные идентичности, поскольку текучий мир — это мир *смесей*. Сообщения «находят себе путь» подобно крови, распространяющейся через множество капилляров. Текучие среды огибают пустоты. Такие компьютерные сети не являются чем-то цельным и устойчивым, но в высшей степени произвольны. Плант описывает гипертекстовые программы и Сеть как «паутину ссылок без центральных значений, организующих принципов и иерархий» (см. [Plant, 1997, p. 10], а также гл. III наст. изд.).

Второй кейс касается значимости различных потоков, связанных с крушением коммунистических режимов в Восточной Европе (см. [Braun et al., 1996]). После Второй мировой войны отдельные общества Центральной и Восточной Европы вы-

строили исключительно прочные границы, отделяющие их как от «Запада», так и, что несколько более странно, друг от друга. Культурная коммуникация как извне, так и изнутри оказалась чрезвычайно затрудненной. Холодная война заморозила не только политику, но и культуру. И хотя на международном уровне эти общества были связаны гегемонией СССР (в экономическом плане — через СЭВ, а в политическом и военном — через Варшавский договор), существовал явный крен в сторону упрощения культурной жизни и укрепления национальных сетей, нацеленных на производство унифицированных моделей, в особенности потребительских. В результате была создана интересная социальная лаборатория в рамках целого «общества».

Однако в какой-то момент региональные границы каждого общества стали проницаемыми для разнообразных текучих сред. Стремление удержать или заморозить людей и культуры Восточной Европы не могло увенчаться успехом. Наиболее драматичным примером попытки консервации общества в неких установленных рамках служит Берлинская стена. Вместе с тем начиная с 1960-х годов разнообразие форм коммуникации, а затем и туристических контактов неуклонно росло. Люди и, в первую очередь, объекты начали пересекать тщательно сооруженные границы, часто при помощи того, что называли «невидимой рукой контрабандиста» [Braun et al., 1996, p. 1].

Западные объекты стали использоваться и обсуждаться в разных неформальных группах, помогая гражданам изолированных обществ сформировать новые основания индивидуальной идентичности, новые способы коллективной памяти и новые образы самих себя и общества. Многие граждане стремились всеми правдами и неправдами узнавать и обзаводиться вещами, которые, как казалось, олицетворяли западный стиль, служили несомненными атрибутами «западности». Поскольку работа или политическая сфера не служили источником формирования идентичности, многие направляли свою энергию как на высокую (книги), так и на низкую (объекты популярного характера) культуру, а особенно на материальные предметы, символизировавшие или фиксировавшие новые культурные идентичности. Браун и коллеги утверждают, что «эти социально сконструированные желания в действительности сыграли большую роль в подрыве европейских социалистических режимов, нежели любая политическая идеология» [Ibid., p. 2].

Экономики стран Центральной и Восточной Европы были, в частности, подчинены приоритетам промышленного производства и сдерживания потребительского спроса, в чем-то напоминая относительно недолго просуществовавшую систему экономики на Западе военного времени. Масштаб и разнообразие ограничений в сфере потребления не были результатом свободного волеизъявления граждан; в действительности чем более сужался выбор, особенно в сравнении с тем, что, как представлялось, происходило на Западе, тем выше было значение потребительских товаров и их заменителей в глазах индивидов и различных социальных групп. Уотерс делает следующий вывод: «...вероятно, большинство населения усвоило потребительскую культуру на основании отблесков западной жизни... “Бархатные революции” конца 1980-х годов можно считать массовой претензией на право неограниченного индивидуального потребления» [Waters, 1995, p. 143].

«Шоп-туризм» в западные страны достиг больших масштабов в 1970-х и 1980-х годах. В результате формировались различные накладывающиеся друг на друга и пересекающиеся потоки, обеспечивающие перемещение объектов в эти страны зачастую с их последующей перепродажей через местные социальные сети. Эти процессы еще больше усиливали ожидания людей в части благосостояния и потребительских сокровищ Запада. Заграничные вещи служили значимыми культурными маркерами. Как утверждают Браун с коллегами, многочисленные потоки людей, стремящихся к различным материальным объектам, поступающим из других культур, стали ключевой характеристикой обществ, в которых потребительские барьеры лежали в основе официальной государственной политики [Braun et al., 1996, p. 6]. Востребованные объекты могли практически ничего не стоить на Западе (к примеру, подставки под пивные кружки), однако если доступны были только они, люди прилагали всю свою изобретательность, чтобы их заполучить.

Всепроникающие объекты потребления функционировали в недавней истории Восточной Европы по-разному. Существовал наивный восторг перед потребительскими товарами с широким выбором стиля и вкуса и в более общем смысле — перед шопингом как доставляющим интенсивное наслаждение времяпрепровождением. Возможность совершать покупки была объектом страстного желания. Действовал и процесс порождения

дения «культовых» товаров, таких как американские кроссовки или западные книги, распространена была и более общая вера в то, что Запад задает стандарт того, что на самом деле является «классным». Поездки в другие страны, в особенности западные, всегда предполагали обширные покупки потребительских товаров как для членов семьи, так и, преимущественно, для перепродажи. Повсеместной контрабандой занимались туристы, водители грузовиков и другие граждане, по возвращении домой они задействовали различные социальные сети для продажи товаров, отмеченных знаком западной утонченности и подразумеваемым крахом Востока. Потоки покупателей, туристов, путешественников, участников черного рынка, контрабандистов и др. в сочетании с отдельными потребительскими товарами и способами транспортировки подрывали жестко изолированные общества изнутри. Сами общества не обладали социальной силой, необходимой для сдерживания неотвратимого наплыва товаров, услуг, знаков, образов и людей сквозь одни из самых охраняемых национальных границ.

Сказанное помимо прочего показывает, как предположительно один и тот же объект может проживать совершенно разные культурные биографии в различных контекстах. Копытофф описывает этот момент на примере биографии автомобиля в Африке, сравнивая ее с судьбой физически аналогичного объекта во Франции. В биографии показано, как приобреталась машина, где были добыты деньги на ее покупку, каковы отношения покупателя и продавца, как она использовалась, кем были частные пассажиры, в каких гаражах она ремонтировалась, как автомобиль менял владельцев и где в конечном счете оказались его останки [Копытофф, 1986, р. 67; Копытофф, 2006, с. 138].

Третий пример касается того, как глобальные потоки парадоксальным образом порождают многочисленные формы сопротивления своим собственным следствиям. Многие группы и ассоциации сплываются вокруг яростного сопротивления институтам и потокам нового глобального порядка. Глобализация порождает собственную оппозицию, хотя по поводу причин и последствий глобальной нестабильности существуют разные мнения. Модус сопротивления глобальным институтам является фрагментированным и разнородным. Он включает в себя мексиканских сапатистов, американскую милицию и патриотов в широком смысле, Аум Синрикё в Японии, многие экологиче-

ские НПО, движение женщин, озабоченных влиянием мирового рынка на женщин и детей в развивающихся странах, сторонников движения «Нью-эйдж», религиозный фундаментализм и т.д. Все они выступают против определенных аспектов нового мирового порядка и организованы вокруг того, что Кастельс называет «идентичностями сопротивления» [Castells, 1997, p. 356]. Это виртуальные сообщества, которые «существуют лишь в той мере, в какой их участники объединены идентификациями, выстроенными в негеографических пространствах активистского дискурса, культурных продуктов и медиаобразов» [Rose, 1996, p. 333]. Своими практиками сопротивления потокам они отчасти сами служат «детотализации» каждого национального общества. Кастельс утверждает, что «гражданские общества исчезают и распадаются, поскольку устойчивой связи между логикой отправления власти в глобальной сети (глобальных текучих средах, по моей терминологии. — Дж. У.) и логикой ассоциации и представления в отдельных обществах и культурах больше нет» [Castells, 1997, p. 11].

Вдобавок названные группы, как правило, используют машины и технологии глобализации для формирования и воспроизводства соответствующих потоков. Кастельс называет сапатистов «первыми информационными герильяса», поскольку они чрезвычайно активно задействуют компьютерные системы коммуникации и создают глобальные электронные сети групп единомышленников [Ibid., ch. 3]. Такое же широкое использование Интернета наблюдается в среде американских патриотов, убежденных в том, что федеральное правительство превращает США в часть глобальной экономики и разрушает американский суверенитет, а также местные обычаи и культуру.

Таким образом, потоки людей и объектов весьма разнообразны. Идентичности сопротивления, как мы убедились на примере Восточной Европы, часто опосредованы покупкой потребительских товаров. Бёрджес описывает новые формы глобальной культурной политики в регионе амазонской сельвы: «союз актеров, музыкантов, бразильских индейцев, промоутеров народной музыки, деятелей экологических организаций, медиаиндустрии и в первую очередь молодых потребителей, покупающих записи в поддержку кампании против уничтожения дождевых лесов Амазонии» [Burgess, 1990, p. 144], другим примером идентичности сопротивления, основанной на приобретении потребительского товара, может выступить песня Элтона Джона «Candle in the Wind»).

Потоки потребительских товаров на более общем уровне трансформируют само понимание «членства» в организациях зарождающейся глобальной эры. Обычно оно мыслилось в терминах присоединения к организациям, наделявшим участников различными правами и обязанностями. Организации представляли собой вертикальные социальные структуры, классической моделью которых выступали профессиональные союзы.

Однако сегодня мы являемся свидетелями возникновения «организаций» нового типа, в гораздо большей степени «медиированных» различными глобальными текучими средами. Люди могут воображать себя их членами (или сторонниками таких организаций), поскольку носят соответствующие футболки, слушают CD, посещают веб-страницу своей организации, приобретают видео с культовыми фигурами и т.д. Объекты могут дарить чувство заместительного или текучего «сетового членства», связанного с развитием того, что в другой своей работе я описывал как культуру анкетирования, в которой посредством опросов на значимые темы к людям обращаются как к потребителям-гражданам. При этом они не обязаны быть членами каких-то организаций, чтобы их оценки выступали объектами изучения, измерения, распространения в СМИ и потребления [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 3]. В самом деле каждый хоть иногда может ощутить себя членом организации, к которой он не присоединялся (мирового сообщества или «Друзей Земли»), лишь за счет идентификации с брендом как частью пересекающего национальные границы потока, примером чему может служить Greenpeace (см. [Szerszynski, 1997], а также гл. VII наст. изд.).

Итак, по-видимому, мы наблюдаем развитие различных текучих сред с нечеткими пунктами их отправления или назначения. Они могут быть частью движения сопротивления, противостоять государствам и корпорациям в их попытках управлять, организовывать и регулировать протест. Они производят нечто вроде космополитического гражданского общества, не порождающего новых подданных, не имеющего согласия по тому, какие вопросы обсуждать, и лишенного непременно прогрессивных утопических моделей будущего (о «транснациональном» понимании демократии см. [Held, 1995; Хелд, 2007]). Это космополитическое гражданское общество начинает освобождаться от доминирующих обществ современного мира. Оно является провозвестником появления чрезвычайно гетерогенного как

в материальном, так и в социальном отношении гражданского общества, которое, возможно, будет способно действовать на значительных расстояниях, формируя неожиданные и непредсказуемые глобальные каналы и потоки. Вместе с тем как бы ни были сильны глобальные текущие среды, члены организаций время от времени собираются вместе, чтобы *быть с другими* в момент наивысшего переживания товарищества. К таким моментам относятся фестивали, деловые конференции, праздники, лагеря, семинары и места протеста (о влечении к близости см. [Szerszynski, 1997; Boden, Molotch, 1994]).

Кастельс делает обобщающее заключение, заявляя, что «субъекты... больше не формируются на основе гражданских обществ, пребывающих в состоянии распада, но как следствие коммунального сопротивления», направленного в особенности на различные глобальные процессы [Castells, 1997, p. 11]. Однако до этого места я использовал термины «планета», «глобальный» или «глобализация», не подвергая их дополнительной рефлексии. «Глобальное» могло использоваться в качестве простого прилагательного, как правило, наряду с «регионом», «сетью» или «потоком». То есть пока я не задавался вопросом, какая именно метафора лежит в основании существительного, от которого происходят термины «глобальное» и «глобализация», т.е. в основании термина «globe» (планета, глобус, земной шар) как такового.

ШАРЫ И СФЕРЫ

Теперь я перейду к обсуждению «глобусов» и «сфер», принятому Ингольдом в контексте сегодняшних экологических движений [Ingold, 1993a]. Ингольд отмечает, что есть нечто парадоксальное в формулировке, которая пользуется огромной популярностью в научных, политических и правительственных дискуссиях, а именно в «глобальных изменениях окружающей среды». Экологическая среда обычно означает нечто, что окружает, и всегда подразумевает взаимоотношение с тем, что окружено. Одно не существует без другого. Однако когда мы говорим о всем земном шаре, неясно, что может означать «среда». Конечно, есть биосфера, которая окружает земной шар и отчасти является главным объектом защиты современных экологических движений подобно гипотезе Геи, предложенной Джейм-

сом Лавлоком [Lovelock, 1988]. Однако, как замечает Ингольд, понятие глобального изменения окружающей среды содержит представление о всем земном шаре, которому угрожает экологическая опасность. Но тогда каким образом и в каком смысле люди могут быть окружены земным шаром? Ведь последний не окружает нас. В действительности представление о Земле как о глобальной среде является апофеозом отчуждения людей от населяемой ими планеты [Ingold, 1993a, p. 31].

Ингольд переходит к обсуждению различия между шарами и сферами, анализируя различные метафоры Земли и соответственно тех процессов, которые все больше выходят за пределы отдельных местностей и обществ. Он указывает, что образ земного шара знаком нам по моделям, фотографиям с космических аппаратов и спутников, по движущимся картинкам, используемым на телевидении, в кино и т.д. Однако поскольку почти никто не видел земной шар на самом деле, не говоря уже о том, чтобы его потрогать, послушать или понюхать, эти образы явно не основаны на непосредственном человеческом восприятии «шара». Жизнь проживается в пределах весьма ограниченного участка поверхности земного шара, а значит, опыта, или переживания глобального, к которому можно было бы апеллировать, не существует. Ингольд подводит итог: «мир, представленный в качестве земного шара, недоступный нам непосредственно в ходе самой жизни, воплощает собой сущность, дарованную или противопоставленную жизни. Глобальная окружающая среда — это не жизненный мир, а мир, отделенный от жизни» [Ibid., p. 32].

Косгроув продемонстрировал, как на современное восприятие планеты повлияли сделанные в 1972 г. с «Аполлона-17» снимки, запечатлевшие «Землю целиком» [Cosgrove, 1994]. Он исследует превращение Земли в колоссальной силы идеологический и маркетинговый символ. *Inter alia* он использовался компьютерными и авиакомпаниями, стремившимися подчеркнуть глобальный характер своей деятельности; защитниками природы, указывавшими на неповторимость и хрупкость Земли на фоне черноты космоса и связанную с этим необходимость планетарного надзора; американским правительством, видевшим в миссии «Аполлона» кульминацию всех достижений человечества (*sic*). Фотография земного шара демонстрирует невероятную силу визуальных представлений, которые воспро-

изводятся и циркулируют в огромных масштабах, встраиваясь в самые разные, подчас прямо конкурирующие друг с другом дискурсы (см. гл. VII наст. изд.).

Представление о мире как о цельном непрозрачном шаре, который можно в лучшем случае лишь увидеть, сравнимо с идеей мира как последовательности концентрических сфер. Сфера пуста и прозрачна, поэтому ее можно воспринимать изнутри. Образ сферы замкнут, центробежен и воспринимается, скорее, на слух, нежели зрительно. В Средневековье так же, как и в различных племенных обществах, мир воспринимался в качестве последовательности вложенных друг в друга сфер. Ингольд предполагает, что движение от сферических к глобальным метафорам — это движение, в результате которого мир все больше отдаляется от матрицы жизненного опыта, основанного на многообразии чувств (см. [Ingold, 1993a], а также гл. IV наст. изд.). Убедительная сила глобальной метафоры уходит корнями в господство визуальной культуры. Она произвела и воспроизвела сомнительную дихотомию глобального и локального. Предполагаемая сила и значение первого возникает из того, как визуальные образы подавляют другие виды сенсорного опосредования.

Так, экологическая среда стала восприниматься в качестве глобальной и потому начала противопоставляться локальному ее пониманию. Ингольд утверждает, что различие между глобальным и локальным — это не различие в степени или масштабе, но видовое различие. Локальное не просто более ограничено или тоньше сфокусировано, нежели глобальное. Скорее, оно покоится на иных формах восприятия: «оно основано на активном перцептивном взаимодействии с компонентами обитаемого мира, на вовлеченности в практическое течение жизни, а не на отвлеченном, незаинтересованном взгляде на мир со стороны» [Ibid., p. 40]. Воспринимать экологическую среду как нечто глобальное значит поддерживать привилегированный статус глобальной онтологии отчуждения по отношению к локальной онтологии вовлечения, т.е. прославлять технологию, вмешательство, экспертное управление и относительное бесправие местного населения.

Удачным примером ограниченности глобального мышления служит анализ «местных знаний и практик», которые могут поставить под вопрос объяснительную силу носящих глобальный характер технических и естественных наук. Последние часто

вызывают в обществе убеждение, что подтвержденные лабораторно теоретические предсказания не работают в тех или иных обстоятельствах «реального мира». Сама по себе лаборатория является весьма специфической социальной и природной средой, а обычные, не причастные к науке люди нередко бывают лучше информированы о тех или иных научных представлениях, которые могут быть применены к их рабочим местам или домам. В этом смысле они могут быть в большей степени «учеными», чем эксперты. Применительно к воздействию негативных последствий чернобыльской катастрофы на разведение овец в английском Озерном крае, Винн приходит к выводу:

Хотя фермеры согласились с необходимостью ограничений, они не могли принять явного непонимания экспертами их обычного подхода к неформальной гибкой системе фермерства в холмистой местности. Эксперты предполагали, что научные знания следует применять к этим фермам, не делая скидку на местные условия... Эксперты ничего не знали о реальном фермерстве и пренебрегали местными знаниями [Wynne, 1991, p. 45].

Все это доказывает важность установления и анализа местных социальных практик, как правило, основанных на определенных местных знаниях, которые опосредуют различные формы глобального научного знания. Западная модель науки несет в себе скрытый принцип глобальной стандартизации, часто предполагающий игнорирование учеными локальных условий и форм местных знаний, учет которых необходим для успешной оценки риска.

В заключение укажу на два иных момента в дополнение к представленному анализу преимуществ и недостатков метафоры земного шара. Во-первых, развитие глобального мышления как таковое предполагает процесс культурной интерпретации, связанный с невозможностью, как мы убедились, непосредственного восприятия земного шара каким-либо из наших органов чувств. Этот процесс конструирования можно рассмотреть на примере *глобального* изменения окружающей среды. Как было показано, заранее сформированной и порождающей мощное каузальное воздействие экологической среды, которая могла бы влиять на изменения в глобальном масштабе, не существует [Macnaghten, Urry, 1998]. Развитие глобального экологического кризиса не является простым следствием глобализации рисков.

Расхожим стало представление о том, что на глобальном уровне существует ряд разнообразных экологических «бед». Такое убеждение стало возможным, когда множество живущих в разных обществах людей вообразили, будто населяют одну Землю и подвержены рискам, общим для всех (отчасти под влиянием фотографии с «Аполлона»). Это глобальное воображаемое сообщество возникает вследствие ряда экономических и культурных процессов [Wynne, 1994]. К 1970-м годам в США и некоторых странах Европы стали обращать внимание на гораздо более широкий спектр проблем, предположительно угрожающих экологической среде, в том числе на радиацию, использование пестицидов, выхлопные газы и другие систематические формы загрязнения воздуха и воды. Следствием этого стало чувство более общего экологического кризиса, обусловленного трансграничным характером бед и потенциальной возможностью поражения тела каждого человека, в отличие от более спорадических и географически изолированных угроз. Различные организации и правительства стали говорить о глобальном характере этих рисков, настаивая на том, что они представляют опасность для «космического объекта Земля» в целом, который к тому времени уже можно было визуально представить [Cosgrove, 1994]. Утверждалось, что подобные риски являются взаимосвязанными элементами общего глобального кризиса, а не явлениями, имеющими независимые причины и специфические для каждого географического региона последствия.

Во-вторых, в своем исследовании глобального и локального Ингольд, по всей видимости, исходит из того, что в понятии локального есть нечто неметафорическое. Он считает, что локальное действительно существует и характеризуется географическим соседством, набором перекрывающихся трудовых и жилищных паттернов, ясными границами, обозначающими каждую локальную территорию, а также глубоким чувством принадлежности к данной местности [Ingold, 1993a]. Но тем самым Ингольд лишь предлагает новую трактовку *Gemeinschaft*, т.е. сообщества, на этот раз противопоставленного глобальному *Gesellschaft*. Содержание термина «локальное» в какой-то мере оказывается метафорическим, отсылающим к представлению о четко ограниченных сообществах, внутри которых интенсивные социальные отношения характеризуются чувством причастности и взаимной теплоты. Ингольд считает, что подобные

локальные отношения встроены и задействуют все чувства, в отличие от визуально ориентированной концепции отдельного «земного шара». Предполагается, что этот «шар» ждет, пока мы окажем на него воздействие, и, как замечает Косгроув по поводу фотографии с «Аполлона», глядя на него, «трудно сохранить веру в локальное, поскольку фотография стирает все признаки присутствия человека» [Cosgrove, 1994, p. 290; Ingold, 1993a, p. 41].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, я попытался показать, насколько распространено метафорическое мышление в социальных науках. В других главах этой книги будут встречаться такие метафоры, как глобальная деревня, ледниковое время, приводные ремни власти, диаспоры, чужаки, картографирование, изучение, садовничество, лесничество и т.д. Ключевым моментом многих социологических метафор является их пространственный характер. Посредством аналогии или метонимии они придают социальным явлениям характеристики различных пространственных образований (например, шара) или мобильностей (о последствиях недавней популярности пространственных метафор для географии см. [Gibson-Graham, 1997]).

Я подробно остановился на метафорах движения, предположив, что понятия сети и текучей среды могут высветить сущность «глобального». Дополнительный вопрос связан с тем, что можно назвать природой социальных границ. Он заключается в том, как мыслить происходящее в момент столкновения или пересечения их друг с другом. Если продолжить использовать термин «общество», раскритикованный в предыдущей главе, как посредством метафоры концептуализировать то место, где некое общество заканчивается и сам факт его окончания, что находится по ту сторону границы, какова природа не-общества и что собой представляет «другое» по отношению к обществу?

В следующей главе я рассмотрю различные типы путешествий, упомянутых в этой главе, физических перемещений, мобильности объектов, виртуальные и воображаемые путешествия, мобильности, пересекающие границы общества и через, и в «другое».

III. Передвижения

[Поезд] — нечто, вдоль чего ты идешь, и в то же время средство перемещения из одного пункта в другой, и наконец, он то — что мчится мимо.

Мишель Фуко [Foucault, 1986, p. 24]

ВВЕДЕНИЕ

Я уже отмечал, что различные виды мобильности, понимаемой и как метафора, и как процесс, составляют ядро социальной жизни и потому должны находиться в центре социологического анализа. В этой главе я рассмотрю некоторые социально-пространственные практики, связанные с мобильностью, а также проанализирую их более общие последствия для социальной жизни. Я намереваюсь продемонстрировать, насколько значимы эти мобильности тогда, когда люди, объекты, образы и информации перемещаются и тем самым производят и воспроизводят социальную жизнь и культурные формы. Сами по себе культуры мобильны вследствие мобильностей, которые поддерживают различные паттерны социальности.

В следующем параграфе я рассмотрю некоторые из наиболее важных социально-пространственных практик, связанных с физическим перемещением, а затем перейду к движению объектов и образов, а также к виртуальным перемещениям. Я попытаюсь обнаружить некоторые точки пересечения различных форм мобильностей, вместо того чтобы рассматривать каждую из них в отдельности. В целом названные перемещения я считаю конститутивными для социальной жизни. Именно в них социальная жизнь и культурная идентичность взаимно формируют и преобразуют друг друга. Я уже обращал внимание на то, что социологи мыслят метафорами. Во второй главе я кратко затронул многие из метафор движения, включая номада и бродягу, отель и мотель, паломника и туриста, чужака и авантюриста. К некоторым из них я снова возвращаюсь в этой главе в качестве подспорья при разработке социологии личной мобильности. Лучшей метафорой для этой главы могло бы стать предложенное Полем дю Геем с коллегами описание плеера фирмы Sony Walkman:

...это практически продолжение кожи. Он подогнан, влит в само тело, как множество других объектов современной потребительской культуры... Он предназначен для движения — для мобильности, для людей, которые всегда на улице и на ходу, для путешествия налегке. Это обязательный атрибут экипировки современного номада... это свидетельство той высочайшей ценности, которую культура позднего Модерна приписывает мобильности [du Gay et al., 1997, p. 23–24].

Я не собираюсь разрабатывать здесь полномасштабную социологию путешествий и туризма и только слегка коснусь различных обездвиживающих процессов, которые ограничивают или сдерживают мобильность многих людей. Кроме того, я не буду специально анализировать различные типы вынужденной миграции, которые привели к тому, что в мире в настоящее время насчитывается по меньшей мере 140 млн мигрантов и беженцев.

ТЕЛЕСНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Начнем с введения к работе Карен Каплан «Вопросы путешествия» [Kaplan, 1996]. Из-за разбросанности членов обширной «семьи» Каплан по разным континентам и штатам США для Карен путешествия всегда были «неизбежным, само собой разумеющимся, чем-то необходимым для семьи, любви, дружбы, а также работы» [Ibid., p. ix]. Она «родилась в культуре, принимавшей национальные преимущества путешествия за данность», в культуре, в которой предполагалось, что «американские граждане [могут] путешествовать где им вздумается» [Ibid.]. Прато и Триверо описывают превращение «транспорта» в основной вид жизненной активности; из метафоры прогресса он стал одной из характеристик общей организации домохозяйств [Prato, Trivero, 1985; Morris, 1988, p. 43]. Последние, находясь в постоянном движении, стирают организационное и идеологическое значение различия между пребыванием дома и вдали от него, в то время как сам дом теряет возможность ограничивать труд женщин своими пределами. В седьмой главе я разовью мысль о праве человека на путешествия и их смещении в область важнейших элементов существования. Также я обращусь к вопросу о том, действительно ли современные граждане (не только американцы) обладают правом выбора и перехода из одних мест и

культур в другие и наделены ли они по отношению к этим местам и культурам соответствующими обязательствами.

Пока же я остановлюсь на некоторых социально-пространственных практиках, связанных с перемещением. В особенности меня интересует вопрос попадания мобильности в разряд «неизменных атрибутов» семейной жизни, досуга, дружбы, а также занятости и безопасности. Масштаб перемещений поистине огромен. В год насчитывается более 600 млн международных пассажирских перелетов (в сравнении с 25 млн в 1950 г.); в каждый момент времени над территорией США совершают полет 300 тыс. пассажиров; каждый год в мире строится полмиллиона новых гостиничных номеров; на каждые 8,6 человека в мире приходится по одному автомобилю [Kaplan, 1996, p. 101; Makimoto, Manners, 1997, ch. 1]. Доля международных путешествий сегодня составляет одну двенадцатую всей мировой торговли. Это, несомненно, наиболее масштабное перемещение людей через границы государств за всю историю человечества. Международный и внутренний туризм вместе составляют 10% глобальной занятости и мирового ВВП. Последствия затрагивают всех; Всемирная туристическая организация публикует статистику по 200 странам. Практически любое государство сегодня является как отправителем туристов, так и принимающей стороной для множества зарубежных гостей. Однако эти потоки неравномерны. Большинство перемещений осуществляются между развитыми промышленными обществами, особенно в пределах Западной и Южной Европы, а также внутри Северной Америки. На долю этих потоков все еще приходится 80% международных путешествий; 25 лет назад они составляли 90% (см. [WTO, 1997]).

Далее я сосредоточусь на конкретных социально-пространственных практиках, связанных с передвижением, таких как ходьба, путешествие поездом, вождение и авиаперелеты (более раннюю версию этой дискуссии см. [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 6]). Начнем со скромных пеших практик.

До конца XVIII в. тех, кто ходил пешком, в Европе считали опасными «другими». Хьюсон отмечает, что «когда король Лир у Шекспира оставляет свой двор, чтобы скитаться по миру, он не встречает туристов в шапках с помпонами и легких ботинках, наслаждающихся освежающей прогулкой по лугам и полям. Он оказывается среди нагих, умирающих с голоду, безумных людей, отвергнутых обществом и выброшенных во враждеб-

ную стихию» [Hewison, 1993]. Пеших неизменно считали либо бедняками, либо умалишенными, либо преступниками (отсюда термин «footpad», «разбойник» [Jarvis, 1997, p. 22–24]. Однако в течение XIX столетия по всей Европе отношение к ходьбе стало гораздо более положительным.

Поскольку обычные люди все меньше ходили пешком благодаря доступности новых форм транспорта, на фланеров перестали смотреть как на непременно бедных и недостойных [Wallace, 1993; Bunce, 1994, ch. 4; Tester, 1995; Jarvis, 1997]. Происходившие с конца XVIII в. транспортные изменения, особенно появление магистралей и железных дорог, все больше стирали связь пешего передвижения с нуждой, бедностью и бродяжничеством. Действительно, железные дороги сыграли особую роль в развитии «фланерства» и ставших популярными выездов на природу. Разнообразие видов транспорта давало людям все больше возможностей сравнивать и сопоставлять различные формы мобильности, равно как и оценивать преимущества более медленных способов преодоления «трения расстояния». Джарвис подчеркивает значение «свободы» дорог и развития досужных прогулок как признаков мягкой формы сопротивления социальной иерархии (о «радикальной ходьбе» см. [Jarvis, 1997, ch. 1, 2]. Сельскохозяйственные перемены угрожали существовавшим правам на передвижение по дорогам, открытый доступ к которым предпочитавшие пешие маршруты жители стремились поддерживать посредством постоянного использования, а позднее — коллективной агитации. Возник новый, «перипатетический» дискурс, в котором экскурсионные прогулки представляли в качестве культивируемого опыта, благотворного как для индивидов, так и для общества.

Уоллес утверждает, что практика ходьбы «предохраняет определенную часть локальной топографии от широко распространенных, национализирующих физических изменений и соответственно отчасти сохраняет места, в которых, предположительно, процветали идеальные ценности сельской Англии» [Wallace, 1993, p. 12]. Представляется очевидным, что эстетический выбор — одна из причин, по которой люди стали добровольно ходить пешком. Получили распространение экскурсионные прогулки, дисциплинированные и организованные [Ibid., ch. 3].

Вордсворт называет описанные изменения пешим поворотом. Пешеход не слоняется бесцельно, а движется по социально раз-

меченной траектории. Гуляющий возвращается путем, которым до него уже ходили. Это обеспечивает связь и стабильность, подкрепляемую ясным намерением вернуться и не бродить бесцельно. Наглядный пример, поданный Вордсвортом и Кольриджем в Озерном крае, стимулировал пешую активность современников, а затем и других относительно состоятельных людей. К середине XIX в. «в высших эшелонах английского общества пешие прогулки считались ценным в плане воспитания опытом», была разработана «перипатетическая теория», основанная на представлении о том, как прогуливающиеся, преимущественно мужчины, преображаются природой [Wallace, 1993, p. 168].

В XX в. неспешные пешие прогулки обросли разнообразной атрибутикой, включая обувь, карты, носки, ветровки, шорты, шапки и т.д. Все вместе они служили формированию некоего собирательного образа, «[свободного] пешего туриста». Самуэль описывает, как в Британии 1930–1940-е годы пешие путешествия «требовали выносливости и силы, “практичной” одежды и “легкой” обуви» [Ibid., p. 133]. Такая униформа стирала многие гендерные различия. Мужчины и женщины становились пешими туристами, конституируемыми унифицирующими атрибутами. По Самуэлю, пешие путешествия «склоняли женщин одеваться как мужчины, выглядеть как мужчины и действовать как мужчины», когда они сталкивались с необходимостью мириться с лишениями при любой погоде [Samuel, 1998, p. 133]. Дело в том, что для его матери ходьба стала разновидностью религии, в которой «“свежий воздух”, “упражнения” и “открытые пространства” заняли место Святой Троицы» [Ibid., p. 139].

Массовый энтузиазм по поводу пешего туризма в период между двумя мировыми войнами был связан со свежим воздухом, который, как считалось, делает людей, видящих перед собой открытые, панорамные, бескрайние просторы, лучше. Пешие путешествия во время отпуска были не столько формой отдыха, сколько способом укрепить тело и душу, даже (или, может, в первую очередь) тогда, когда погода противилась этому. Поэтому для матери Самуэля значение прогулки определялось степенью ее сложности и требуемыми жертвами. Она предпочитала суровую холмистую местность кельтских окраин мягким изгибам английских равнин [Urry, 1995, ch. 13].

В целом молодым путешественникам севера «сельская местность представлялась источником энергии: их целью было не

столько насладиться видом пейзажа, сколько испытать его физически, пройти его, взобраться или преодолеть на велосипеде», чтобы ощутить его всеми органами чувств (см. [Samuel, 1998, p. 146], а также гл. IV наст. изд.). Эти новые, всесторонне воздействующие пространственные практики не принимали в расчет крестьянские хозяйства, расположенные в сельской местности. Вместо того чтобы рассматриваться как визуально привлекательные, деревни межвоенного периода виделись «сельскими трущобами с повышенной влажностью, прохуdivшимися крышами, крошечными окошками и убогим внутренним убранством» [Ibid.]. Пространственные практики пеших переходов (а также альпинизма, велосипедных поездок, кемпинга и т.д.) обычно игнорировали образ жизни и жилища тех, кто обитал в сельской местности.

Чапмен сходным образом описывает, как собирательный «пеший путешественник» приспособлялся к отдельным ландшафтам и некоторым местам проживания, таким как английский Озерный край [Chapman, 1993]. Вместе с тем всего в нескольких милях «за пределами» этой области находились бывшие промышленные города, где неспешная «прогулка» являлась неуместной пространственной практикой. Чапмен описывает, как он зашел в один из этих городов, Клифор Мур, в одежде, которая подходила для пеших прогулок в Озерном крае, то есть в бриджах, ботинках, ярких носках, оранжевом плаще и с рюкзаком. Вместо бесстрашия, приличествующего покорению небольшой горы Лейкленд в Эмблсайде или Кесвике, близлежащих городках Озерного края, он чувствовал свою абсолютную неуместность. Его костюм выглядел здесь маскарадным. Он в прямом смысле слова «вышел» из Озерного края с характерными для того пространственными практиками неспешной прогулки и образом «пешего путешественника». Следует также заметить, что другие технологии и объекты, такие как плеер фирмы *Sony Walkman*, породили новый тип одинокого «модного фланера», в первую очередь настроенного на звуковой фон городской жизни [Gay et al., p. 33–35].

Де Серто рассматривает прогулку в качестве конститутивного городского элемента в том смысле, в каком речевые акты конститутивны по отношению к языку [de Certeau, 1984]. Он сопоставляет стратегии ходьбы и ее тактики. Первые предполагают победу пространства над временем. Они подразумевают

дисциплину и регламентацию, основанные на представлениях о том, какие действия и виды пешего движения уместны в тех или иных пространствах. Напротив, тактики состоят в оценке возможностей, которые возникают внутри города в разные моменты времени. Они формируют жизненное пространство города, оставаясь непредсказуемыми и спонтанными. На примере турецких иммигрантов, проживающих в датском Орхусе, Дайкен показывает, как «они подрывают или пронзают существующие городские планы»; «разрабатывают свои собственные “тактические” способы пешего перемещения, взаимодействия с этими планами и создание собственных траекторий за счет, так сказать, искажения плана» [Diken, 1998, p. 83]. Ходьба поддерживается и стимулируется множеством желаний и целей, возникающих из взаимосвязи между телесным движением, фантазией, памятью и текстурой городской жизни.

Фланеры и фланерство влияют на формы обитания и использования городских мест. Как замечает де Серто, хотя такое место, как улица, является упорядоченным и устойчивым, пространства существуют лишь благодаря движению, быстротечности. Они активизируются совокупностью движений, происходящих в их пределах. Пространство, таким образом, — это исполняемое место [Morris, 1988, p. 36–37; Edensor, 1999]. Его исполнение обычно предполагает конфликтующие друг с другом тактики и формы использования различными социальными группами (о ежедневных битвах за физическое присвоение британских улиц см. [Massey, 1994]).

Некоторые места особенно располагают к прогулкам и овладению ими. Люди чувствуют, как их тянет в некоторые закоулки и местечки, а объемные панорамы приковывают взгляд. Места предлагают разные возможности. Париж XIX в. стал первым современным городом, создавшим удивительные возможности для прогуливающих гостей. Его заполнила публика, способная потреблять во время прогулок по бульварам, проходя мимо и периодически заглядывая в ярко освещенные магазины и кафе в столь «переменчивом, ошеломляющем, затягивающем калейдоскопе» (согласно одному из комментариев современников, цит. по [Green, 1990, p. 75]). Как едко заметил Бодлер, фланеры способны экстатически растворяться в толпе. Сами по себе прогулки в некоторых местах «в неуточное время» носят почти подрывной характер. Фланер ищет сущность места, одно-

временно потребляя его — в этом одновременно присутствует и потребление, и подрыв [Game, 1991, p. 150]. Такой стиль передвижения, как будто в твоём распоряжении «все время мира», «противопоставляется подсчету времени, тейлоризму, процессу производства... скрупулезная разыскная работа и мечтательство отделили фланера от лихорадочно спешащей толпы» [Ibid.]. Помимо прочего движение в толпе могло быть и источником тактильных удовольствий, обусловленных телесной причастностью, требующей координации тела с движущейся массой других тел [Shields, 1997a, p. 25].

Но, конечно, ходьба представителей разных социальных групп сильно различается. Для женщин из рабочего класса городские толпы Парижа конца XIX в. представляли большую опасность. Эти женщины почти буквально обитали на улице, и обычно предполагалась их сексуальная открытость и доступность в качестве проституток. Своими размерами и грандиозностью Париж подавлял тех, кто мог перемещаться лишь пешком (см. [Edholm, 1993]; о женщинах и городе см. также [Massey, 1994]). В целом движение по городу опосредуется властными отношениями, которые предписывают, куда, когда и какие именно социальные группы могут ходить пешком.

Изучение Тадж-Махала позволило установить, что в пределах одного и того же «места» могут соседствовать совершенно разные практики пешего движения [Edensor, 1998]. В «туристических анклавах» вокруг Тадж-Махала передвижение пешком носит сравнительно беспрепятственный и упорядоченный характер. Стремительность движений соседствует здесь со строгой функциональностью отдельных зон, что исключает путаницу. Разный персонал отвечает за регулирование пеших практик посетителей, которые обычно успевают запомнить, как правильно передвигаться в той или иной зоне. Пространство господствует над временем, и, *вопреки* точке зрения де Серто, здесь мало возможностей для того, чтобы фантазии, память и желание произвели тактический переворот (о похожем упорядоченном пешем передвижении в английской сельской местности см. [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 6]). Замечательная хореография вымуштрованных пеших тел нередко демонстрирует особое изящество движений [Edensor, 1998].

В «неорганизованных» туристических пространствах, напротив, передвижение человека с рюкзаком запрограммиро-

вано гораздо меньше. Оно может оказаться более импровизированным, сопряженным с разного рода непосредственными дезорганизирующими элементами. Местные жители часто стремятся пресечь передвижение в определенных местах, и потому избежать соприкосновения с «другим» часто бывает непросто. Также неизбежен контакт с транспортными средствами и животными. Траектории путников сосуществуют с местными маршрутами и пересекаются с ними. Как утверждает Иденсор, в результате сформировались более гибкие телесные позы, более беспорядочный характер перемещений и прогулок и даже намеренный поиск опасных мест, увеличивающих вероятность заблудиться.

Посещающие Тадж-Махал мусульмане проводят там больше времени, чем местные индусы. Они подолгу задерживаются, читая коранические надписи на здании. Медленно шествуя вокруг мавзолея или сидя на мраморной террасе в молчаливом созерцании, они дают пример того, что можно назвать «взглядом почитания». Передвижение посетителей-мусульман следует целенаправленному и предсказуемому пространственному паттерну, отличному, однако, от упорядоченных маршрутов западных туристических групп или шатаний туристов-одиночек.

Многие полагают, что пространственная практика ходьбы (а также альпинизма, езды на велосипеде и т.д.) сопряжена с некоторым преодолением. Считается, что определенный природный объект достоин внимания лишь в том случае, если требуется реальное усилие, чтобы добраться до него или взойти (слово «travel» — путешествовать происходит от «travail» — работать [Buzard, 1993]). Этот упор на преодолении проанализирован Бартом на примере популярной серии туристических «Синих путеводителей», соединяющих в себе три характеристики: культ природы, пуританизм и индивидуалистическую идеологию [Barthes, 1972; Барт, 2004]. Мораль связывается с уединением и превозмоганием. Некоторые социальные практики, предполагающие преимущественно индивидуальные достижения, признаются допустимыми только на природе или в целях познания природы. Речь, в частности, о преодолении пересеченной местности, гор, ущелий, бурных потоков и т.д. Барт обращает внимание на акцент, который в «Путеводителях» сделан на том, как «на свежем воздухе возрождается тело, при виде гор нас посещают

высоконравственные мысли, восхождение на вершину рассматривается как доблесть, и т.д.» (Barthes, 1972, p. 74; Барт, 2004, с. 163). Поэтому трение расстояния в таких практиках не может преодолеваться без усилий. Индивид должен путешествовать, чтобы проникнуться уважением к природе, что предполагает дальние и часто очень медленные перемещения (см., например, культурологический анализ экспедиции Скотта в Антарктику [Spufford, 1996]). Неспешность может высоко цениться при передвижении в определенной среде, вызывающей минимальное трение. Это представление часто обнаруживается в разговорах и описаниях приключений альпинистов [Lewis, 2000].

Сказанное выше контрастирует со скоростью и суетой современной жизни, где слоняющийся фланер XIX в. уступил место множеству преходящих, мимолетных форм XX в. [Tester, 1995]. По мнению Сьюзен Бак-Морс, последние обнаруживают себя в универмагах и потребительских практиках в целом; в журналах с фотографиями, предлагающими «смотреть, но не прикасаться»; в радио, которое Адорно характеризовал как «акустическое фланерство»; в оптическом фланерстве телевидения; в «международном туризме, благодаря которому массовая индустрия отдыха сегодня торгует фланерством, упакованным в двух- и четырехнедельные туры» [Buck-Morss, 1989, p. 366]. Зонтаг видит подходящую для XX в. версию одинокого путника в городском фотографе [Sontag, 1979, p. 79]. Разумеется, центральными для всех этих форм являются модусы передвижения, которые никак не назовешь неспешными. Дилижанс, железная дорога, велосипед, автобус, мотоцикл, самолет и особенно автомобиль породили новые скоростные виды мобильности, почти полностью вытеснившие представления об удовольствии и пользе пеших путешествий и странствования.

Для начала дадим краткую характеристику железной дороге, сыгравшей исключительно важную роль в формировании современной мобильности [Schivelbusch, 1986; Thrift, 1996]. Ее возникновение выдвинуло на передний план обыденного опыта людей за пределами рабочего места технику. Невероятно мощный движущийся механический аппарат стал сравнительно привычной частью повседневной жизни. Эпоха поезда породила важнейшие черты современного мира, видоизменив существовавшие отношения между природой, временем и пространством. Само строительство железных дорог упорядочило и подчинило сель-

скую местность. Поезд был снарядом, нарезающим ландшафт на одинаковые, прямые участки железнодорожного полотна с бесчисленными мостами, перемычками, насыпями и туннелями. Ландшафт стал рассматриваться посредством «панорамного восприятия» как быстро мелькающая серия обрамленных панорам, а не то, на чем стоило бы задержаться, изобразить в качестве наброска или рисунка [Kern, 1983; Schivelbusch, 1986]. Ницше так характеризует конец XIX в.: «...каждый похож на туриста, который знакомится с местностью и ее народом, не покидая железнодорожного вагона» (цит. по [Thrift, 1996, p. 286]).

Железные дороги демократизировали далекие путешествия. Пассажиры оказывались в закрытом пространстве вместе с довольно большим числом незнакомых людей. Вскоре выработались новые способы поддержания социальной дистанции. Реймонд Уильямс описывает, как на одной станционной платформе наблюдалось «это отстранение [от других пассажиров], более не свойственное лишь ему одному, поскольку стало привычкой самого общества толпы» [Williams, 1988, p. 315].

Как это будет обсуждено в пятой главе, возросшая скорость железнодорожного движения привела к необходимости заменить существовавшую неразбериху местного времени стандартизированным отсчетом, основанным на среднем гринвичском времени. Казалось, что исключительная механическая сила железной дороги создает свое собственное пространство, связующее множество различных мест в чрезвычайно сложные, разветвленные системы ускоренной циркуляции. Благодаря этому железнодорожные путешествия приобрели «самостоятельное значение, связанное с ростом скоростей, особой областью со своими отличительными практиками и культурой» [Thrift, 1996, p. 267]. Некоторые географические пункты приобрели известность лишь по той причине, что находились на пути в или по пути из куда-то еще. Таким образом, «локальности уже не были пространственно индивидуальными или автономными: они стали точками в циркуляции транспортных потоков, которые и сделали их доступными» [Schivelbusch, 1986, p. 197].

Более того, субъективности людей стали формироваться через их связи с теми или иными местами. Шум железной дороги не смущал даже Генри Торо, решившего вернуться к «природе» на берегу озера Уолден в середине XIX столетия. Он чувствовал себя, скорее, обновленным:

Когда мимо меня грохочет товарный поезд, на меня веет свежестью и простором; я ощущаю запахи всех товаров, которые он развозит на своем пути от Лонг-Уорфа до озера Шамплейн, и они напоминают мне о дальних краях... о том, как велика наша земля. Я чувствую себя, скорее, гражданином мира ([Thoreau, 1927, p. 103; Торо, 1962, с. 130]; о диалектике пребывания и путешествия см. в романах Реймонда Уильямса, а также гл. VI наст. изд.).

В этом есть нечто от веры Томаса Кука в железную дорогу как прогрессивную демократическую силу. Он утверждал, что «путешествия по железной дороге — это путешествия для миллионов; они по карману и бедняку, и богачу... Путешествовать поездом — значит пользоваться республиканской свободой и монархической безопасностью» (цит. по [Brendon, 1991, p. 16]). Сначала, однако, железнодорожные компании не понимали экономического потенциала массового рынка пассажиров с низким достатком. Здесь требовался специалист по *социальной* организации железнодорожных путешествий. Кук упростил, популяризовал и удешевил поездки, превратив технологическую инновацию в социальную. Он ввел предварительную продажу билетов для разных направлений, групповое резервирование, позволяющее предлагать выгодные тарифы, внедрил железнодорожные купоны, заблаговременную отправку багажа, гостиничные чеки и циркуляры [Lash, Urry, 1994, p. 263–264]. Кук, этот «император туристов», считал, что путешествие «дает пищу для ума; ...развивает чувство всеобщего братства» (цит. по [Brendon, 1991, p. 31–32]). «Оставаться неподвижным во времена, когда весь мир пришел в движение, — значит совершать преступление. Да здравствует Поездка — дешевая, дешевая Поездка!» [Ibid., p. 65].

Железнодорожное сообщение повлияло и на пассажиров, которые стали перемещаться в пространстве так, словно были простыми посылками. Подобно анонимной частице плоти, тело перевозилось из одного пункта в другой, как и все остальные товары [Thrift, 1996, p. 266]. Настолько мощная технология, как железная дорога, неподвластна человеку. Вся эта машинерия, как утверждал Хайдеггер, «учреждает особую форму господства... особый тип дисциплины и уникальный тип сознания покорения» других людей (цит. по [Zimmerman, 1990, p. 214]).

Наиболее радикально эти технологические дисциплина и господство проявились в XX в. в системе производства, потре-

бления, оборота, локализации и социальности, порожденных «легковым автомобилем». Сегодня в мире около 500 млн автомобилей, а к 2015 г. их, вероятно, станет в 2 раза больше [Shove, 1998]. Гибридную социальную и техническую систему, которую представляет собой автомобиль, следует рассматривать под несколькими взаимосвязанными углами зрения:

○ как самый главный *промышленный объект*, продукт ведущих секторов производства и культовых компаний капитализма XX в. (Ford, General Motors, Rolls-Royce, Mercedes, Toyota, Volkswagen и т.д.);

○ как индустрию, породившую ключевые *понятия* — фордизм и постфордизм, применяемые для осмысления направления и смены траектории развития современного капитализма;

○ как важнейший предмет *индивидуального потребления*, наделяющий владельца/пользователя определенным статусом посредством символических ценностей, с ним ассоциируемых (скорость, дом, безопасность, сексуальное желание, карьерный успех, свобода, семья, мужественность), и служащий его антропоморфизации (посредством присвоения имени, обнаружения неких признаков непокорности, внушения представления о старении и т.д.);

○ как *машинный комплекс*, основанный на установлении технических и социальных взаимосвязей автомобиля со смежными производственными секторами, включая производство деталей и аксессуаров; нефтепереработку и распространение топлива; строительство и обслуживание дорог; гостиницы, придорожный сервис и мотели; салоны продажи автомобилей и автомастерские; возведение домов в пригородах; новые торговоразвлекательные комплексы; рекламу, маркетинг и т.д.;

○ как чрезвычайно важную комплексную *экологическую* проблему, связанную с исключительным масштабом и объемом ресурсов, потребляемых при производстве автомобилей, дорог, в инфраструктуре обслуживания, и при преодолении материальных, связанных с качеством воздуха, медицинских, социальных, озоновых, визуальных, шумовых и иных последствий автомобилизации;

○ как господствующую форму «квазиприватной» *мобильности*, подчиняющей иные, «публичные» мобильности пешего передвижения, езды на велосипеде, путешествия поездом и т.д., и видоизменяющей реакции людей на возможности и ограничения в труде, семейной жизни, в досуге и развлечениях;

○ как господствующую культуру, формирующую и легитимирующую формы социального взаимодействия между гендерами, классами, возрастами и т.д. Она поддерживает основные дискурсы, определяющие критерии достойной жизни, и производит сильные литературные и художественные образы и символы. Среди литературных примеров можно назвать упоминание Форстером в «Конце Говарда» порожденного автомобилем «чувство потока» [Forster, 1931, p. 191] и «Автокатастрофу» Балларда, где он использует автомобиль в качестве «тотальной метафоры человеческой жизни в современном обществе» [Ballard, 1995, p. 6]. Согласно Барту, автомобиль «является весьма точным эквивалентом великих готических соборов... потребляемым (пусть в воображении, а не на практике) всем народом» (см. [Barthes, 1972, p. 88; Барт, 2004, с. 191], а также [Graves-Brown, 1997]).

Социология, однако, едва ли обращала внимание на все эти взаимосвязанные измерения сферы автомобилей. Три подотрасли социологической науки, объектом изучения которых должен быть автомобиль и его влияние на общество, — это промышленная социология, социология потребления и городская социология. Тем не менее убедительных результатов не удалось добиться ни одной из них. Индустриальная социология не уделяла достаточного внимания вопросу о том, как массовое производство автомобилей меняло общественную жизнь. Ей оказалось не под силу проанализировать, какое воздействие производство (особенно в США) огромного числа машин посредством «фордистских» методов оказывало на паттерны социальной жизни вместе с «демократизацией» владения машиной.

В рамках социологии потребления потребительская ценность автомобилей, позволивших создать принципиально новые модусы мобильности, способы жизни в движении и автомобильную культуру, исследована недостаточно. В качестве основных направлений изучения здесь были избраны символические ценности, т.е. то, как владение машиной вообще или ее конкретными моделями повышает или не повышает статус владельца. Автомобиль как место потребления остается зависимым от домашнего пространства. Городская социология была сосредоточена на социально-пространственной практике пешего передвижения, в особенности на фланерстве, или «блужданиях» по городу. Предполагалось, что движение, шум, запах, визуальные раздражители и экологические риски, связанные с машинами,

никак не затрагивают прогулки и в более общем смысле не имеют отношения к пониманию природы современной городской жизни. Городская социология по большей части оставалась удивительно статичной и почти не занималась ни одной из форм мобильности внутри города или между ними. Одним из исключений служит предложенное Шилдсом описание сеульской улицы Родео, где речь идет о тактильных особенностях пешего и автомобильного передвижения [Shields, 1997a]. Машины, вовлеченные в символический показ, находятся в ситуации противостояния, тогда как молодые мужчины и женщины, гуляя по улице, пользуются любой возможностью встретиться друг с другом в местах, отчасти сформированных привлекающими к себе внимание припаркованными автомобилями.

В целом социология рассматривала автомобили как некую нейтральную технологию, открывшую путь тем социальным паттернам жизни, которые так или иначе все равно бы возникли. Социология игнорировала принципиальное значение *автомобильности*, не сводимой лишь к системе производства и потребления, хотя, конечно, предполагающей и то, и другое. Значение автомобиля состоит в том, что он преобразует гражданское общество, включая различные формы проживания, путешествия и социализации в автомобилизированном пространстве-времени и благодаря ему. Гражданские общества Запада — это общества автомобильности. Подробнее я остановлюсь на этом в восьмой главе, где будут рассмотрены более общие последствия мобильности для природы социального мира. Частично эта тема затрагивается в романах Реймонда Уильямса, где автор прослеживает, как социальная жизнь функционирует за счет многочисленных пересекающихся друг друга и взаимосвязанных маршрутов (см. гл. VI наст. изд.). Социальности гражданского общества поддерживаются технологиями движения, которые буквально и виртуально связывают людей друг с другом поверх сложно структурированных, гетерогенных пространств. Эти множественные социальности — семейной жизни, сообщества, досуга, наслаждения движением и т.д. — вплетены в сложнейшие пространственно-временные констелляции, возникшие благодаря автомобильным поездкам и одновременно служащие необходимым условием для них.

Названные констелляции вытекают из двух взаимосвязанных черт автомобильности: в автомобиле заложена как способность

к приспособлению, *так и* способность к принуждению. Автомобиль служит источником свободы, «свободы дороги», благодаря своей гибкости (приспособляемости), позволяя водителю путешествовать на большой скорости в любое время и в любом направлении, по сложной системе дорог западных обществ, связывающих воедино практически все дома, рабочие места и места развлечений. Автомобили расширяют выбор мест, куда люди могут отправиться, и, следовательно, раздвигают их человеческие возможности. Социальная жизнь во многом была бы невозможна без гибкости автомобиля.

Вместе с тем эта гибкость является вынужденной, выступает необходимым следствием автомобилизации, поскольку перемещающиеся машины заставляют людей сложными и разнообразными способами согласовывать собственные мобильности и социальности в пределах весьма значительных расстояний. Автомобильность неизбежно отделяет рабочие места от дома, создавая длительные переезды; она разводит дом и шопинг, уничтожая местные розничные магазины; разделяет дом и различные места досуга; расщепляет семьи, живущие в разных местах; вынуждает к посещению лишь тех мест развлечения, которые связаны с сетью дорог; привлекает людей в ловушки заторов, пробок и сбоев в расписании и замыкает в приватизированной, изолированной движущейся среде [Graves-Brown, 1997]. Автомобильность принуждает — она может быть признана такой же мощной структурой, как и любая другая, с которой люди имеют дело, однако объектом изучения социологии она выступает нечасто. Вероятно, это лучший пример того, как систематические непреднамеренные последствия возникают в результате стремления отдельных людей и целых домохозяйств к гибкости и свободе. Шоув пишет: «...больше свободы означает меньше выбора, поскольку автомобили, похоже, сами создают именно те проблемы, которые призваны были разрешить» [Shove, 1998, p. 7].

Как же возник этот монстр автомобильности? Джон Рёскин весьма проникательно заметил, что «любое путешествие чем скорее, тем скучнее» (цит. по [Liniado, 1996, p. 6]; см. также [Thrift, 1996, p. 264–267]). Скорость и ее последствия стали главной проблемой, когда в конце XIX в., вскоре после смерти Рёскина, на сцену вышли самые первые автомобили [Liniado, 1996; Kern, 1983]. В Британии публику чрезвычайно волновал вопрос преодоления рекордов скорости, особенно когда их начали

регистрировать при помощи все более точных часов. Казалось, что жизнь ускоряется, когда люди и машины стали соединяться в новые сложные «машинные комплексы», следовавшие в своем развитии за железными дорогами, так беспокоившими Рёскина. Шокирующее зрелище машин, мчащихся по английской деревне, привело к острому противоречию между деревенскими образами незащитных сельских ландшафтов, и без того разоренных Великой депрессией, и образами технологического прогресса и превосходства машинной культуры [Liniado, 1996, p. 7].

Автомобиль, таким образом, воспринимался вначале как скоростная машина, способная перемещать людей (в действительности лишь состоятельных) со все возрастающей быстротой. Наблюдалось навязчивое желание брать все новые рекорды, хотя споры относительно пользы и издержек таких скоростей возникали постоянно. Многие автолюбители описывали свой опыт скорости в мистических терминах, словно бы это был опыт не столько противоположный природному миру, сколько выражавший внутренние силы Вселенной. Писатель Филсон Янг описывает чувственный опыт езды на гоночном автомобиле как «восторг мечтателя, пьяницы, очищенный и усиленный тысячекратно» (цит. по [Ibid., p. 7]). Он также фиксирует киберорганический характер подобного машинного комплекса: «Это комбинация огромной скорости с ощущением крошечности, легкости, восприимчивости той вещи, которая несет вас, стремительности воздушного потока на вашем теле и земли перед вашим взором» (цит. по [Ibid., p. 7]). В другом месте он пишет о том, как гонщику приходится бороться со скоростью, мощью и динамизмом машины, а необходимость укрощать ее Янг уподобляет вызову, который ницшеанский Сверхчеловек бросает могущественным природным силам жизни и власти.

Иной комплекс автомобильных практик сложился в Англии эпохи короля Эдварда и в более поздний межвоенный период. Он основывался на понятии «открытой дороги» и на неспешной, извилистой автомобильной прогулке, преобравшей большую популярность среди представителей среднего класса. Комплекс возник после того, как были преодолены некоторые наиболее существенные риски передвижения на автомобиле [Bunce, 1994; Thrift, 1996; Liniado, 1996]. Автомобильные прогулки называли «путешествием по жизни и истории земли». Все большее внимание стало уделяться более медленным способам получения

подобного удовольствия. Отправиться в путешествие, сделать остановку, ехать медленно, выбрать более длинную дорогу, интересоваться процессом, а не пунктом назначения — все это стало частью искусства автомобильной поездки на фоне неуклонного роста численности владельцев машин. Филсон Янг писал о том, как «дорога освобождает нас... позволяет нам самим выбирать, как быстро и как далеко нам отправиться, останавливаться где и когда пожелаем» (цит. по [Liniado, 1996, p. 10]).

Описанный комплекс практик стал возможен отчасти благодаря демократизации владения автомобилем, особенно в США, где даже обездоленные времен Великой депрессии продолжали передвигаться на машинах [Graves-Brown, 1997, p. 68]. Дорогу его возникновению, кроме того, открыли разнообразные организационные инновации, в определенной степени воспринятые от ранее существовавших клубов велосипедистов. К нововведениям и объектам такого рода относились: массовый выпуск дорожных карт, автомобильные организации, системы оценки гостиниц, дорожные знаки, деревенские дорожные указатели, национальная программа строительства дорог и многочисленные путеводители [Taylor, 1994, p. 129]. В совокупности они послужили созданию нового машинного комплекса, организованного вокруг надежного уюта семейной жизни в период между двумя мировыми войнами [Ibid., ch. 4]. Они же подготовили почву для происшедшего в межвоенный период преобразования автомобиля, из чужеродной угрозы ставшего органичным элементом сельского пейзажа. Лайт отмечает, как «футуристический символ скорости и эротического динамизма — автомобиль — в межвоенные годы превратился в “Морриса Минора”» [Light, 1991, p. 214]. Становившиеся все более домовитыми представители средних классов, комфортно и безопасно разместившиеся в своих “Моррисах Минорах”, «стали путешествовать по Англии и фотографировать в невиданных ранее масштабах» [Taylor, 1994, p. 122 (о «кодакизации» английского ландшафта — p. 136–145)].

Дополнительный момент обнаруживается в том, с каким восторгом автомобиль был принят в Северной Америке туристами-«дикарями» и туристическим братством в целом (см. [Bunce, 1994, ch. 4]). Уже в 1920-е годы стали повсеместно появляться автомобильные кемпинги, приспособленные к нуждам туриста-автомобильщика. Результатом стал колоссальный рост национального парка автомашин, превративший так называемую дикую

местность из элитного пространства, соединенного железной дорогой, в пространство массового посещения и, реже, проживания туристов-автомобилистов [Bunce, p. 119].

Северная Америка определенно сыграла основополагающую роль в развитии автомобильной культуры, транслируя знания, образы и литературу, приобретшие символический статус (об американских роуд-муви см. [Eyerman, Löfgren, 1995]). Исключительное значение для развития американской автомобильности имела Федеральная система скоростных автострад (Interstate Highway System), реализация которой началась в 1956 г. на средства, вырученные от взимания особого топливного сбора [Wilson, 1992, p. 30]. Строительство 41 тыс. миль автомагистралей требовало внушительных федеральных субсидий на автомобильную отрасль и на различные социальные практики, с которыми она тесно переплелась, такие как кемпинг, досуг и туризм. Уилсон заключает, что мчащийся по открытой дороге автомобиль стал метафорой прогресса в США и культурного покорения американской глубинки:

Новые шоссе, таким образом, не только стали мерой технологического превосходства нашей культуры, но и оказались полностью встроенными в культурную экономию. О них говорили так, словно бы они играли важную демократизирующую роль: идея состояла в том, что современные шоссе позволили большему числу людей наслаждаться красотами природы [Wilson, 1992, p. 30].

Американская культура во многих отношениях невысказана без культуры автомобиля. К числу очевидных примеров можно отнести роман Керуака «В пути» и фильмы «Беспечный ездок», «Rolling Stone», «Алиса здесь больше не живет», «Бонни и Клайд», «Исчезающая точка», «Пустоши», «Тельма и Луиза», «Париж», «Техас» и т.д. [Eyerman, Löfgren, 1995]. Обобщая, Бодрийар описывает послевоенный американский ландшафт как «бесплодную и абсолютную свободу автострад... Америку скоростей пустыни, мотелей и каменистых поверхностей» [Baudrillard, 1988, p. 5; Бодрийар, 2000, с. 72]. Американские послевоенные ландшафты пустынные, они олицетворяют собой современность и отрицают сложную историю европейских обществ. Эта пустота служит метафорой американской мечты. Движение под девизом «пора в дорогу, Джек» по большей части было крайне дифференцированным в гендерном отношении, обернувшись бесконечным потоком мужчин за рулем, в неограниченных

масштабах потребляющих углеводородные ресурсы планеты. Уайтлегг подчеркивает, что в результате этот всепобеждающий автомобиль перестал замечать «другого» — женщину, ребенка, старика, пешехода, велосипедиста и т.д., т.е. буквально любого, кто покинул машину [Whitelegg, 1997, p. 46].

Бодрийяр утверждает, что «Америка» предприняла попытку воплотить утопию в реальность, осуществить все посредством странной судьбы симуляции. Поэтому американская культура — «это пространство, это скорость, это кино, это технологии» [Baudrillard, 1988, p. 100; Бодрийяр, 2000, с. 179]. Пустынные, безлюдные ландшафты проживаются через преодоление их больших расстояний; путешествие предполагает «линию ускользания». Пустыни несут в себе метафору бесконечного будущего, первобытного общества будущего, основанного на стирании прошлого и торжестве времени как сиюминутности, а не глубины [Baudrillard, 1988, p. 6; Бодрийяр, 2000, с. 28]. Езда по пустыне требует оставить прошлое позади, мчаться вперед и вперед, наблюдая за исчезающей пустотой через рамку лобового стекла (см. [Kaplan, 1996, p. 68–85]).

Уилсон также обращает внимание на горизонтальный характер ландшафта, видимого сквозь лобовое стекло автомобиля: «чем быстрее мы едем, тем более плоской выглядит земля» [Wilson, 1992, p. 33]. Он описывает, как в послевоенный период некоторые ландшафты в США подверглись существенному изменению, дабы улучшить вид на них с недавно построенных дорог. При возведении Блуриджской парковой автострады в южных Аппалачах с глаз были убраны все «деревенские» лачуги и ветхие фермы, а также любые признаки коммерческого развития. Таким образом создавался досуговый ландшафт, «приятный для автолюбителя», использующего территорию так, «чтобы вышел удачный снимок с автострады» [Ibid., p. 35]. Федеральное правительство, а затем и отдельные штаты превратили природу в нечто, что «следует воспринимать лишь глазами», наслаждаясь видом, предстающим взору всепобеждающих водителей [Ibid., p. 37].

Водитель каждой машины пристегнут к удобному креслу и окружен микроэлектронными датчиками, системами управления и источниками удовольствия, которые Уильямс называет «мобильной приватизацией» автомобиля (см. [Pinkney, 1991, p. 55]). Многие элементы управления машиной были заменены

электроникой, а сами водители оказываются помещены в своеобразное место обитания, изолирующее их от среды, которую они преодолевают. Виды, звуки, температуры и запахи города или деревни сведены к двухмерной картинке на лобовом стекле, чем-то, отчасти предвосхищенном железнодорожными путешествиями в XIX в. Среда за лобовым стеклом является чужеродной, ее следует держать на расстоянии посредством множества приватизационных технологий, встроенных в современный автомобиль. Они обеспечивают постоянную температуру, большой объем входящих данных, сравнительно безопасную среду, высокого качества звучание, а также предлагают сложнейшие системы мониторинга, позволяющие системе управления автомобилем реагировать на условия повышенного риска, особенно на высокоскоростных трассах.

Во второй главе я уже отмечал убедительность метафоры «мотеля», одного из наиболее типичных «немест» сверхмодерна [Augé, 1995]. Подобные «неместа» не являются ни городскими, ни деревенскими, ни локальными, ни космополитическими, это места чистой мобильности. Сходные характеристики демонстрируют и аэропорты, где люди и культуры связываются вместе через взаимодействие множества отлично отлаженных звеньев, местами соединения которых служат залы ожидания. Последние являются зонами крайнего единообразия, производимого глобальными сетями и вездесущими средствами доставки индустрии авиаперевозок, и крайней эклектичности, поскольку мобильные люди и культуры непредсказуемым образом пересекаются друг с другом в своем «транзитном пристанище». Именно авиапутешествия видятся наиболее характерной формой существования в сегодняшнем глобализирующемся мире, возникающем из того, что Макимото и Маннерз определяют как «номадическое влечение» [Makimoto, Manners, 1997, ch. 3]. В отличие от дорог каналы и соответственно потоки авиапутешествий практически лишены пространственных ограничений и идеально встроены в сеть лимузинов, такси, кондиционированных офисов, гостиниц и ресторанов бизнес-класса, образующих бесшовный канал, по которому могут беспрепятственно перемещаться могущественные номады (см. [Castells, 1996, p. 417]).

Важнейшими для названных каналов являются узловые аэропорты, хабы. Не иметь доступа ни к одному из них — значит быть опасно отключенным от каналов авиалиний, которые вме-

сте со своими партнерами покрывают большую часть планеты. Эти приобретающие все большее глобальное значение каналы оказывают колоссальное влияние на лишенные с ними связи места, а также на прежние, более медлительные формы международной мобильности, такие как, к примеру, морские перевозки. Как отметил один из исследователей:

Авиалинии Air Jumbos позволили корейским компьютерным консультантам перелетать в Силиконовую долину с той же легкостью, с какой можно зайти в соседнюю комнату, а сингапурским предпринимателям — добираться до Сиэтла за один день. Границы самого большого Мирового океана оказались близкими как никогда. «Боинг» объединил этих людей. Но как насчет тех, над кем они пролетают, кто живет на островах пятью милями ниже?.. Авиапутешествия, возможно, позволяют бизнесменам проноситься над океаном, но сопутствующий упадок морских перевозок лишь усилил изоляцию многих островных сообществ (цит. по [Massey, 1994, p. 148]).

МОБИЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТОВ

До этого я рассматривал лишь телесную мобильность, но теперь перейду к мобильности объектов, чтобы проверить, как «вещи-в-движении высвечивают свой человеческий и социальный контекст» [Appadurai, 1986, p. 5]. Во второй главе я уже говорил о том, как жители Восточной Европы были очарованы потребительскими товарами Запада с их разнообразием стилей и вкусов, с культурой шопинга как особого, чрезвычайно приятного времяпрепровождения и с «культовыми» товарами, такими как американские кроссовки или западные книги. Поездки в другие страны, и особенно на Запад, предполагали массовые закупки потребительских товаров. Потоки покупателей, туристов, путешественников, челноков, контрабандистов и т.д. вкупе с отдельными потребительскими товарами и способами транспортировки подорвали эти жестко изолированные «общества». Государства не могли воспрепятствовать шествию товаров, услуг, знаков, образов и людей. То, что Макимото и Маннерз называют «новой номадической эпохой», в Восточной Европе началось с зачастую дешевых и низкопробных потребительских товаров, циркулирующих независимо от условий, в которых они были произведены, перемещающихся и располагающихся внутри новых паттернов социальной жизни [Makimoto,

Manners, 1997]. Объекты, которые на Западе едва ли обладали какой-либо ценностью, в Восточной Европе приобретали высокую меновую стоимость, обусловленную символической ценностью «западного вкуса и утонченности».

Ускоряющиеся мобильности объектов демонстрируют несколько взаимосвязанных процессов. Во-первых, очевидно, что объекты перемещаются вместе с передвижениями людей. Из этого следует, что культуры тоже подвержены перемещениям, а не просто закреплены в качестве неких *укорененных* в определенном месте наборов объектов. Напротив, объекты следуют разнообразными сложными *маршрутами*. Их местопребывание не фиксировано и не задано — по-видимому, в движении они находятся ничуть не меньше, чем пребывают в покое (см. [Clifford, 1997]).

В сущности, как отмечает Лури, различаются три типа мобильных объектов, культурные биографии которых тесно связаны с различными способами физического перемещения [Lury, 1997b]. *Объекты-путешественники* легко перемещаются, поскольку сохраняют свое значение неизменным. Эти объекты поддерживают удостоверенную принадлежность исходному месту проживания; место и культура нераздельны в мягком движении через пространство. Примерами объектов-путешественников являются произведения искусства, ремесленная продукция, объекты фольклорного и национального значения. Они сохраняют дистанцию по отношению к предметам потребления и поддерживают таким образом собственную ауру.

Объекты-командированные также неплохо перемещаются, не будучи связанными ритуалом, конвенцией или какими-то узлами с определенным местом пребывания. Их путешествие телеологически предопределенно конечным пристанищем, поскольку их привозят домой в качестве сувениров, памятных вещей, находок, почтовых открыток и фотографий. Значение такого объекта произвольно, оно задается путешествием домой и местом окончательного хранения (на каминной полке, в буфете, в фотоальбоме и т.п.), оно производится самим этим местом.

Сущность *объектов-туристов* заключена в движении, они существуют лишь внутри и для него, обозначая саму «промежуточность». К объектам такого рода относятся футболки, многочисленные телепрограммы, определенные типы еды, товары, конституируемые через перемещение, например, коллекция косметических продуктов Global Collection или West Coast Surf

Bath Bubbles. В этих объектах чистой мобильности образ и объект взаимно удостоверяют друг друга, передавая методично и целенаправленно внедряемые и распространяемые образы экзотических народностей и мест.

В общем и целом, как утверждает Лури, «объекты движутся в отношениях путешествия-в-местопребывании и пребывания-в-путешествии в рамках практик глобального космополитизма» [Lury, 1997b, p. 83]. Этот тезис позволяет увидеть объекты не в качестве заготовленных, заданных или неизменных в своем уникальном значении. То, что мы считаем «объектами», как правило, включает в себя значительное число материальных и символических компонентов, каждый из которых атрибутивен для построения конечного объекта. В дальнейшем подобный объект может быть использован и потреблен самыми разными способами. Завершенных объектов как таковых не существует. Проиллюстрировать этот момент можно на примере плеера Sony Walkman, который вначале снабжался двумя гнездами для наушников с тем, чтобы его могли слушать сразу два человека. Вскоре, однако, стало ясно, что Walkman почти всегда используется гораздо более индивидуалистически, в особенности на улице:

Walkman в то время не представлялся устройством индивидуального прослушивания музыки — он стал таковым в результате сопряжения производства и потребления... Потребительские практики оказали решающее влияние на внедрение, модификацию, последующую доработку и реализацию этого продукта [du Gay et al., 1997, p. 59].

В свою очередь, Лаптон развивает тезис о том, что некоторые объекты теряют свою меновую стоимость, побывав «в употреблении» и становясь эмоционально нагруженными. Большая часть эмоциональной нагрузки такого рода возникает из физической или воображаемой мобильности. Здесь можно назвать антропоморфизированный автомобиль, который доставил владельца в аэропорт (к счастью) вовремя, почтовые открытки от людей, желающих вам оказаться рядом с ними, пара обуви, в которой вы были на «романтическом» пляже и до сих пор не выбросили, блюдо, напоминающее о ресторане, в котором вы обедали во время отпуска, аромат из серии Global Collection и т.д. [Lupton, 1998, p. 144–145].

Важно также обратить внимание на то, как объекты производятся материально и присутствуют символически во множестве

разных обществ. Каждое из них может вносить свой материальный и/или культурный «вклад» в видимый конечный продукт. Различные материальные, информационные или имиджевые компоненты часто преодолевают большие расстояния, чтобы соединиться в каком-то определенном месте. Хотя последнее могло бы быть названо местом сборки, его стоит понимать как соединение всех компонентов, а не только физических элементов, составляющих объект. После того как сборка произведена и получен, к примеру, персональный компьютер, банка кока-колы, футболка, багет и т.д., этот объект получает возможность показать, что он состоит из сложносоединенных компонентов местного, национального и транснационального свойства. То есть можно говорить о демонстрации ими своей культурной биографии, связанной с теми объектами, образами и информацией, извлеченными из различных культур в особом временном и пространственном порядке, из которых они были собраны.

Sony Walkman в очередной раз служит удачной иллюстрацией данного тезиса. В этом объекте свое очевидное отражение нашли определенные аспекты «японского» дизайна, в особенности компактность, простота и четкость линий [du Gay, 1997, р. 70–73]. Однако процесс еще сложнее, поскольку сам японский дизайн сформировался в значительной мере в результате широких контактов с Западом. Более того, как утверждают некоторые японские дизайнеры, Walkman в большей степени является продуктом западной эстетики, позаимствованной Японией из западных представлений дизайна в 1950–1960-е годы. Очевидно, Walkman (включая его странное и грамматически неправильное название, использующее глобальную разновидность английского языка) является гибридом, возникшим на пересечении множества потоков технологий и образов, на протяжении десятилетий преодолевающих различные границы.

Наконец, сложные отношения складываются между объектами, с одной стороны, и местами и культурами — с другой, поскольку потребление первых подразумевает метафорическое потребление вторых. Именно это имеет в виду Белл Хукс, говоря о еде как о «поедании Другого»; это можно рассматривать в качестве более общего процесса потребления основных объектов другой культуры. Возможности такого рода открывают путешествия в другую культуру и возвращение с объектами-путешественниками либо вхождение в систему производства

потребления, где объекты «другого» становятся обычными потребительскими товарами.

ВООБРАЖАЕМЫЕ МОБИЛЬНОСТИ

Я уже говорил о значимости визуальных образов применительно к сущности определенных объектов. Теперь я непосредственно перейду к этому вопросу, начав с телевидения (в меньшей степени с радио) и его способности порождать «воображаемые путешествия». Сегодня в мире более одного миллиарда телевизионных приемников, и эта цифра растет на 5% ежегодно [Castells, 1996, p. 339]. Телевидение меняет способ существования людей в своих домах, что является следствием тройственного функционирования телевизора как объекта, как медиа и как культуры (развитие этого тезиса см. [Silverstone et al., 1992]).

Во-первых, телевизор — это приобретаемый *объект*, который после покупки устанавливается в определенном месте в зависимости от планировки конкретного помещения. В отведенном для него месте он несет в себе понимание того, что есть дом, а также где и как должны располагаться его обитатели (то же относится и к другим пространствам, например, к кафе или барам). По крайней мере в гостиной телевизор приковывает к себе взгляд каждого, кто переступает ее порог, вне зависимости от того, работает ли он в этот момент. Другие предметы мебели, как правило, обращены к телевизору, словно ожидая его пробуждения к жизни. Он оказывается в средоточии комнаты, вместе с остальной мебелью взаимно определяя друг друга. В совокупности они образуют пригодное для проживания помещение, позволяющее находящимся в нем людям жить опосредованным телевидением культурным обменом с окружающим миром. Телевидение является одним из фоновых элементов повседневной жизни, находящихся всегда под рукой, обыденных, назначение и правила пользования которыми знакомы всем и каждому [Scannell, 1996, ch. 7; Meyrowitz, 1985].

Во-вторых, один телевизионный приемник предоставляет пользователю исключительное разнообразие *медиа*, множество услуг, источников информации и видов развлечений. Эти медиа, текущие постоянно и беспорядочно, формируют телевизиальный поток [Allan, 1997; Meyrowitz, 1985, p. 81–82; Myers, 1999, ch. 7]. Медийные потоки адресованы всем членам домохо-

зайства и потребляются как индивидуально, так и совместно. Часто они приводят к конкуренции за доступ к телевизору или по крайней мере пульту дистанционного управления. Обыденные домашние практики (включая споры) членов семей, обладающие некоей суточной цикличностью, организованы вокруг потребления определенных медийных продуктов, т.е. подключения к телевизиальным потокам. Можно сказать, что продукты такого рода кодированы временем суток (разным отрезком которого придается различное значение).

Сканнелл убедительно показывает, как эти теле-продукты влияют на разнообразные паттерны повседневной жизни людей [Scannell, 1996, ch. 7]. Зрители оказываются «вброшенными» в подобные медийные продукты, которые организуют сложные, накладывающиеся друг на друга временные последовательности. Таким образом, создается множество темпоральностей: программы, формирующие чувство ежедневности, включая социальные взаимодействия вокруг некоторых из них в определенные моменты дня (о слухах, провоцируемых мыльными операми, см. [Ibid., p. 159]); структурирование недели и особенно разделение между работой в будни и взволнованным ожиданием выходных; существенно различающиеся сетки вещания в зависимости от того или иного времени года; годовой цикл спортивных, культурных и политических программ с особым расписанием в праздничные дни. Часть темпорального кодирования отводится демонстрации определенных событий с пометкой «прямой эфир». Потребление события в прямом эфире позволяет испытывать чувство одновременного присутствия в двух местах. Перемещаясь в воображении, мы оказываемся на похоронах принцессы Дианы, в раздираемой войной Боснии, наблюдаем за установлением нового мирового рекорда, освобождением Манделлы из тюрьмы и т.д. [Ibid., p. 172]. Эти события становятся частью нашей жизни, подрывая историческое ощущение места (см. [Meugowitz, 1985; Allan, 1997]).

В-третьих, радио и телевидение порождают господствующие формы коммуникационного взаимодействия домохозяйств и внешнего мира. Телевидение во многих отношениях представляет собой целую культуру. Оно опосредует все прочие культурные процессы, включая рассмотренную выше культуру автомобиля. И хотя в настоящее время наблюдается рост концентрации собственности в медийной сфере, аудитория стано-

вится все более сегментированной и диверсифицированной. Кастельс заключает: «В то время как медиа стали по-настоящему глобально взаимосвязанными, а программы и сообщения начали циркулировать в единой глобальной сети, мы оказались жителями не глобальной деревни, а глобально производимых и локально распространяемых индивидуализированных коттеджей» [Castells, 1996, p. 341]. Понимание телевидения как мощной, но дифференцированной культуры отсылает к комментарию, данному Хайдеггером в 1919 г. применительно к радио:

Я живу в тоскливой, мрачной шахтерской деревушке... на расстоянии автобусной поездки от любых третьесортных развлечений и целого путешествия от любых образовательных, музыкальных или социальных преимуществ первого сорта. Жизнь в такой атмосфере становится унылой. Но когда однообразие нарушает хороший радиоприемник, весь мой маленький мир преображается (цит. по [Scannell, 1996, p. 161]).

Радио (как позже телевидение) открывает мир публичных событий, лиц и явлений. Медиа внедряют этот публичный мир в частную жизнь человека. Люди оказываются вброшенными в публичную сферу, распахиваемую перед ними радио и в еще большей степени телевидением. Публичный мир входит в чей-то частный «малый мир», соединяясь с ним зачастую довольно странным и противоречивым образом. Внедренный в сами формы домашнего существования, этот публичный мир состоит не только из безличных событий и явлений, но и из людей. Скэннелл описывает, как массмедиа «способствовали реперсонализации мира», что в основном относится к «телевидению, персонализировавшему политику» [Scannell, 1996, p. 165]. Последнее персонализирует дискурс, отдавая предпочтение неформальным и закулисным стилям обращения [Meयरowitz, 1985, p. 106]. Телевидение делает публичным то, что прежде считалось приватным, особенно частную жизнь людей. В эпоху до широкого вещания «публичная жизнь не “предназначалась мне”. Она по определению была вне моей и чьей бы то ни было еще досягаемости. Как таковая она по необходимости обнаруживала себя в качестве чего-то анонимного, безличного и далекого» [Scannell, 1996, p. 166].

Хайдеггер говорит о том, как радио «настолько расширило свой повседневный охват, что в результате произвело раз-

отдаление “мира”» (цит. по [Scannell, 1996, p. 167]). Под «разотдалением» как лишением дали он подразумевает приближение, устранение границы, уничтожение расстояния или удаленности по отношению к событиям и особенно людям. «Хайдеггер интерпретирует возможность радио как преобразование пространственности, как сближение вещей, т.е. перемещение их в пределы досягаемости, как превращение... большого мира, которого я не могу коснуться... в нечто доступное и достижимое для меня или любого другого» [Ibid., p. 167]. Так, публичные фигуры входят в наш дом, внушая нам ощущение личного знакомства с ними как с обычными индивидами (конечно, парадигмальным примером персоны, с которой путешествовали миллиарды, служит принцесса Диана). Размывая границы между публичным и приватным, передним и задним планами, близким и далеким, телевидение создает глобальную деревню. Мало что остается скрытым из виду, когда телевидение делает почти всё публичным, показным, доступным (о «пара-социальной интеракции» с теми, кого, как нам кажется, мы знаем, см. [Meugowitz, 1985, p. 119]).

В следующих главах я вернусь к вопросу о том, как названное раз-отдаление большого и малых миров преобразует восприятие гражданского общества и публичной сферы. Я покажу, что последняя сфера превратилась в видимую публичную сцену, трансформирующую возможности социального взаимодействия и общественного диалога. Как точно сформулировал Гитлин применительно к медиатизации новых левых в США, «на вас смотрит весь мир» [Gitlin, 1980]. Так, в частности, любой человек и любой институт может быть пойман на потенциально недостойном поведении. Не застрахован никто. Приватное поведение может быть раскрыто, выставлено напоказ, распространено по всему земному шару и предъявлено снова и снова. Там, где поведение нарушает какие-либо нормы, вызывает неодобрение окружающих в форме того, что Томпсон назвал дискурсом порицания, и где у людей есть «имя» или репутация, которую они могут при этом потерять, там скандал не заставит себя долго ждать. Лицо или институт будут опозорены в национальном или глобальном масштабе (о том, в частности, как «те, кто живут в медиа, скорее всего, и умрут из-за медиа», см. [Thompson, 1997]).

Здесь обнаруживается некий парадокс, заключающийся в том, что в силу повсеместного растространения в наших малых

мирах медийных образов они зачастую обеспечивают нас более устойчивыми формами означивания и интерпретации, чем книги и радио. В культуре, в которой «видеть — значит верить», особенно в условиях регулярной потребляемости образов, смотреть в гостиной на экран телевизора — значит позволять ему раскрывать нам, к примеру, «виновность» некоего человека или корпорации в том, что им инкриминируется (о том, как Уотергейт стал реальным лишь в тот момент, когда телеканалы передали сообщение «Washington Post», см. [Meugowitz, 1985, p. 90–91]). Разумеется, необходимо отметить, что виртуальное путешествие открывает дорогу демонстрации на равных правах чего-то «постыдного» (как в случае домашней страницы Матта Драджа и появившихся на ней откровений Моники Левински).

Я указал на несколько характеристик воображаемого путешествия, благодаря которому далекие события, лица и явления рутинно переносятся в наши гостиные и преобразуют повседневную жизнь. В результате у нас возникает ощущение причастности к событиям, происшествиям и персонам, разделяемой со множеством других лиц, с которыми мы образуем нечто вроде сообщества. Сказанное подводит к необходимости пересмотра в чем-то близкого аргумента из предложенной Андерсоном концепции нации как «воображаемого сообщества» [Anderson, 1989; Андерсон, 2001]. В седьмой главе я проанализирую понятие глобального гражданина и роль телевидения в возникновении новых модусов гражданства, основанных на возможном глобальном сообществе и воображаемых путешествиях. Представляется также очевидным, что последние приносят в дом образы иных мест, которые производят некий вид воображаемого перемещения, тесно связанного со многими процессами физического путешествия.

ВИРТУАЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Подобно телевидению, компьютеры осуществляют дематериализацию средств коммуникации [Harvey D., 1996, p. 245]. Мобильности становятся мгновенными (см. гл. V наст. изд.). Появляется возможность чувствовать другого, буквально жить с другим, не перемещаясь физически и не перемещая какие-либо физические объекты. Бенедикт говорит о «дематериализации среды и завоевании, условно говоря, пространства и времени»

[Benedikt, 1991c, p. 9]. Узлы компьютерных систем, работающие через терминалы, позволяют создавать сети и виртуальные сообщества, относительно свободные от телесных ограничений. Как утверждает Хейм, киберпространство «ощущается как некое перемещение в свободной от времени и трения среде. Нет никаких разрывов, поскольку все существует... в один и тот же момент», когда мы безо всяких усилий переходим с одной гипертекстовой ссылки на другую [Heim, 1991, p. 71]. Эта чистая мгновенность и одновременность имеет место даже при циркуляции фрагментов электронных писем и функционировании других текстовых систем (подсчитано, что в 1997 г. было отправлено 95 млрд сообщений электронной почты). Но поскольку все виды информации обретают цифровую форму, то ее пакеты в будущем станут состоять лишь из того, что может быть оцифровано. Они будут включать не только текст, но также голос, звук, графику, компьютерные программы, видео и т.д. Большинство ощущений могут быть конвертированы в форму цифровых данных, легко пересылаемых и получаемых через компьютерные терминалы (наибольшие трудности вызывает оцифровка вкуса и запаха, см. [Rheingold, 1994, p. 75; Pickering, 1997]).

Цифровая конвергенция и интерактивность разнообразных видов медиа несут в себе колоссальную силу, «социальные» последствия которой непредсказуемы, хотя и весьма специфичны. Историческое развитие электронных технологий в послевоенный период шло по незапланированному и едва ли предсказуемому сценарию. Речь, разумеется, не о Всемирной паутине (World Wide Web), которой не существовало еще каких-то 20 или около того лет назад. Имели место некоторые довольно спонтанные инновации, такие как графические пользовательские интерфейсы, модем, веб-браузеры (необходимые для примерно 230 млн веб-сайтов, существовавших в 1997 г.). Начальные инвестиции были ничтожны в сравнении с неожиданно грандиозными по масштабам последствиями. Сам по себе Интернет явился новым социально-техническим феноменом — бесформенным, хаотичным, изменчивым и непредсказуемым.

Рост глобальных инвестиций и разработок на фоне постепенного стирания границ между разными видами медиа, несомненно, повлечет за собой дальнейшие крупные технологические скачки как в программном обеспечении, так и в оборудовании. Мы не можем, однако, с легкостью предсказать, какими именно

окажутся эти инновации, очевидно лишь, что их будет много. Точности прогноза препятствует погруженность электронных технологий в сложные совокупности социально-пространственных практик. Многие способы использования технологий в будущем зачастую просто непредставимы. Их развитие зависит от трансформирующего воздействия, которое они оказывают на способы существования миллионов людей, участвующих в разнообразных практиках различных обществ. Впечатляющим примером такого рода, тесно связанным с развитием компьютеров, служат мобильные телефоны, на долю которых сегодня приходится большая часть всех производимых в мире новых телефонных аппаратов. Именно из таких гибридов компьютера, пользователя и машин будут возникать странные, непредсказуемые потребности и режимы пользования. Кроме того, как отмечает Пикеринг, взаимодействие с артефактами, предполагающее, будто они являются агентами действия, приведет к тому, что они сами начнут демонстрировать некоторые из характеристик непредсказуемого действия [Pickering, 1997, p. 46].

Названные технологии во многом определяют способы существования людей на работе и дома. Взаимодействие с разнообразными символами на мерцающем экране стало сегодня частью повседневной организации жизни западных обществ. Теркл развивает эту мысль, указывая на то, что компьютеры 1990-х годов не требуют знаний о чем бы то ни было за пределами экрана — все является симуляцией, включая знаменитые, повсеместно воспроизводимые сегодня визуальные «рабочие столы» «Макинтошей» [Turkle, 1996, p. 34]. К каким же последствиям ведет «жизнь на экране», как называет ее Теркл?

Киберпространство — это связанная глобальной сетью, поддерживаемая компьютерами, генерируемая ими и управляемая с их помощью многомерная совокупность перекрывающих друг друга виртуальных «сообществ» (о «киберобществе» см. [Benedikt, 1991a; Jones, 1995b; Shields, 1996; Sardar, Ravetz, 1996; Lyon, 1997; Loader, 1997]). Компьютеры служат окнами внутрь и из этих сообществ. Объекты в них составлены из данных или чистой информации. Таким образом, «объем (феноменального) пространства в киберпространстве является... функцией объема информации в нем» [Benedikt, 1991b, p. 166, 122–123]. Пространство не следует представлять в качестве некоего сосуда или параметра. Более того, это такое пространство, в котором

благодаря многозадачности вполне обыденным является одновременное присутствие в двух или нескольких местах.

Границы человеческого тела в киберпространстве размываются, поскольку взаимодействие машин и людей носит здесь гораздо более интимный характер, чем в эпоху двигателей и часовых механизмов. Тело видоизменяется, приобретая форму в большей степени техносциального, нежели «природного», ограниченного человеческой кожей, образования [Lyop, 1997, p. 35]. Необходимо понимать, что «отношение между человеком и машиной осуществляется в терминах внутренней взаимной коммуникации, а не в терминах использования или действия» новых машин [Deleuze, Guattari, 1988, p. 3; Делёз, Гваттари, 2010, с. 778]. Привлекательность компьютера не сводится к простой утилитарности или эстетическим свойствам. Хейм утверждает, что она носит эротический характер, поскольку предполагает заключение «ментального брака с технологией», симбиоз людей и машин, который «захватывает наши сердца... Наши сердца бьются в машинах. Это и есть Эрос» [Heim, 1991, p. 61].

Хайдеггер еще в 1967 г. предложил дистопийный образ «мирового кибернетического проекта», в котором стирается различие между автоматическими машинами и живыми организмами. Информация о людях становится частью гигантской цепи обратной связи, характеризуемой «самоупорядочиванием, автоматизацией системы движения» (цит. по [Zimmerman, 1990, p. 200]). Хайдеггер не удивился бы тому, как дискурсы виртуальных систем в пределе оказываются переполненными «образами воображаемых тел, свободных от налагаемых плотью ограничений. Разработчики киберпространства предвосхищают время, когда они смогут забыть о теле» [Stone, 1991, p. 113].

Вот еще несколько замечаний по поводу брачных отношений машин и человеческих тел [Haraway, 1991; Harvey, 1996, p. 279–281; Thrift, 1996, ch. 7]. Первое и наиболее очевидное состоит в том, что в названных отношениях участвуют индивидуальные физические тела, которые в результате многочасового сидения перед экранами могут, подобно героям канонического романа Уильяма Гибсона «Нейромант», превратиться в «страшно бледных, изможденных людей, которые плавают в воздухе, скорчившись подобно зародышам... с закрытыми, обведенными чернотой глазами» [Gibson, 1984, p. 256]. (Академическим ученым следует внимательно отнестись к этому предостережению.)

Второе замечание — создаваемые киберпространственные миры населены сообществами, состоящими из тел, чей облик является продуктом моделирования компьютерных инженеров на основе своих предпочтений. Они преимущественно молодые мужчины, «формулируют свои собственные представления о телах и социальности и проецируют их на те коды, которые лежат в основе киберпространственных систем» [Stone, 1991, p. 103]. С большой вероятностью это приведет к тому, что представления о человеческих особях и их телесной оболочке будут близки к представлениям о машинах, нежели к концепции человека как автономного существа, способного выбирать, использовать или не использовать определенный механизм [Thrift, 1996, p. 283–284]. Молодые мужчины, занятые разработкой компьютерных систем, скорее всего, будут производить тела, ориентированные на технологичность, скорость, власть и сексуальную агрессию (о демографическом профиле проблемы см. [Sardar, 1996, p. 24–25]).

В-третьих, конкретный характер трансформации человеческого тела будет зависеть как от особых социально-пространственных практик, которые создают и воспроизводят новые виртуальные среды, так и от их соотношения с действующими практиками. Наиболее успешными окажутся те виртуальные среды, которые смогут лучше отразить формы существования в довиртуальной среде, особенно там, где сильно чувство локальной общности. О'Брайен с коллегами утверждают, что разработка коллаборативных виртуальных сред должна предполагать их «согласование с социальной природой труда в определенных условиях», т.е. с тем, «как практическое использование информации в реальном мире может быть отражено в мире виртуальном» [O'Brien et al., 1997, p. 3].

Тот же подход применим и к домашней среде. Хотя дом в сегодняшнем понимании является своего рода «терминалом», электронные технологии одомашниваются сложными путями, встраиваясь в способы жизни людей в пределах домашнего пространства [Silverstone, Hirsch, 1992]. Так, Бейм убедительно опровергает тезис о роли компьютера как единственного детерминанта коммуникативных результатов. Она указывает на наличие множества иных факторов, таких как внешний контекст, темпоральная структура, инфраструктура системы, цели коммуникации (труд или общение), а также более общие социальные характеристики группы [Baum, 1995]. (Общий обзор сложных форм использования новой технологии см. [Castells, 1996, ch. 5].)

В-четвертых, в следующей главе я попытаюсь доказать, что мгновенное время может порождать новые когнитивные и интерпретативные способности. Пятое поколение молодежи, воспитанной на компьютерах, по-видимому, способно воспринимать несколько одновременно отображаемых на мониторе программ и схватывать синхронные нарративные структуры. Они могут разрабатывать свои собственные игры, совмещая различные виды медиа, скорость и синхронные потоки. Развитие таких «мультимедийных» навыков поверх полученных в процессе обучения приобретет исключительное значение в будущем. Это предполагает, что человеческие существа могут развивать мультисенсорные наборы способностей, связанные с возникновением новых виртуальных объектов.

Некоторые утверждают, что все вышеописанное приведет к перенесению всевозможных объектов и образов в преобразованную «орально-визуальную культуру», которая, в свою очередь, упростит процессы образования и общения. Стаффорд описывает, как благодаря новым цифровым технологиям может возникнуть гораздо более интерактивная и коммуникативная вселенная, пронизываемая «внелингвистическими сообщениями, интерактивными речевыми актами, жестовым общением и оживленной пантомимой» [Stafford, 1994, p. 3]. Такой позитивный взгляд на многообразие новых социальностей заметно контрастирует с дистопийной метафизикой, отсылающей к лейбницеvской монадологии [Harvey D., 1996]. Лейбниц, которого можно считать первым специалистом в области компьютерных наук, полагал, что мир состоит из множества монад, каждая из которых преследует собственные цели, не обращая внимания на остальных. Своими действиями они порождают пространство в ситуации отсутствия внешнего физического мира. Воспринимаемое монадами является лишь проекцией их собственных индивидуальных стремлений и представлений.

Каким образом виртуальная интерактивность сможет породить некие новые формы существования? В шестой главе я попытаюсь наметить различие между тремя типами восприятия сообщества — как близости, как локальности и как общности. Одно из очевидных следствий появления новых электронных сред состоит в том, что общность может достигаться даже там, где нет географической близости. Люди могут считать себя частью единого сообщества, даже когда не видят друг друга ре-

гулярно, когда их тела не находятся в одном и том же месте, а друг друга они знают лишь по неким электронным именам, которые можно произвольно присваивать (и изменять; о многопользовательских игровых платформах (MUD) см. [Jones, 1995b; Turkle, 1996]). В «Виртуальном сообществе» Рейнгольд рисует апокалиптический образ того, как социальная жизнь, некогда организованная внутри национальных обществ, будет сдвигаться в сторону виртуальных сообществ, выходящих за границы каждого общества с его характерными группами, формами солидарности и идентичности [Rheingold, 1994, p. 63]. Создание новых виртуальных сообществ может привести к формированию некоего нового «глобального гражданского общества», основные группы которого уже не будут пространственно и организационно ограничены пределами национальных государств [Ibid., p. 265]. Глобальное гражданское общество может порождать новые формы обучения, альтернативные контркультуры, трансформацию принципов копирайта и приватности, а также новые возможности для прямой демократии ([Jones, 1995a, p. 26]; а также гл. VII наст. изд.).

Как следует относиться к понимаемому таким образом киберпространственному гражданскому обществу? Во-первых, компьютеры, выступающие компонентами киберпространства, позволяют не только преодолевать расстояния за считанные наносекунды. В действительности, как показывает Бенедикт, страсть к путешествиям отчасти обусловлена самим временем, которое на них затрачивается, тогда как мгновенное виртуальное перемещение привело бы к значительному сжатию самого феноменологического опыта путешествия [Benedikt, 1991b, p. 170]. Это приводит некоторых авторов к отстаиванию гораздо большего значения компьютерных технологий в терминах социального ритуала, т.е. в связи с облегчением и обеспечением различного рода «цепей и соединений» и создания разнообразных гибридов человека и машины [Jones, 1995a, p. 32]. Исследования виртуальных сообществ обнаруживают сложные способы складывания и поддержания нормативных конвенций, например, так называемого нетикета, включая нормы темпоральной релевантности [Baum, 1995, p. 159]. Не меньшую важность представляют и способы создания физических сред, наполненных множеством культурных, коммуникативных и эмоциональных значений (о средах многопользовательских игровых платформ см. [Reid, 1995, p. 167]).

Кроме того, сообщества, функционирующие в компьютерных средах, являются «безусловными социальными пространствами, в которых люди продолжают непосредственно взаимодействовать друг с другом в ситуации, когда “непосредственное” и “взаимодействие” приобрели новый смысл» [Stone, 1991, p. 85]. В киберпространстве люди не проживают в некоем определенном месте, хотя, разумеется, некоторые точки сбора пользователей, такие как сайты, веб-узлы, домашние страницы и т.д., остаются. Люди пребывают в каналах движения (в данный момент здесь, а наносекундой позже — в каком-то другом месте!), они оказываются буквально «помещены» в трубопроводы «путешествия». Киберпространство, таким образом, представляет собой область чистого движения [Benedikt, 1991b, p. 126–127]. В сущности, коммуникация, опосредованная компьютерными системами, упраздняет различие между пребыванием в одном месте и перемещением.

В результате во многих виртуальных сообществах мобильными становятся сами идентичности, которые пользователи могут свободно выбирать и менять, превращаясь в «цифровых кочевников» [Makimoto, Manners, 1997]. Они получают возможность устанавливать легкомысленные, мимолетные, случайные отношения в пределах мобильных сообществ, используя различные множественные идентичности, часто иронического характера [Plant, 1997]. По мнению Теркла, Интернет «стал важной социальной лабораторией для экспериментов с конструированием и реконструкцией себя, характерных для жизни в эпоху постмодерна» [Turkle, 1996, p. 180]. Представляется также, что значительная часть опосредованной компьютерными средствами коммуникации, будучи нормативно санкционированной, предполагает сравнительно небольшое количество ограничений и гораздо большую интимность [Reid, 1995, p. 173]. Электронная переписка, не являющаяся ни писанием, ни речью, в высшей степени неформальна и зачастую демонстрирует необычайную откровенность стиля. В целом можно заключить, что обменивающиеся большими объемами информации виртуальные сообщества, скорее, создают мир, нежели просто описывают его. Эйкок и Бучигнани в контексте дискуссии о разнообразных убийствах, развернувшейся в сообщениях электронной почты, отмечают, что наблюдалось «почти мгновенное взаимопроникновение этнографического текста и контекста ситуации...

в опосредованной компьютерными системами коммуникации» [Aycock, Buchignani, 1995, p. 191].

Другой важной темой в спорах вокруг киберпространства является утверждение, будто «виртуальные сообщества» не являются «настоящими сообществами» [Jones, 1995a, p. 24; Sardar, 1996]. Виртуальным сообществам приписывалось возрастающее число связей, подобных тем, что происходят между монадами Лейбница, но поскольку киберпространство подменяет собой сложное и богатое многообразие имеющегося социального физического пространства, эти связи «становятся более хрупкими, воздушными, эфемерными» [Heim, 1991, p. 74]. Виртуальные сообщества рассматривались в качестве лишенных сущности «реальных сообществ» отчасти потому, что большинство их участников предпочитают скрываться в киберпространстве, читая сообщения и ничего не размещая самостоятельно.

Тот же Рейнгольд, впрочем, указывает на значительные изменения, происходящие в самом нашем понимании идеи сообщества. Люди, по его мнению, большую часть времени взаимодействуют и формируют «сообщества» с теми, кто от них географически удален (отсюда важность различных форм мобильности). Я еще вернусь к этой мысли в шестой главе. Рейнгольд, кроме того, подчеркивает значение *прерывистой* «доступности присутствия», заметной даже в виртуальных сообществах. Он показывает это на примере виртуальных сообществ, которые, по-видимому, характеризуются сильнейшей виртуальной сплоченностью [Rheingold, 1994, p. 235–240; Baym, 1995, p. 157]. В действительности такие виртуальные сообщества образуются время от времени, занимая на определенные периоды некое общее место. Это «влечение к близости» [Boden, Molotch, 1994] ведет к укреплению «магических, глубоко персональных, крайне эмоциональных уз, которые среда позволила им выработать в отношениях друг с другом» [Rheingold, 1994, p. 237]. Итак, виртуальное путешествие должно пониматься в соотношении с физическим перемещением и с тем принципиальным значением, которое непосредственное общение приобретает для развития доверительных отношений в киберпространстве.

Таким образом, между потоками электронных сообщений и потоками людей существуют сложные взаимоотношения. На самом деле новые виртуальные сообщества могут способствовать, скорее, повышению физической мобильности людей, нежели

устранению самих названных потоков (или использованию телефонных переговоров). Как иначе сформулировал данный тезис один из руководителей IT-отдела, «ежедневные потребности путешественника в информации и развлечениях во много раз превосходят таковые у среднего бытового потребителя» (цит. по [Graham, Marvin, 1996, p. 199]). Чем больше люди перемещаются физически, тем в большей степени они склонны путешествовать в киберпространстве.

Вместе с тем в одном из исследований содержания виртуальных коммуникаций Эйкок и Бучигнани обнаружили сравнительно немного примеров децентрирующих, освободительных и космополитических дискурсов, предположительно порождаемых виртуальными и физическими перемещениями [Auscock, Buchignani, 1995, p. 225–226]. Выяснилось, что люди демонстрируют разочаровывающе традиционные взгляды на проблемы власти, науки, авторитета, оружия, иностранцев и безумия!

Более того, далеко не все сообщества в полной мере осведомлены и согласны на отношения между двумя сторонами, опосредованные информацией. Кватернарными (четвертичными) были названы такие отношения, в которых новые электронные средства упрощают сбор сведений о других людях, без ведома последних о каком-либо потоке информации или конкретных деталях [Lyon, 1994; 1997, p. 26–27]. К примерам такого рода можно отнести использование баз данных для получения информации о кредитоспособности, данных с камер наблюдения и спутников, компьютерный хакинг, отслеживание потенциальных клиентов при помощи информации, полученной из других источников, незаконное прослушивание телефонных разговоров, использование геоинформационного программного обеспечения (GIS) для установления высокодифференцированных ставок страховых премий и т.д. Все это предполагает преобразование людей в биты информации, которые подвергаются компьютерному мониторингу и контролю при помощи различных «систем».

Описанные формы мониторинга и контроля потребительских практик, рабочих мест и городских зон порождают новые неравенства доступа и власти. Эти тенденции достигли дистопийных крайностей во многих североамериканских городах, которым свойственны исключительные уровни физической и электронной «фортификации», направляющей мобильные потоки надежных объектов и людей по безопасным, отслежи-

ваемым при помощи электронных систем маршрутам и надзирающей и изолирующей перемещения всего «ненадежного» [Graham, Marvin, 1996, p. 213–228]. Дэвис говорит о том, как подобные формы неравенства создают электронное гетто внутри возникающего информационного города [Davis, 1990; Graham, Marvin, 1996, p. 229]. В более общей перспективе Вирильо описывает развитие «машин зрения», которые предполагают зрение без взгляда, автоматизацию восприятия, индустриализацию видения и слияние фактуального с виртуальным [Virilio, 1994, p. 59–61; Вирильо, 2004, с. 106–109]. Подобные тенденции даже привели к распространению манифестов и конституций киборгов [Gray, 1997].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор различных способов перемещения я завершил упоминанием некоторых источников неравенства, связанных с виртуальными путешествиями. В целом появление новых каналов перемещения создает новые пространственные неравенства, поскольку они одновременно усиливают возможности тех организаций, которые способны их внедрять, и ослабляют силы тех, кто исключен из их числа. Здесь обнаруживается новая специализация социального неравенства, новые конфигурации «власти—знания».

До сих пор я рассматривал четыре указанных модуса перемещения в несколько абстрактной манере. В следующей главе я попытаюсь конкретизировать их, проработав формы их ощущения — как в отношении вовлекаемых в путешествия объектов, так и применительно к определенным «местам» как объектам посещения. В общем я собираюсь показать, что восприятие объектов и мест должно стать центральным вопросом социологии мобильности.

IV. Чувства

Лондон стал прообразом этой кочевой цивилизации, столь глубоко меняющей человеческую природу... При космополитизме... земля не придет нам на помощь. Деревья, луга и горы останутся лишь зрелищем.

Э.М. Форстер [Forster, 1931, p. 243]

ВВЕДЕНИЕ

Во многих современных исследованиях часто описывается смерть человека как субъекта. Его роль и предположительно уникальная способность создавать и поддерживать характерные модели человеческой жизни обсуждаются огромным числом дискурсов и дисциплин. К дискурсам, поставившим под вопрос будущее «человеческого» как такового, относятся: постструктуралистская идея смерти автора/субъекта [Derrida, 1991]; антропологические штудии на тему «культур киборгов» [Haraway, 1991]; оценка последствий внедрения технологий протезирования для человечества [Lury, 1997a]; разработка социологии и антропологии материальных объектов [Miller, 1998]; теория актора-сети, разработанная в социологии науки [Latour, 1993; Латур, 2008]; интерес социальных наук к растущим рискам умножения объема отходов и загрязнения физической среды и их угрозы для будущего человеческого вида [Beck, 1992b; Бек, 2000]; анализ частично независимых воздействий времени и пространства [Adam, 1998]; социобиологическая критика дуалистического понимания сознания и тела [Wilson, 1980]; постмодернистская критика метанарративов человеческого искупления [Lyotard, 1984]; а также следствия недавно возникших теорий хаоса и сложности для социально-гуманитарного мира [Casti, 1994].

Все эти дискурсы под разным углом рассматривают вопрос о способности людей оценивать видоспецифические последствия для человека. Ранее я среди прочего упоминал о том, что объекты могут выступать не только предметами воздействия человеческих субъектов, но и функционировать в качестве «актантов», определяя роли, которые люди исполняют внутри сетей. Речь,

в частности, шла о тестировании уровня гемоглобина, продаже фастфуда, путешествии на автомобиле и т.д. Явления, ранее мыслившиеся в качестве особых человеческих или физических образований, по-видимому, объединяются в различные внечеловеческие сети [Law, Hassard, 1999]. Машины, объекты и технологии не господствуют, но и не подчинены человеческой практике, а, скорее, тесно связаны с людьми и составляют с ними единый комплекс. Многие тенденции, имеющие колоссальное значение для людей и лежащие в области технологии, науки, тела, природы и среды, не возникают из чисто человеческих намерений и поступков.

Объекты, таким образом, представляются ключевым элементом, определяющим способы выполнения людьми тех или иных действий. Действие следует рассматривать в качестве некоего достижения, которое реализуется при помощи различных объектов, таких как столы, бумага, компьютерные системы, кресла в самолете и т.д. Такие действия совершаются в процессе формирования и преобразования цепей или сетей, состоящих из людей и нелюдей. Человек и материал взаимодействуют посредством многообразных комбинаций и сетей, которые, в свою очередь, сильно различаются по степени устойчивости во времени и пространстве. Эти сети в зависимости от обстоятельств производят не столько социальный порядок, сколько упорядочивание [Law, 1994]. В такой перспективе человеческое оказывается крайне рассредоточенным и не может рассматриваться в отрыве от внечеловеческого [Latour, 1993, p. 137; Латур, 2008, с. 219]. Латур отстаивает новый подход, который признает гибридность или множественность геометрий, переопределяя человеческое, скорее, в качестве медиатора или транслятора. Нелюди часто могут заменять потенциально ненадежных человеческих особей — обучение последних правильному поведению может требовать очень больших усилий, избежать которых позволяет замена людей внечеловеческими образованиями.

В качестве примера можно назвать гибрид «гражданин-пистолет» [Michael, 1997]. В момент взаимодействия человека с оружием как первый, так и второе переживают трансформацию. Мы должны отказаться от приписывания сущностных свойств чему-либо одному в этой паре. При стрельбе действует именно человек-пистолет. Действие осуществляется благодаря и посредством сети или отношения между оружием и челове-

ком. Конечно, нередки случаи, когда ответственность за выстрел возлагается на человека или, наоборот, на само оружие. Однако мы должны выработать такую систему описания, которая фиксировала бы совместную деятельность сети пистолета-человека. На самых разных уровнях существует множество всевозможных гибридов, предполагающих как взаимодействие с объектами (водитель машины), так и с внечеловеческой природой (собака на поводке; см. [Michael, 1997]). В фокусе моего внимания в данной главе будут находиться гибриды фотографа, картографа, созерцателя пейзажей, водителя автомобиля, зрителя и т.д.

В частности, я обращусь к вопросу о роли «человеческих» чувств в отношениях с объектами и машинами, а равно с «природой». Мой тезис состоит в том, что, несмотря на все разговоры о стирании границ субъекта и объекта, такая перспектива остается недостижимой. Чтобы прояснить роль тела, важно провести более точное исследование чувственного устройства различных гибридов. Тем самым я попытаюсь развить критические соображения Маркса, изложенные им в первом из «Тезисов о Фейербахе»: «...предмет, действительность, чувственность берутся только в форме *объекта* или в форме *созерцания*, а не как *человеческая чувственная деятельность, практика*, не субъективно... идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой» [Marx, Engels, 1955, p. 403; Маркс, Энгельс, 1995а, с. 1].

Изучение человеческих чувственных практик требует исследования иерархии телесных ощущений, которые в сочетании друг с другом и образуют подобные гибриды. В этой главе я попробую обобщить проблему, обозначенную Поппером, когда он характеризует «закрытое общество» как «конкретную группу конкретных индивидуумов, связанных друг с другом... конкретными физическими отношениями типа осязания, обоняния и зрения» [Popper, 1962, p. 173; Поппер, 1992, с. 218]. Я постараюсь проанализировать не столько чувства, играющие такую значимую роль в названных закрытых обществах, сколько то, как некоторые из этих чувств действуют в мобильных «открытых обществах». Какое чувство господствует и какую роль оно играет в часто встречающихся мобильных гибридных образованиях? Что происходит, когда одно или несколько из этих чувств перестают работать (как, например, в случае потока ра-

диации)? Как работают чувства не только с рукотворными объектами, но и с физическим миром? Как они воплощаются в материальных объектах и какую роль играют в поддержке новых форм мобильности?

Чтобы проиллюстрировать эти вопросы, я предлагаю вкратце остановиться на утверждении Бека, что мы совершили переход в общество нового типа — общество риска, противопоставляемого промышленному обществу [Beck, 1992b; Бек, 2000]. Общества риска организованы вокруг опасных потоков отходов, производимых различными социальными практиками и их зачастую непредсказуемыми последствиями. Риски невозможно просчитать, компенсировать, ограничить, объяснить и, что в данном случае гораздо важнее, уловить при помощи человеческих чувств. Парадигмальным примером служит ядерная радиация — она влечет за собой риски, которые невозможно непосредственно потрогать, попробовать на вкус, понюхать, услышать и, главное, увидеть. По поводу Чернобыля Бек отмечает:

Мы смотрим, прислушиваемся, однако неизменность нашего восприятия обманчива. Перед лицом этой опасности наши чувства отказывают нам. Все мы... были слепы, даже если смотрели. Мы ощущали неизменный для нашего чувственного восприятия мир, по которому подспудно распространялись скрытое заражение и нарастающая угроза, недоступная нашему зрению (цит. по [Adam, 1995a, p. 11]; о фотографиях «рака», также обладающих исключительной силой, вводящей в заблуждение человеческий глаз, см. [Stacey, 1997, p. 138]).

Далее Бек утверждает, что отдельные общества могут развиваться на основе такого обессиливания чувств и катастрофических последствий глобализации рисков для жизни человека. Многие различия между предположительно разными обществами стираются перед лицом рисков, которым неведомы национальные границы, рисков, подчиняющих каждого своей неощутимой власти. Источником этой власти служат новые машинные комплексы, обращающиеся с Землей как с лабораторией и производящие Франкенштейна мобильных ядерных отходов, угрожающих будущему, которое нам трудно даже вообразить [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 8; Sullivan, 1999].

Наряду с социальным характером чувств, отмеченным уже Зиммелем [Frisby, Featherstone, 1997], Родауэй показывает и их географические свойства. По его словам, каждое чувство вносит

свой вклад в ориентацию человека в пространстве, в осознание людьми пространственных отношений и в определение качества отдельных микро- и макросред. Кроме того, каждое чувство рождает метафоры, которые выявляют относительное значение каждого из них в повседневной жизни. Например, говоря об осязании, можно вспомнить такие выражения, как «сохранять контакт», «гладить кого-то против шерсти», «легкая рука», «щекотливый тип», «трогательный жест», «сыпать соль на рану» и т.д. [Rodaway, 1994, p. 41]. Так как зрение является наиболее сильным чувством, мы говорим, что «видим» (see), когда понимаем нечто; того, кто чего-то не понимает, мы называем «слепцом»; проницательных лидеров считают «провидцами»; а интеллектуалы могут либо «просвещать», либо «проливать свет» на тот или иной вопрос. Те же, кто не способен понять какую-то проблему, пребывают «во тьме» [Hibbitts, 1994, p. 240–241]. Замечу, что в этой главе не рассматриваются более общие проблемы «инвалидизирующего общества» и чувств.

Существует пять различных способов взаимного соединения чувств, создающих чувственную среду объектов: *кооперация* чувств; *иерархия* разных чувств, например, в случае визуальности в западной культуре; *последовательность* чувств, когда одно чувство должно следовать за другим; *порог* воздействий определенного чувства, который должен быть достигнут, прежде чем начнет работать другое чувство; *взаимные* отношения определенного чувства с объектом, который словно бы «позволяет себе» дать соответствующий отклик [Rodaway, 1994, p. 36–37]. При дальнейшем рассмотрении проблемы зрения будут приведены примеры каждого из названных способов связи с другими чувствами.

ЗРЕНИЕ

«Гегемония зрения» была характерна для западной социальной мысли и культуры на протяжении нескольких последних столетий [Rorty, 1980; Рорти, 1997]. Такое положение дел стало следствием ряда общеевропейских тенденций. К ним относятся новые стили церковной архитектуры средневекового периода, которые позволяли все большему количеству света проникать через ярко раскрашенные витражи. Средневековую увлеченность светом и цветом можно также заметить по распространению геральдики как сложного визуального кода, обозначаю-

щего рыцарские достоинство и верность [Hibbitts, 1994, p. 251]. В XV в. развитие линейной перспективы позволило изображать трехмерное пространство на двумерной поверхности. Получила развитие оптика, и одновременно все больший интерес и в качестве объекта, и в качестве метафоры стало привлекать зеркало (так, юристов стали называть «зеркалами», отражающими все благое и дурное для сообщества) [Ibid., p. 252]. Все более «зрелищная» система правосудия приобрела отличительные цветные платья и красиво оформленные залы судебных заседаний. Наиболее важным оказалось изобретение печатного станка, значительно снизившего относительную силу устного/слухового восприятия и повысившего значение восприятия глазами письменного слова, а также картин и карт [Ibid., p. 255].

Зрение, помимо всего прочего, считалось самым благородным из чувств и легло в основу современной эпистемологии. Ханна Arendt так выражает эту мысль: «с самого начала в формальной философии мышление мыслилось в терминах *видения*» [Arendt, 1978, p. 110–111; Jay, 1993; Levin, 1993b]. Известный тезис Рорти гласит, что посткартезианская мысль обычно отдавала предпочтение именно ментальным представлениям «внутреннего глаза», подобным зеркальным отражениям внешнего мира [Rorty, 1980; Рорти, 1997]. В философии господствовала концепция ума как большого зеркала, позволяющего нам «видеть» физический мир с различной степенью четкости и на разных эпистемологических основаниях.

Зрение играло ключевую роль в истории художественных образов западной культуры. Джей выделяет целые группы образов, сформировавшихся вокруг солнца, луны, звезд, зеркал, ночи и дня и т.д. Он продемонстрировал также, как базовый визуальный опыт позволил направить усилия на осмысление и священной, и профанной образности [Jay, 1986; 1993]. Значение чувства зрения в более широком контексте западной мысли Джей характеризует следующим образом: «с развитием современной науки, печатной революцией Гуттенберга и введением перспективы в живописи у Альберти зрение приобрело исключительно важную роль» [Ibid., p. 179]. Фабиан называет такой диктат глаза «визуализмом» [Fabian, 1992]. В то же время, по мнению Маршалла Маклюэна, «коль скоро в наш век совершается возврат к устной форме... все более очевидным для нас становится некритическое принятие визуальных метафор и моделей, порожденных прошлыми веками»; по его словам, чтобы быть реальной, вещь должна быть види-

мой [McLuhan, 1962, p. 238; Маклюэн, 2003, с. 108; Hibbitts, 1994, p. 238–239]. Ницше подчеркнул важность визуальных аспектов, внутренне присущих самим понятиям абстрактного мышления (таким как ясность, просвещение, скрытость, перспектива), обратив внимание также на то, как со временем зрение приобретало все больший приоритет в сравнении с любыми другими чувствами (о гендерной дифференциации зрения см. [Lefebvre, 1991, p. 138–139; Naraway, 1989]).

Следует сделать три замечания касательно зрения, отчасти основанных на предложенной Зиммелем социологии чувств. Во-первых, согласно Зиммелю, глаз — это уникальное «социологическое достижение» [Frisby, Featherstone, 1997, p. 111]. Именно взгляд друг на друга оказывает влияние на связи и взаимодействия индивидов. Зиммель характеризует это взаимодействие как наиболее прямую и «чистую» интеракцию. Обмен взглядами (то, что мы называем «зрительным контактом») создает необычайные моменты интимности между людьми. Дело в том, что «невозможно поймать чужой взгляд, не поделившись собственным»; так достигается «наиболее полная взаимность» человека в отношениях с другим, встреча лицом к лицу [Ibid., p. 112]. Взгляд имеет свойство отражаться как следствие выразительности лица. Мы видим в людях их неизменную, постоянную сторону, т.е. «историю их жизни... и неизменные дары природы» [Ibid., p. 115]. Ухо же, напротив, не отвечает взаимностью — оно принимает, но не отдает.

Во-вторых, как замечает Зиммель, лишь зрение делает возможными обладание и собственность, тогда как услышанное нами уже прошло, не оставив ничего, чем можно было бы владеть [Ibid., p. 116]. Чувство визуального, таким образом, играет ключевую роль в обеспечении людей возможностью обладать чем-либо — не только другими людьми, но и различными объектами и средами, в том числе и на расстоянии. Зрительное ощущение дает возможность удаленно контролировать мир людей и вещей, сопрягая разъединенность и господство [Robins, 1996, p. 20]. Именно удаленность позволяет достичь верного «взгляда», абстрагированного от суеты повседневного опыта [Hibbitts, 1994, p. 293]. К этой дистанцирующей и объективирующей функции визуальности я вернусь позднее, когда обращусь к вопросу материализации визуального восприятия в фотографиях, ландшафтах и картах одновременно близких и далеких мест.

В-третьих, наблюдается усиливающаяся медиатизация зрительного чувства, заметная особенно отчетливо на примере перехода от печатного станка к электронным формам репрезентации, от фотокамеры, требующей непосредственного присутствия, к циркуляции цифровых изображений по всему земному шару и за его пределами. Восприятие визуального совершило колоссальную экспансию со времен зиммелевского исследования чувств. Его распространение сопровождалось некоторыми трансформациями других чувств, особенно слуха — в результате появления грампластинок, магнитных пленок, компакт-дисков, портативных плееров, а также влияния виртуальной реальности [Robins, 1996]. Итак, три момента, к рассмотрению которых я перейду далее, — это степень отдачи взгляда, значение визуального в присвоении и владении, а также мера «материализации» визуальных ощущений.

Пока я рассматривал визуальность и зрительные метафоры в качестве господствующих в Западной Европе (разумеется, другие культуры двигались иными чувственными траекториями). Однако такой подход может оказаться ошибочным, поскольку в действительности имела место многовековая борьба за освобождение визуальности от других чувств, с которыми она тесно сплетена (в том числе в режиме *кооперации* и *взаимности*). Февр, характеризуя XVI в., отмечал, что «человек той эпохи обладал не только острым слухом или тонким обонянием, но и, без сомнения, отличным зрением. И не более того. Зрение еще не было отделено от других чувств» [Febvre, 1982, p. 437; Cooper, 1997]. Можно сказать, что люди в те времена жили в текущем мире, в котором объекты быстро изменяли форму и размер, границы стремительно передвигались, а физический и социальный миры не демонстрировали систематической стабильности. По мнению Купера, «интеракция» описывает текущие, меняющиеся формы восприятия, характерные для XVI столетия:

Превращение этого состояния вечной двусмысленности в более определенную структуру потребовало иерархического усилия, возвысившего зрение над всеми остальными «примитивными» чувствами — осязания, вкуса и обоняния — ради *визуализации* восприятия... [это] способствовало усилению контроля над физическим и материальным миром посредством большей ясности, прозрачности и визуальной определенности *на расстоянии* [Cooper, 1997, p. 33].

С конца XVI в. наблюдается рост интереса к искусству управления и политической экономии. Углубляется «общественное» администрирование, усиливаемое эксплуатацией самого по себе чувства визуального, *le regard* [надзора], посредством специальных институтов — госпиталей и медицинского ухода, школ, лечения душевных болезней, тюрем и исследований физического мира [Foucault, 1970, 1976; Фуко, 1994, 2001; Cooper, 1997; Adler, 1989]. Потому визуальность приобретает центральное значение для самого устройства видимого «общества» как объекта изучения и наблюдения; как сформулировал Иеремия Бентам применительно к метафоре паноптикона, «прозрачное общество, видимое и четкое во всех его частях» (цит. по [Cooper, 1997, p. 34]; см. также гл. I наст. изд.).

Здесь обнаруживаются два ключевых, связанных друг с другом процесса знания/власти: тщательное визуальное исследование каждой из областей социальной деятельности и представление о том, что «общество» в целом становится прозрачным и управляемым на расстоянии. Европейский XIX в. стал одним из наиболее визуальных исторических периодов с его домами для умалишенных, госпиталями, школами и тюрьмами, проектируемыми так, чтобы администрация держала своих обитателей в поле зрения посредством разнообразных способов всепроникающего надзора [Hibbitts, 1994, p. 258]. В целом, как отмечал крупнейший англоязычный теоретик искусства Джон Рёскин, «величайший поступок, на который способна человеческая душа, — это увидеть нечто... Ясно видеть — это уже поэзия, провидчество и религия» (цит. по [Hibbitts, 1994, p. 257]). Зоны дикой, бесплодной природы, служившие источником ужаса и страха, были преобразованы в то, что Реймонд Уильямс называет «панорамой, пейзажем, образом, свежим воздухом», т.е. в места, ожидающие своего визуального потребителя, приезжающего из зон промышленной цивилизации [Williams, 1972, p. 160]. Такие разнообразные места порождают очень разные эмоциональные реакции [Lupton, 1998, p. 153–154].

На протяжении XIX в. происходит строгое «разделение чувств», причем зрение отделяется от осязания, обоняния и слуха в наиболее явном виде. Автономизация зрения через создание новых объектов производит квантификацию и гомогенизацию зрительного опыта. В оборот вводится множество новых визуальных объектов, среди которых предметы потребления,

зеркала, витринные окна, почтовые открытки и прежде всего фотографии. Эти объекты несут в себе визуальное очарование, магия и одухотворенность которого отражена во внешнем облике и поверхностных деталях. Их вид, в частности, олицетворял потребительскую массу растущих городов, ежедневно прогуливающуюся и нарциссически замороженную собственным отражением в новых визуальных технологиях.

За пределами же городов физическая среда стала объектом романтизации, приобретя образ некоей панорамы, совокупности живописных видов, источника впечатлений. В основе этого в значительной мере лежала романтическая образность: «Природа в основном связана с досугом и удовольствием — туризмом, зрелищными развлечениями, визуальным отдыхом» [Green, 1990, p. 6]. Грин демонстрирует последствия «спектаклизации» районов, прилегающих к Парижу, в середине XIX в. Он отмечает долгосрочную тенденцию «нашествия парижских зрителей в ближайшие к Парижу регионы» [Ibid., p. 76], которому способствовали близость к городу и рост количества деревенских домов, находящихся в собственности горожан. Вместе эти факторы сформировали вокруг Парижа своеобразную зону «столичной природы», безопасных мест для досуга и отдыха, предназначенных для периодического посещения городскими жителями. Многие рекламные объявления того периода, посвященные недвижимости, подчеркивали значение для клиентов живописного зрелища: «Дискурс “вида” и “панорамы” задавал определенную структуру визуального опыта. Целительная сила того или иного места была сконцентрирована в его созерцании, впитывании, *охвате взглядом*» [Ibid., p. 88] (Курсив. — Дж. У.). Сходным образом дома, возводившиеся в английском Озерном крае в середине XIX в., использовались так, «словно служили запечатлевающей виды фотокамерой» (цит. по [Abercrombie, Longhurst, 1998, p. 79] (Курсив. — Дж. У.).

Общества и сами становятся прозрачными, что в случае Британии ознаменовала собой Всемирная выставка 1851 г. (см. гл. VI наст. изд.). Модальности власти/знания «общества» преобразуются одновременно с отделением визуального от иных чувств, в то время как зрение выбивается на верхнюю позицию в чувственной *иерархии*, а решающее значение для самого общественного устройства приобретает факт обозримости и контролируемости на расстоянии. Дайкен отмечает, что в

понятии «теория» уже содержится идея внешнего наблюдателя (общества, экономики, политики и т.д.), который смотрит на объект с расстояния и потому создает некую отстраненную теорию [Diken, 1998, p. 248–250]. Он делает следующий вывод: «Почти вся теоретическая репрезентация визуальна по своей сути, и эта визуальность в значительной степени основана на объективирующем смотре, а не на взаимном беглом взгляде; “господская” позиция аналитического созерцания является деконтекстуализирующей, атемпоральной и акорпоральной» [Ibid., p. 259]. В седьмой главе я обращусь к вопросу о том, порождает ли визуальная конструкция земного шара глобальное общество нового типа, которое также рассматривается издали в качестве деконтекстуализированного объекта и поддающегося дистанционному воздействию (как, например, в теориях «глобального изменения окружающей среды»).

Пока же я перейду к рассмотрению связей между чувствами и некоторыми режимами перемещения, которые мы обсуждали в предыдущей главе. Я настаиваю на том, что в современный период «общество» начинает познаваться через различные мобильности, а не посредством статичного взгляда, носителями которого выступают описанные Фуко дисциплинарные институты. Эти мобильности предполагают новые технологии и способы визуального восприятия. Исключительное значение имеет гибрид «фотографа», на котором я остановлюсь подробнее, а затем перейду к обсуждению читателя карт, созерцателя пейзажей и телезрителя.

В 1839 г. во Франции Луи Дагер объявил о создании дагерротипа, а в 1840 г. в Англии Фокс Тальбот опубликовал открытие фотографического процесса на основе технологии негатива и бумажного изображения (см. [Batchen, 1991, p. 14; Crary, 1990], ниже следующее изложение см. [Crawshaw, Urry, 1997]). Однако насколько бы впечатляющими ни были эти «открытия», Гернсхайм утверждает, что «обстоятельства, в силу которых фотография не была изобретена ранее, остаются величайшей исторической загадкой» [Gernsheim, 1982, p. 6]. Научные основания фотографии были известны уже во второй четверти XVIII в., однако ни один из художников, использовавших «камеру-обскура» в ее различных вариантах, не попытался зафиксировать изображения надолго. Почему же вплоть до XIX столетия изготовление постоянных фотографий не вызывало особого интереса?

В основе этого интереса лежали три составляющие. Во-первых, были «фото-фотографы», писатели и экспериментаторы, демонстрировавшие желание «фотографировать» в конце XVIII и в начале XIX в. В этот список знаменитых изобретателей входят Морзе, Веджвуд, Дэви и молодой Дагер — все они выражали свое разочарование тем, что не могут навсегда зафиксировать собственные впечатления и ощущения [Batchen, 1991, p. 16].

Во-вторых, произошел решительный сдвиг в природе восприятия пейзажа. В XVIII в. путешественники уже не могли ожидать, что их личные наблюдения станут частью научного мировоззрения [Adler, 1989; Taylor, 1994, p. 12–17]. Реальные путешествия из области научного знания переместились в сферу тонкого понимания, «ценительства» — в первую очередь архитектурных строений и произведений искусства, а затем и пейзажей. Адлер формулирует это так: «Переживание красоты и величественности, приобретаемое посредством зрительного восприятия, ценилось за то духовное значение, которое придавали ему культивировавшие его индивиды... Благодаря эстетической трансформации осмотр достопримечательностей стал одновременно и более эмоционально насыщенной деятельностью, и более приватной» [Adler, 1989, p. 22]. Позиция знатока и ценителя предполагала новые способы созерцания, новые типы наблюдения. Брайсон описывает такой тип смотрения как «долгий, задумчивый [взгляд], охватывающий поле обозрения равномерно, с определенной долей равнодушия и отстраненности» [Bryson, 1983, p. 94; Taylor, 1994, p. 13].

В-третьих, с конца XVIII в. влиятельные писатели и художники постоянно высказывали желание зафиксировать свое восприятие пейзажей. В 1782 г. известный апологет живописности преподобный Уильям Гилпин выразил определенную досаду относительно того обстоятельства, что нет возможности схватить и удержать мимолетные зрительные ощущения, испытанные им во время поездки по реке Уай. Позднее, во время одной из экскурсий он написал о том, что удручен неспособностью «запечатлеть и завладеть сценой», которую наблюдал через свое «черное зеркало» [Batchen, 1991, p. 17]. Похожие чувства в 1785 г. выразил Уильям Каупер, выразив желание:

Остановить мимолетные образы, что наполняют
Зеркало разума, крепко их ухватить
(цит. по [Ibid.]).

Сэмюэль Тейлор Кольридж, Томас Грей, Джон Клэр и Джон Констабл также выражали недовольство неспособностью схватить и зафиксировать мимолетные образы, представавшие перед ними во время их физических путешествий.

Названные три момента стали оказывать совместное действие начиная с 1790-х годов. До этого времени отчетливые фотографические устремления выражались сравнительно редко, тогда как после такого рода пожелания стали буквально повсеместными. Возникновение дискурса фотографического желания можно датировать 1790-ми годами, а к 1830-м годам можно наблюдать его широкое распространение среди интеллигенции Европы и отдельных частей Северной Америки. Фотографию, таким образом, нельзя рассматривать в качестве элемента постепенно разворачивающейся, непрерывной истории визуальной репрезентации. Скорее, она выступает ключевым элементом «новой однородной территории потребления и товарооборота, на которой закрепляется наблюдатель», что включает и «индустриализацию процесса создания образов» [Crary, 1990, p. 13]. Она оказалась наиболее значимым компонентом новой экономики культурных ценностей и обмена, в которой визуальные образы наделяются исключительной мобильностью и взаимозаменяемостью. Фотография неминуемо становится неотъемлемым атрибутом современного мира, частью субъектности наблюдателя и стремительного распространения все более мобильных символов и образов [Ibid., p. 149]. Вот как Адам формулирует суть функционирования гибрида «фотографа»: «Глаз камеры можно считать предельной реализацией такого видения — монокулярного, нейтрального, отстраненного и бестелесного, он смотрит на мир с расстояния, фиксирует его природу и решительно отделяет наблюдателя от наблюдаемого» [Adam, 1995b, p. 8].

Данный гибрид оказал колоссальное влияние на демократизацию различных человеческих практик, в особенности тех, что связаны с мобильностью людей и предметов. Как заметил Барт, фотография делает значительным все, что запечатлевается [Barthes, 1981, p. 34; Барт, 1997, с. 56]. Также она обуславливает процессы физических перемещений, сводя путешествие к переходу от одного «красивого вида», который фиксируется на пленке, к серии других [Urry, 1990, p. 137–140]. Объекты, запечатлеваемые на фотокамеру, предопределяют природу физиче-

ского путешествия — отдельные места превращаются в виды, способствуя формированию характерных для XX столетия представлений о том, какие именно достопримечательности заслуживают осмотра [Crawshaw, Urry, 1997]. Грегори описывает «кодакизацию» Египта в конце XIX в. [Gregory, 1999]. Страна стала описываться в терминах драматургии как площадка для срежиссированного зрелища с многочисленными, имеющими собственные границы театральными сценами, поставленными в видах поучения, развлечения и визуального насыщения «европейских» зрителей. Так появился «новый Египет» — Суэцкого канала, «Парижа-на-Ниле», компании «Томас Кук и сыновья», подчищенного «древнего Египта», экзотики восточного «другого», удобных точек обзора и смотровых площадок.

Гибрид «фотограф» задает определенную эстетику, несущую в себе не меньше ограничений, нежели возможностей. Трудно, скажем, найти почтовые открытки или туристические фотографии «пейзажей» отбросов, болезней, бедности, сточных вод и запустения [Crawshaw, Urry, 1997; Taylor, 1994; Parr, 1995]. Фотограф является чрезвычайно влиятельным гибридом, возможности которого позволяют производить серию господствующих визуальных образов (например, «восточных»), скрывая при этом тот способ, с помощью которого на самом деле сконструирован ее характер [Sontag, 1979].

Тейлор, в частности, обращает внимание на то, что наше представление о пейзаже, как правило, содержит в себе идею «господства» [Taylor, 1994, p. 38–39]. Фотограф, а затем и зритель, занимают внешнюю, господствующую позицию по отношению к статичному, находящемуся в подчиненном положении ландшафту, который безвольно простирается перед ними, приглашая себя изучать. Таким образом, названные фотографические практики подают пример того, как должна обзреваться среда, — как объект доминирования человека и субъект его господства. Гибрид пейзажа-фотографа предполагает взгляд, демонстрирующий превосходство, в том числе превосходство мужского над ландшафтом/телесностью женского. Айригарей утверждает, что «глаз объективирует и подчиняет более любых иных чувств. Он устанавливает дистанцию и поддерживает ее» [Irigaray, 1978, p. 50].

Уилсон описывает дальнейшее воздействие фотографа на природу, которая превращается в обозримую совокупность

объектов (подобно тому, как фотография низводит женщину до положения материализованного на странице или в видеозаписи объекта): «фотоснимок трансформирует устойчивые аспекты природы в нечто знакомое, близкое, нечто, что мы можем удерживать в руках и в памяти. Таким образом, камера позволяет нам контролировать визуальные среды нашей культуры» [Wilson, 1992, p. 122]. Природа, другие среды и индивиды превращаются в объекты, переходящие из одних рук в другие. Эти объекты помещаются на стены, становясь элементом домашнего интерьера, они могут структурировать воспоминания и создавать образы места ([Spence, Holland, 1991], о фотографиях в романах Реймонда Уильямса см. [Pinkney, 1991, p. 39]). Фотографии по своей сути и субъективны, и объективны, представляя собой одновременно что-то личное и вместе с тем нечто, предположительно описывающее реальное положение вещей.

Процессу фотография предпочитает мгновенный результат. В сравнении с другими способами гибридизации сред (к примеру, посредством музыки, создания эскизов, рисования, пения, скульптуры и т.д.) исполнение сведено здесь к минимуму. Так, Рёскин полагает, что подлинного созерцания пейзажа можно добиться только через создание эскиза или рисунка, а не через некую компоновку, такую же мимолетную, как фотография [Smith, 1992, p. 77]. В целом фотография производит множество мобильных символов и образов, которые лежат в основе визуальной культуры второй половины XX в. Хайдеггер утверждает, что «основной процесс Нового времени есть покорение мира как картины», т.е. мира, словно бы являющегося картиной или формой человеческого представления [Heidegger, 1977, p. 134; Хайдеггер, 1993, с. 50; Zimmerman, 1990, p. 86–87].

Двумя другими объектами, задающими визуальную рамку и тесно связанными с различными телесными мобильностями, выступают пейзаж и карта [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 4]. Такого рода технологии обрамления служат для конституирования не только заключенного в рамку объекта, но и наблюдателей, вовлеченных в сам этот процесс [Gregory, 1994, p. 37]. Тем самым порождаются гибриды гуляющего-по-пейзажу и пользующего картой.

В случае пейзажа действует особый способ видения, позволяющий художникам сводить трехмерный зрительный опыт живописной панорамы к двумерным образам. Последние носят миметический характер, воспроизводя некую сцену с заданной

точки зрения. Глаз — действительно единственный глаз — принимается за центр зрительного мира. Косгроув утверждает, что вследствие этой концепции «визуальное пространство становится собственностью индивидуального, отстраненного наблюдателя» [Cosgrove, 1985, p. 49; Cosgrove, 1884; Barrell, 1972; Bryson, 1983]. В XIX в. концепция пейзажа как линейной перспективы была усилена романтическими теориями возвышенных и бесплодных ландшафтов, в которых воплощалось и отражалось более полное в чувственном отношении восприятие физического мира индивидом (о возвышенном см. [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 6]).

Оба случая предполагают наличие властных отношений между созерцателем/живописцем и созерцаемым/живописуемым. Первый обладает привилегированной позицией и властью, позволяющей выбирать угол зрения и рассматривать картину. Пейзаж подразумевает владение сценой и способом ее изображения (о различных концепциях пейзажа, мира как картины, представленных в «научной» географии, см. [Gregory, 1994]). Таким образом, пейзажи требуют совершенно особых социальных практик; например, в английском языке нет слова, обозначающего участок земли, который не был бы так или иначе вовлечен в систему зрительной оценки. Пейзаж — это нечто, что следует посетить, что предполагает отношение живописного или визуального потребления, подчас связанного с преодолением значительных расстояний [Barrell, 1972, p. 65; Bell, 1993; Abercrombie, Longhurst, 1998, ch. 3].

Близкими к вышеописанным средствам визуальной репрезентации служат карты, особенно тесно связанные с распространением практик наблюдения и осмотра различных пейзажей [Harley, 1992; Rodaway, 1994, p. 133–142]. Карты имеют ряд отличий от тех форм репрезентации, которые предлагают рисунки/картины. Они обладают взглядом с высоты птичьего полета, в противоположность горизонту зрительного восприятия реального или воображаемого человеческого субъекта. Они предполагают масштабирование и не позволяют точной или реалистической передачи особенностей ландшафта, подобно фотографиям, сознательно исключая многие его детали. Они чрезвычайно символичны, так как наполнены множеством абсолютно условных знаков: фигур, линий, форм, штриховок и т.п. Большинство из них разрабатывались в качестве практических инструментов для купцов, правительственных чиновников и в

первую очередь для военных. Появление карт на «Западе» стало возможным лишь с развитием печатного дела, явившись воплощением исключительно модернистского процесса визуального абстрагирования [Rodaway, 1994, p. 133–134]. Онг так описывает последствия возникновения печатных карт: «Только печатание и ставшее возможным благодаря этому широкое распространение карт позволило людям, размышляя о космосе... прежде всего представлять себе нечто распростертое перед их глазами, как в современном печатном атласе» [Ong, 1982, p. 73].

Как пейзажи, так и карты являются культурно специфическими визуальными технологиями, производными различных модусов телесной мобильности, воспроизводящими типично «западный» взгляд на мир. Обе технологии сводят сложный чувственный опыт к визуально кодируемым параметрам, организуемым и синтезируемым в дальнейшем в некое наделенное смыслом целое. Они схватывают определенные аспекты природы и общества посредством визуального абстрагирования и репрезентации, а также выражают дистанцию и отстраненную объективность того, что ощущается. Пейзажи и карты открывают дорогу новым способам использования визуальности во властных отношениях, структурировании и оформлении контроля или господства над тем, на что направлен взгляд. Они предъявляют зрительное чувство в качестве средства контроля и надзора (использование карт в более демократичных целях описывается в романах Реймонда Уильямса, см. [Pinkney, 1991, p. 43–45]). Здесь обнаруживаются некоторые параллели с устройствами для записи или визуальной демонстрации, характерными для пространственно разобщенных научных сообществ. Эти средства визуальной репрезентации могут перемещаться в пространстве и убеждать других людей, работающих «на расстоянии», в точности результатов исследования (см. [Latour, 1987], а также гл. II наст. изд.).

Особое значение, которым в визуальной культуре конца XX столетия обладал телевизионный экран, представляется очевидным. Описывая в третьей главе некоторые из наиболее важных характеристик «воображаемого путешествия», я уже указывал на важность телевидения в качестве объекта, средства массовой информации и культуры. Сказанное следует дополнить двумя пунктами: телевидение позволяет передавать визуальные ощущения на расстоянии; звук играет не меньшую роль в отношениях людей с «их» телевизионными приемниками.

Во-первых, телевидение оказалось встроено в домашнее пространство и домашний распорядок, став частью домашнего обихода для по меньшей мере миллиарда домохозяйств [Morley, 1995; Silverstone, Hirsch, 1992]. Роль центрального элемента, вокруг которого организуется жилое пространство, стала играть телестезия или восприятие на расстоянии посредством трансформированной «виртуальной географии», конституируемой различными пересекающимися, непредсказуемыми векторами [Wark, 1994]. Как риторически замечает Уорк, «у нас больше нет корней, есть лишь антенны» [Ibid., p. xiv]. Эти антенны и вездесущие телеэкраны отражают удивительный визуальный мир, лежащий за пределами мира домашнего, моментальное зеркало, отображающее остальной мир, который затем отражается в домах людей. В контексте индийских реалий Арундати Рой рассказывает об одной пожилой женщине, чья жизнь преобразилась в результате мгновенного, зачастую передаваемого в «прямом эфире» дистанционного зрительного восприятия мира:

Посредством спутникового телевидения из своей гостиной она контролировала весь Мир... Это происходило по ночам. Блондинки, войны, голод, футбол, секс, музыка, государственные перевороты — все двигалось единым потоком. Все слилось. Все эти вещи находились в одной комнате. А в Айменеме, где прежде самым громким звуком был сигнал автобусного клаксона, войны, голод, живописные побоища и Билла Клинтона можно было одним движением вызвать, как прислугу [Roy, 1997, p. 27].

Векторы определенной длины и направления создают траектории, по которым распространяются образы и информация. Эти векторы позволяют связать практически любую пару точек в мире. «Технические параметры жестки, устойчивы и четко зафиксированы, однако могут связывать весьма обширные и смутно определенные пространства, обеспечивая движение образов, звуков, слов и страстей между ними» [Wark, 1994, p. 11–12].

Во-вторых, как утверждает Морли, основополагающим чувством, характеризующим связь с телевидением, является именно слух, а не зрение. Он указывает на большое разнообразие других форм деятельности, сопряженных с включенным телевизором, тех из них, которыми занимаются, настроив комфортный уровень звукового сигнала, носящего фоновый характер. Поэтому телевидение, будучи неотъемлемым элементом визуальной культуры, играет также важную роль в формировании

определенного «звукового ландшафта». Его звуки составляют часть повседневной жизни большинства домохозяйств, а также все больше заполняют собой разнообразные «частные» публичные пространства, такие как бары, клубы и кафе. Можно сказать, что звук здесь предопределяет направление взгляда. Что касается зрения, то основным режимом телесмотрения является мимолетный, рассеянный взгляд, нечто среднее между скользящим взглядом и пристальным, поскольку зрители ловко переходят от одного режима просмотра к другому. Морли противопоставляет эти зрительные паттерны более устойчивому всматриванию, характеризующему зрительское внимание, обращенное к киноэкрану (см. [Morley, 1995; Sharratt, 1989]; о мимолетном взгляде и пристальном см. [Urry, 1995]).

Конечно, экраны являются составной частью многих других гибридных образований в обществах нашего времени, преобразующих зрительное восприятие. Произошла «автоматизация восприятия», связанная с появлением цифровых камер, рентгеновских аппаратов, приборов ночного видения, инфракрасных и других сенсорных устройств, дистанционно управляемых датчиков и спутников [Thrift, 1996, p. 280–281]. В XX в. в повседневной работе большинства систем тюремного заключения стали использоваться автономизированные приборы наблюдения. Дойче пишет: «Держа на расстоянии, подчиняя и опредмечивая, вуайеристский взгляд (пристальный взгляд надзирателя) осуществляет контроль за счет внедрения техники наблюдения, что ведет к виктимизации его объекта» [Deutsche, 1991, p. 11]. В таком «обществе надзора» действия людей записываются автоматически, даже когда очевидно, что они всего лишь свободно слоняются по торговому центру или на природе [Lyon, 1994]. Здесь действует своего рода «невидящее» зрение, осуществляемое машиной для машины, зрение, визуальные образы которого не только не видимы, но и никем не просматриваются [Thrift, 1996, p. 281].

Вирильо особо подчеркивал важность техник контроля в изменения морфологии современного города, а следовательно, и форм доверия, которое люди должны инвестировать в такого рода институты надзора [Virilio, 1988]. Было подсчитано, что за время прогулки по большому торговому центру покупатель «снимают» около 20 раз. Поразительна в этих системах скрытого видеонаблюдения как раз их обыденность, привычность —

словно бы речь шла о детях, играющих в видеоигры, или о домашнем компьютере [Robins, 1996, p. 20–21]. К другим областям визуализации относятся чрезвычайно развитые системы надзора через «космическое пространство». По некоторым оценкам, США в настоящее время наблюдают за 42 тыс. отдельных целей по всему земному шару, преимущественно с применением «автоматизации [визуального] восприятия» [Ibid., p. 55].

Пока я рассматривал различные гибриды зрительного восприятия — фотографа, созерцателя пейзажей, читателя карт, зрителя у экрана, систем надзора и т.д. Благодаря материализации зрительного чувства от него отделилось множество гибридов, демонстрирующих исключительное его преобладание над всеми остальными чувствами, на чем я подробнее остановлюсь в следующем параграфе. Здесь же я обозначу некоторые варианты критики власти визуального — критики, которая обнажает темную сторону зрения ([Jay, 1993]; об исследовании «метафизики присутствия» Деррида, «чтойности в представлении» Хайдеггера и «дисциплинарной власти» у Фуко см. [Levin, 1993a, 1993b]).

Умаление роли визуального особенно часто встречается в дискурсах, связанных с путешествиями. В определенном смысле мы действительно живем в обществе зрелища — существует множество способов превращения большинства сред в разнообразные зрелища, выступающие объектом коллекционирования [Debord, 1994; Дебор, 2000]. Одновременно происходит преуменьшение роли простого наблюдателя или туриста, посещающего эти, зачастую искусственные, среды (об истории развития дискурсов, разворачивающихся вокруг различия туриста/путешественника см. [Buzard, 1993]). Человек, просто дающий волю своему зрению, высмеивается. Такого типа экскурсанты считаются поверхностными в своих оценках мест, сред или людей. Многие люди стыдятся просто осматривать достопримечательности. Зрение не только не признается самым благородным из чувств, но объявляется наиболее поверхностным из них, препятствующим реальному опыту, в который вовлечены другие чувства и который требует большего времени на то, чтобы отложиться в зрительных впечатлениях. Вордсворт говорил, что Озерный край требует особого глаза, того, который не страшится дикой и необузданной природы. Он требует «медленного и постепенного процесса окультуривания» [Wordsworth, [1844] 1984, p. 193].

О том, что новая чувственность, развившаяся в городе, подрывает некоторые свойства воображения художников, а также их способность наслаждаться богатствами, накопленными их памятью, сходным образом говорил Рёскин (см. [Wheeler, 1995]). Особенно поразителен контраст между рисунком и фотографией. Последней недостает бесконечного богатства и сложности рисунка. В целом жизнь в XIX в. научила глаз предугадывать шоковое воздействие и лишила его тем самым возможности «приобщаться к безграничному богатству искусства и природы» (цит. по [Mallett, 1995, p. 54], обратите внимание на невольные параллели с зиммелевским анализом позиции пресыщенности). Город бомбардирует взгляд рекламой, но не предлагает ничего, на что действительно стоило бы смотреть. Город беден воображением, и тем сильнее контраст между большинством городских строений и «грацией природы». По мнению Рёскина, современный Лондон учит «восхищаться хаосом», тогда как в мире природы глаз пребывает в абсолютном спокойствии посреди цветущего изобилия (цит. по [Ibid., p. 57]).

Критика туриста-экскурсанта доведена до предела в анализе «гиперреального», т.е. тех симулируемых впечатлений, которые кажутся более «реальными», чем подлинные [Baudrillard, 1983; Eco, 1986]. Зрительное восприятие сводится к ограниченному набору характеристик, затем преувеличивается и начинает господствовать над остальными чувствами. Гиперреальные места характеризуются поверхностью, которая никак не реагирует и никак не приветствует наблюдателя. Чувство зрения соблазняется наиболее непосредственными и видимыми сторонами картины, например фасадами центральной улицы Диснейленда (впрочем, гиперреальные впечатления могут быть вызваны и иными чувствами, например обонянием, как в Fishing Heritage Centre в Гримсби на северо-востоке Англии). Чего невозможно обнаружить в гиперреальных местах, так это барочности [Jay, 1992; Buci-Glucksmann, 1984]. Джей превозносит

сбивающую с толку, дезориентирующую, экстатическую избыточность образов барочного визуального опыта..., отвержение монокулярной геометрии, присущей картезианской традиции..., барочность, которая с полным осознанием себя упивается противоречиями между поверхностью и глубиной, пренебрегая любыми попытками свести множественность визуальных пространств к какой-либо согласованной сущности [Jay, 1992, p. 187].

Джей отмечает, что барочная планировка обращена не к разуму, она нацелена на вовлечение всех чувств и потакание им, как это, к примеру, происходит во время карнавалов и фестивалей. Он выступает против господства любого из чувств, их разделения или превознесения одного из них [Jay, 1992, p. 192]. Барочность можно охарактеризовать как нечто неожиданное, удивительное, незапланированное, нелепое. Эта критика отчасти напоминает данную Сеннетом интерпретацию вежливости «нейтрализованного города», основанную на страхе перед социальным контактом с незнакомцем, состоящем из разнообразных чувств, и отнюдь не только зрения [Sennett, 1991]. Сеннет отстаивает позитивные стороны беспорядка, противоречивости и неопределенности в развитии современных городов.

Сходным образом феминисты настаивали на том, что сосредоточение на зрительном восприятии, существенно усиливаемое изобретением мужчинами объектов, которые сводят мир к двумерным визуальным текстам, придает чрезмерное значение внешнему облику, образу и поверхностным чертам. Айригарей считает, что в западных культурах «примат зрения над обонянием, осязанием, вкусом и слухом привел к обеднению телесных отношений. Когда доминирует взгляд, тело теряет свою материальность» [Irigaray, 1978, p. 123; Mulvey, 1989]. Акцент на визуальном сводит тело к поверхности, маргинализирует множественную чувственность тела и обедняет отношения тела со средой. В то же время визуальность превозносит маскулинные усилия, направленные на покорение женского тела, особенно посредством вуайеристского (пристального) разглядывания порнографических картинок [Griffin, 1981], а также природы или ландшафта, которые обычно воспринимаются в качестве метафоры тела пассивной женщины, распростертого перед мужским оценивающим взором [Plumwood, 1993; Taylor, 1994, p. 268]. Напротив, феминистское сознание пытается соединить все чувства более сбалансированным образом, не подразумевающим стремление к господству над «другим» [Rodaway, 1994, p. 123]. Особым значением в женской сексуальности обладает чувство осязания. Айригарей утверждает, что «женщина получает больше удовольствия от касания, чем от взгляда, а ее приобщение к превалирующему скопическому режиму означает опять же согласие с собственной пассивностью: отныне она должна быть прекрасным предметом созерцания» (цит. по [Jay, 1993, p. 531]). Другие авторы подчерки-

вают значение в жизни женщин устной традиции — рассказов и выслушивания, повествований, участия в подробных интимных диалогах или сплетничании, а также использования метафоры «подавания голоса» [Hibbitts, 1994, p. 271–273].

Критика визуального обнаруживается также в литературе, посвященной гендерной природе империи. К примеру, Маклинток показывает, как в истории империи одновременно происходит переплетение мужской власти над колонизируемой природой и женским телом [McClintock, 1995]. Мужской взгляд на природу и на тело оказывается предельно вуайеристским. Она описывает традицию мужских путешествий как эротику насилия над женщиной, поскольку западные путешественники покоряли или фантазировали о покорении как природы, так и туземных женщин. Маклинток называет историю обращения неевропейской природы, часто называвшейся «девственной», в феминизированный ландшафт традицией «порно-тропиков» [Ibid., ch. 1].

Наконец, объекты и технологии, расширяющие визуальное восприятие, не возвращают взгляд зрителю. Зиммель утверждал, что невозможно посмотреть в глаза, не поймав чужого взгляда, что, по его мнению, и служит залогом наибольшей степени взаимности в непосредственных отношениях одного человека с другим [Frisby, Featherstone, 1997, p. 112]. Взгляд возвращается в момент, когда мы смотрим на другого. Однако материализация визуального восприятия означает, что взгляд не возвращается, т.е. зрительное чувство в отношении с объектами становится односторонним. По Беньямину, Прусту и Рёскину, именно этот момент отличает плоскую и безответную фотографию от ауры, полноты и чувствительности, присущих рисунку [Mallett, 1995, p. 52–54]. Некоторые объекты могут вернуть нечто зрителю, например, «возможности природы» (см. гл. VIII наст. изд.). Вот, в частности, почему Левинас отстаивает «этику слепоты», ведь взгляд разделяет субъект и объект. Прикосновение возвращает близость. Именно лицо говорит и учреждает аутентичный дискурс непосредственности в противоположность инструментальной манипуляции визуальным [Levinas, 1985; Левинас, 2000].

Итак, я описал воздействие некоторых особых объектов и гибридов визуальной репрезентации, в частности фотографий, карт, пейзажей и экранов. Я показал, как чувство зрения порождает множество смыкающихся друг с другом гибридов, что при-

вело к вытеснению других чувств. Также я разобрал некоторые из основных критических аргументов, направленных против господства визуального, которые неявно утверждают превосходство других чувств, — на них я теперь вкратце остановлюсь.

ОБОНЯНИЕ, СЛУХ, ПРИКОСНОВЕНИЕ

Вернемся к Англии XIX столетия. Специальный комитет палаты общин заявил в 1838 г., что, поскольку значительные районы Лондона не снабжены сквозными магистралями, низшие классы исключены из-под наблюдения и влияния «более образованных соседей» [Stallybrass, White, 1986, p. 134]. Об этом же говорил и Энгельс, когда отмечал, что социальная экология промышленного города «скрывает от взгляда состоятельных джентльменов и леди... нищету и запустение... служащие дополнением... их богатствам и роскоши» (цит. по [Marcus, 1973, p. 259]). Утверждалось, что «низшие» классы изменятся и облагородятся, как только станут видимыми для средних и высших классов благодаря надзору за их поведением и прививанию правил вежливости. Здесь, конечно, напрашивается параллель с перестройкой Парижа и значительным улучшением обзора, возможностью видеть и быть видимым, открывшейся с заменой старой планировки улиц средневекового Парижа большими бульварами Второй Империи [Berman, 1983].

Названные инициативы британского парламента середины XIX в. показывают превращение видимости в центральный элемент системы регуляции низших классов в пределах городской территории. Однако это еще не все. Поскольку перемещения «другого» класса через крупные города стало теперь заметным, британский высший класс начал избегать контакта с низшими (разумеется, если речь не шла о проститутках или прислуге, правом на которых обладали мужчины из высших классов). Понятия «заражения» и «загрязнения» стали тропами, через которые высший класс воспринимал жизнь в городе XIX в. [Stallybrass, White, 1986]. Поскольку избегать «смешения» в публичном пространстве было все сложнее, высшие и средние классы искали возможности уклониться от соприкосновения с потенциально заразными «другими», «опасными классами».

Этот момент даже нашел свое отражение в викторианской архитектуре жилых домов, призванной регулировать потоки

тел, держать слуг отдельно от семьи в специальном помещении, взрослых — отдельно от детей, находившихся в детской, а мальчиков — отдельно от девочек. Имелись

два цикла «обращения» в организации жизни семьи... С одной стороны, это деятельность хозяина и его друзей, проходящая по наиболее легко обозримым, достойным и доступным маршрутам, с другой — «круговорот» слуг, лавочников и всех, кто обеспечивает дом различными услугами, который должен осуществляться наименее заметным и наиболее скромным образом (комментатор-современник, цит. по [Roderick, 1997, p. 116]).

Итак, высший класс обычно предпочитает наблюдать за другими, находясь у всех на виду, скажем, на балконе, и взирая на «других» сверху вниз. В XIX в. балконы приобрели особое значение как в обыденной жизни, так и в литературе. Они стали местом, позволявшим смотреть, но не касаться, быть частью толпы, не будучи в нее вовлеченным. Их появление служит одним из наиболее ранних примеров превращения города осязания в город видимости [Robins, 1996, p. 20]. По Беньямину, балкон демонстрирует превосходство над толпой, ведь наблюдатель с пристрастием рассматривает толпу» [Benjamin, 1969, p. 173; Беньямин, 2000, с. 187].

В дальнейшем возведение небоскребов с их панорамными окнами, начавшееся в 1880-х годах в Чикаго, также позволило тем, кто находился внутри, смотреть вниз и поверх толпы, будучи при этом изолированным от запахов и возможного соприкосновения с теми, кто внизу. В Чикаго желание избежать запахов мясоперерабатывающей промышленности стало исключительно важным стимулом для строительства уходящих ввысь небоскребов. Здесь есть некое сходство с современным туристическим автобусом, обеспечивающим обзор с высоты птичьего полета. Он позволил заглянуть в гущу толпы, не находясь внутри нее, но наблюдая сверху, пребывая в безопасном, прохладном, тихом, чистом месте. Разворачивающееся зрелище словно бы происходит на некоем экране, а все звуки, шумы и заразные прикосновения устранены в том царстве созерцания, которое создается в кабине автобуса. Таким образом, господство зрения над опасным обонянием было достигнуто благодаря определенному числу физических объектов и технологий, таких как балконы, небоскребы и кондиционируемые автобусы [Edensor, 1999].

Запах имел особенное значение в культурной конструкции западного города XIX в. Он маркировал неестественность города. Сталлибрас и Уайт утверждают, что в середине XIX в. «город... продолжал проникать в приватизированное тело и дома буржуазии через запах. Именно обоняние больше всего раздражало социальных реформаторов, поскольку запах, подобно касанию внушающий отвращение, обладает способностью проникающего и незримого присутствия, которое крайне трудно регулировать» [Stallybrass, White, 1986, p. 139]. Запахи играли центральную роль в выстраивавшихся в XIX в. классовых отношениях в пределах крупных городов. Коббет описывал города как «неестественные наросты, белесые вздутия, отвратительные жировики, созданные разложением и порождающие преступность, нищету и рабство» (цит. по [Bunce, 1994, p. 14]). Сходный взгляд на Бирмингем выражал Роберт Саути, относивший к чертам этого города «шум... неопишущий... Тошнотворные отбросы..., двигающиеся и шевелящиеся..., заполняющие всю атмосферу и проникающие повсюду» (цит. по [Ibid., p. 15]). Высшие слои английского общества XIX в. отличались особым «способом чувствования». Джордж Оруэлл в 1930-е годы также отмечал чрезвычайно резкие запахи по дороге на причал Уигана [Orwell, 1937, p. 159].

На конструирование романтического образа природы существенно повлияли также запахи смерти, безумия и разложения, которые приписывались преимущественно промышленным городам [Tuan, 1993, p. 61–62; Classen et al., 1994, p. 165–169] (о «зловонии бедняков» в Париже см. [Corbin, 1986, ch. 9]). Постоянно звучали риторические рассуждения о наслаждениях «открытого воздуха» (т.е. воздуха, не имеющего запаха), особенно остро якобы переживаемых теми, чья жизнь ограничена пределами города XIX столетия. В то время как сельская местность вызвала все больший интерес своими визуальными качествами, опосредованными представлением о пространстве через понятие пейзажа, промышленный город воспринимался как полностью загрязненный, неестественным образом проникающий во все отверстия человеческого тела. В «Тяжелых временах» Диккенс описывает «лиловую от вонючей краски» реку в Коктауне, а Рёскин характеризует промышленный Лондон XIX в. как «большой гниющий город... испускающий зловоние, чудовищную груды разлагающихся кирпичных построек, каж-

дой своей порой источающих яд» (цит. по [Bunce, 1994, p. 15]). Именно запахи города стали ключевым элементом в репрезентации сельской местности. И в этом-то и заключался парадокс, поскольку деревенская Англия изобиловала запахами домашних животных, сточных вод, гниющих овощей, дыма и особенно издающей гнилостный запах стоячей водой (об ассоциировании стоячей воды со смертью, темнотой и болезнями в культуре см. [Giblett, 1996, p. 22–23]).

Обычно считается, что обоняние больше развито среди так называемых дикарей, чем среди людей, предположительно цивилизованных [Porteous, 1985, 1990; Corbin, 1986; Classen et al., 1994; Tuan, 1993, p. 55–56]. Запахи выступают объектом хулы в западной культуре. Особенно много злобы изливается на места двойственного неразличения, где встречаются земля и вода, места, где они ни то и ни другое. Эти заболоченные местности враждебны понятию «пейзажа», они и народы, их населяющие, вызывают одновременно восхищение и ужас: «Эти чувства связаны преимущественно с непосредственными, нутряными чувствами обоняния, вкуса и осязания, а не холодными, авторитарными чувствами зрения и слуха» [Giblett, 1996, p. 13]. В местах такого рода запахи «бесприютно» просачиваются из-под земли, проникая в ноздри всех и каждого. Запахи невозможно оценить в терминах западной эстетики. Не существует «эстетики, применимой к запахам, текстурам и вкусам болот» ([Ibid., p. 33], в этой же работе множество упоминаний болота как «женского»). Отчасти любопытная двусмысленность болота объясняется его недоступностью для обычных транспортных средств. Невозможно двигаться по болоту, а значит, и рассматривать его. Как замечает рассказчик в «Африканской королеве» С.С. Форестера, «ни одно место, создающее проблемы для навигации, не может быть красивым» (цит. по [Ibid., p. 18]).

В то же время, как убедительно доказывает Лефевр, производство различных пространств даже в эпоху модерна было тесно связано с обонянием. Он отмечает, что «там, где устанавливается некое интимное отношение между “субъектом” и “объектом”, с необходимостью присутствуют мир запаха и места их скопления» [Lefebvre, 1991, p. 197]. Обоняние, по-видимому, обеспечивает более прямой и менее опосредованный контакт со средой; причем этот контакт не может быть произвольно установлен или прерван. Обоняние вызывает непосредственное чувство

окружающей среды, близких предметов, городских ландшафтов и пейзажей. Туан утверждает, что прямота и непосредственность запаха резко контрастирует с абстрактными, композиционными характеристиками зрения [Tuán, 1993, p. 57; 1979]. Эта сила запаха может быть проанализирована в терминах различных «каналов запаха», организующих и мобилизующих ощущения людей, связанные с определенными местами (в том числе и то, что можно было бы назвать «каналом вкуса») и народами. Это понятие позволяет прояснить принципы пространственной организации запахов и их связь с различными местами [Porteous, 1985, p. 369]. Так, чувство обоняния играет особенно важную роль в пробуждении воспоминаний о некоторых местах, это, как правило, может быть объяснено тем, что определенные физические объекты и их характерные запахи, как считается, присутствуют в определенных местах. Туан отмечает, что в то время как зрительные впечатления его детства были недостаточно сильны, чтобы пробудить детские воспоминания, пойманного на секунду запаха водорослей оказалось достаточно: «Запах обладает способностью возвращения прошлого, поскольку, в отличие от зрительного образа, он представляет собой некий капсулированный опыт, оставшийся во многом неистолкованным и неразработанным» [Tuán, 1993, p. 57].

Даже если мы не можем назвать какой-то особенный запах, он все равно может помочь нам восстановить и удержать в сознании ощущение места, которое мы посетили, или опыта, через который прошли. Он может породить как отвращение, так и притяжение; он может играть ведущую роль в конструировании и поддержке основных различий социального вкуса. Даже запахи болота могут быть привлекательными. Так, Торо говорит о «сильном целительном аромате» (цит. по [Giblett, 1996, p. 232]). Вот как Родауэй характеризует силу запаха, связанного с местом: «...восприятие возможно различных по силе запахов в некоем пространстве или при его пересечении, которые задержатся на какое-то время, а затем ослабнут, различие одного запаха и другого и ассоциация разных ароматов с определенными вещами, организмами, ситуациями и эмоциями в совокупности способствуют формированию чувства места и его характера» [Rodaway, 1994, p. 68]. Следует также упомянуть широкомасштабные программы по уничтожению запахов конкретных местностей, особенно вызывающих опасения болот, в целях цивилизации и маскулини-

зации обширных территорий затхлых запахов и превращения их в пригодные для современного фермерства, а также визуального, эстетического приятия [Giblett, 1996, p. 47–50].

К литературным примерам ассоциации запаха с местом относится текст Толстого, где описывается возникший после весенней грозы «аромат берез, фиалок, гниющих листьев, грибов и черешни» (цит. по [Туап, 1993, p. 62]). Близким образом о «сверкающем запахе воды, добротном запахе камней, запахе росы и грозы, старых костей внизу» писал Г.К. Честертон (цит. по [Rodaway, 1994, p. 73]). В сравнительно недавнее время Тони Моррисон в «Песни песней Соломона» писал о том, как:

Осенними ночами ветер с озера доносит сладковатый запах до некоторых улиц. Пахнет засахаренным имбирем, а может, сладким чаем со льдом и гвоздикой... этот густой пряный запах напоминает о Востоке, о полосатых шатрах... Двое мужчин... тоже ощущали этот запах, но он им не напоминал об имбире. Им казалось, так пахнет свобода, или справедливость, или роскошь, или возмездие (см. [Morrison, 1989, p. 184–185; Моррисон, 1982, с. 213–214], а также [Rushdie, 1995, p. 307; Рушди, 2006; Roy, 1997]).

Макклинток предпринимает связанное с вышеназванными проблемами исследование роли одного объекта, мыла, применительно к Британской империи того периода истории, когда британцы путешествовали в другие страны и жили в них. Ее книга получила название «Имперская кожа», и в ней, в частности, процитирован слоган компании Unilever того времени: «Мыло — это цивилизация» [McClintock, 1995, p. 207]. Реклама мыла преследовала две цели. Во-первых, укрепить британской культ семейного очага и поставить его в центр национальной идентичности посредством того, что Макклинток называет «одомашнивающей империей». Во-вторых, внушить представления о чистоте и гигиене, что цивилизовало бы немых туземцев, которым еще только предстояло узнать, что запах имперской кожи является отличительным признаком цивилизованного мира. Особенно была пронизана идеями гигиены и очищения (где белое считалось гигиеничным) реклама мыла «Перз». Таким образом, политика запаха не только открыла дорогу производству новых товаров массового спроса. Она также способствовала выстраиванию характера колониального взаимодействия колонистов с колонизируемыми, одомашниванию и очищению последних, а

также погружению в сложные отношения интимных различных телесных запахов. Колонисты внедряли новые представления о естественной гигиене тела прежде всего через реальное или метафорическое значение мыла и производных товаров, подавляющих телесные запахи. Руарк отмечает парадоксальный канал запаха этой колониальной власти, когда описывает «запах белого человека, еды, питья и одежды белого человека, масляное зловоние бензиновых испарений и дизельных выхлопов белого человека» (цит. по [Rodaway, 1994, p. 72]).

Зиммель обращает внимание на то, что обоняние является в высшей степени «разобщающим чувством», передающим, скорее, отвращение, чем притяжение [Frisby, Featherstone, 1997, p. 119]. Он говорит об «обонятельной нетерпимости», предполагая, в частности, что враждебность немцев и евреев явилась следствием главным образом запаховых различий [Guérer, 1993, p. 27]. В целом, по его мнению, «миазмы» рабочего класса несли в себе угрозу общественной солидарности [Frisby, Featherstone, 1997, p. 118]. Особенно отчетливо эта тенденция проявилась на фоне крайне неравномерного распространения правил домашней гигиены в XX в., лишь закреплявшего классовые установки социального и морального превосходства. Запаховое клеймо служило прочным фундаментом для стратификации, порождаемой тем, что Зиммель определяет как «неодолимое отвращение, внушаемое обонянием» (цит. по [Guérer, 1993, p. 34]).

Современные общества существенно ослабили влияние обоняния по сравнению с другими чувствами (эту точку зрения отстаивают Лефевр и др. [Lefebvre, 1991]). Досовременные общества в значительной мере характеризовались именно запаховыми различиями (о значимости ароматов в классическом мире см. [Classen et al., 1994]). Современные же общества демонстрируют явное неприятие сильных ароматов и стремление к созданию различных технологий, объектов и инструкций по вытравливанию запахов из повседневной жизни. Сюда входит разработка публичных медико-санитарных систем очистки и сепарирования воды из канализационных стоков и ее удаления от глаз и носов по сети подземных труб. Создание такого рода внечеловеческого комплекса явилось результатом приобретшего популярность в XIX в. движения за санитарную реформу и структуры «дифференциации-циркуляции» (см. [Roderick: 1997]). Телесные отправления и процессы стали занимать «со-

ответствующее место» в доме; они все больше пространственно отделялись друг от друга, что обосновывалось контролем и регуляцией различных телесных и заключенных в трубы жидкостей. В частности, когда вода стала поступать отдельно от канализации, предоставив возможность мыть тело целиком чаще, появились технологии ванной и душа, которым было также отведено особое место внутри дома. Отсутствие запаха являлось признаком личной и публичной чистоплотности, тогда как духами теперь пользовались почти исключительно взрослые женщины, которые стали ценить простые ароматы в противоположность сложным. Пространство дома стало планироваться так, чтобы исключить животные и иные запахи. Воздух должен оставаться «свежим». Современные общества чувствительны к запаху, поэтому целые общественные институты создаются в целях предупреждения тех из них, которые считались «нестественными» (к ним, разумеется, относили и вполне естественные запахи, например, гниющих овощей).

Бауман подтверждает: «Модерн объявил запахам войну. Им больше не было места в блестящем храме совершенного порядка, о создании которого возвестил модерн» [Bauman, 1993b, p. 24]. Модерн пытался нейтрализовать запахи, создав зоны контроля, в которых ничто не оскорбляло бы чувств. Зонирование стало элементом государственной политики, разработчики которой предполагали, что неприятные запахи в действительности являются неизбежным побочным продуктом городского промышленного общества. Свалки, поля фильтрации, мясоперерабатывающие заводы, промышленные предприятия и т.п. — все это места концентрации дурных запахов, обычно отделяемые от повседневной жизни города за счет вынесения на его периферию. Получила развитие архитектура домов, ограничивающая запахи строго определенными зонами — например, задним двором, уборной, туалетом. Эта модернистская война с запахом была доведена до крайности в нацистский период, когда евреев запросто называли «вонючими», а приписываемые им запахи связывались с физической и моральной деградацией [Classen et al., 1994, p. 170–175].

Однако обоняние — строптивное чувство, поскольку не может быть изгнано полностью [Bauman, 1993b]. Запах разоблачает искусственность модерна; согласно Латуру, он показывает нашу неспособность стать по-настоящему современными [Latour,

1993; Латур, 2008]. Проект модерна по установлению чистого, рационального порядка вещей подрывается сладковатым запахом разложения, вечно ускользающим из-под контроля и регуляции. Так, «зловоние Аушвица» не могло быть устранено даже несмотря на отчаянные попытки нацистов скрыть происшедшее, изгоняя из лагерей запах смерти в конце войны [Classen et al., 1994, p. 175]. Еще более откровенно Барем затрагивает вопрос о том, как выжившие в Аушвице пытались восстановить забытые привычки, такие как использование зубной щетки или туалетной бумаги, а также вернуть «забытые вкусы и запахи — запах цветения, сладкий аромат весеннего дождя». Контраст с Аушвицем состоял в том, что «там дождь имел запах поноса, а порывы ветра доносили вонь горящей плоти» [Barham, 1992, p. 40; Clarke et al., 1996].

То, как различные запахи источаются различными объектами (и особенно человеческим телом), отражается на социальном значении и силе множества гибридов, таких как канализационные системы, правила гигиены, а также новые дискурсы и технологии архитектуры жилых домов. Родерик заключает, что, хотя в домах и квартирах находится множество *пахучих* субстанций (канализация, грязная вода, газ, а также *опасные* потоки электричества и горячей воды), модерн пытался заключить эти потоки в некие каналы. Однако всегда сохраняется угроза протечки названных субстанций через стенки каналов и их проникновение в «дом» подобному тому, как кровь проходит сквозь заполненные ею сосуды [Roderick, 1997, p. 128]. Значительная часть работы женщин по дому была связана с их особой ответственностью за эти грязные жидкости, отчасти отсылая нас к введенному Гроссом понятию женского тела как «текучего, неконтролируемого, сочащегося жидкостью; как бесформенного потока; как вязкости, липкости, источника выделений» [Grosz, 1994, p. 203; Shildrick, 1997]. Мужчины выходят на сцену, только когда протечка становится неконтролируемой, и на их плечи ложится обязанность взбираться вверх по сосудам дома, прочищать и ремонтировать сдерживающие грязь и опасность трубы, проходящие над потолком и за стенами.

Итак, запахи «опасны». Современные общества попытались канализировать их, в полной мере не достигнув успеха. Однако в последнее время попытки регулировать запахи и удерживать их циркуляцию в «специальных местах» и особых каналах оказались в некоторой степени свернуты культурным поворотом

к «природе» [Strathern, 1992]. Позднейшие запаховые тренды связаны с ростом популярности прямой «азиатской» кухни, распространением естественной, часто имеющей восточные корни парфюмерии для обоих полов, а также домашних благовоний. Сегодня существуют даже духи с ароматом кожи, земли, капуцино и т.д. Стерильной чистоте теперь уделяется значительно более скромное внимание, тогда как использование материалов и запахов, относимых к «натуральным» (например, лимона), распространилось значительно шире. Наблюдается также рост осведомленности и чувствительности к запахам природы, особенно цветам, растениям и различным средам. Запахов стало больше в магазинах, офисах, гостиницах, люди начали обращать больше внимания на неприятные запахи автомобилей и множество химикалий в реках и морях, в сознании людей равнозначных долгосрочным глобальным рискам. Запах вернулся, хотя, конечно, никуда и не уходил. В какой-то мере близким тут оказывается тезис Гиблетта о том, что экологический интерес к сохранению пахучих болот проистекает из их постмодернистской амбивалентности как «мест смещающихся ценностей, водоворота значений, никогда не достигающих конечной точки» [Giblett, 1996, p. 229].

Как и обоняние, чувство слуха не может быть включено или выключено. Оба эти чувства отличаются от зрения, которое можно контролировать, выключив телевизор, закрыв фотоальбом или отвернувшись от пейзажа, красота которого слишком болезненна для глаз. Слух же, напротив, нельзя полностью изолировать, а само ухо, согласно Зиммелю, «является чистым и наиболее элементарным эгоистическим органом, который только берет, ничего не отдавая взамен» [Frisby, Featherstone, 1997, p. 115]. По мнению Айда, если в случае зрительного чувства мы словно стоим на краю, будучи всегда немного отдаленными от объекта, слуховые ощущения не позволяют нам избежать нахождения в самом центре [Ihde, 1976]. Звук просто охватывает нас физически и социально, соединяя с другими даже тогда, когда мы уходим от контакта. Кроме того, звук является результатом действия: до нас доносятся признаки чьей-либо активности, как правило, достаточно длительной. Слушание требует времени, будучи протяженным чувством. Хиббитс утверждает, что «мир, ориентированный на слух, — это мир, необходимым образом сконцентрированный на идеях “длительности” и “становления”» [Hibbitts, 1994, p. 346].

Власть слуха распространяется даже там, где стоит зловещая тишина. Примерами «звука тишины» могут служить заглухший мотор, безмолвие центра Арктики или безмолвие, которое воцарится в неопределенном будущем, когда погибнет вся экосистема. Применительно к последнему пункту уместно вспомнить название классического экологического исследования Рейчел Карсон — «Безмолвная весна» (см. [Carson, 1962], а также [Туан, 1993, р. 75; Hibbitts, 1994, р. 273]). Туан обращает внимание, что до того, как люди переселились в большие города, шум был прерогативой природы. Никакие крики людей, вопли или музыкальные инструменты не могли соперничать с шумом природы — раскатами грома, ураганным ветром, рокотом речного потока или грохотом бегущего стада слонов. Эти звуки служили главными чувственными медиаторами между человеческим обществом и физическим миром.

В целом говорится об историческом сдвиге от преимущественно устных/акустических культур к преимущественно визуальным. Так, пространство аборигенной культуры часто описывается как принципиально акустическое, вписанное в систему песенных координат (Songlines), покрывающих всю территорию Австралии и обеспечивающих перемещающихся людей акустическим чувством места [Chatwin, 1988; Чатвин, 2003]. Пространство сегодняшнего западного общества, как мы ранее выяснили, является в гораздо большей степени визуальным. Устная традиция в США была характерна по преимуществу для афроамериканской культуры. Образцами этой традиции выступают байки, проповеди, тосты, джаз, рэп, а также неприятие тишины [Hibbitts, 1994, р. 276–279]. Значение сугубо визуальных практик и форм самовыражения часто умалялось афроамериканскими интеллектуалами. Они выделяли более высокие по уровню формы соединения звука, телесных контактов, зрения и движения в африканских обществах, которые лежат в основе афроамериканской культуры.

Так же как и в случае запаха, сегодня мы, по-видимому, являемся свидетелями намечающейся реабилитации устной традиции в западных обществах. Это ассоциируется с вездесущностью всяческой музыки, громкоговорителей, стереоприемников, потоков сообщений, телефонных звонков и мелодий ожидания, звуков автомобилей, плееров, секса по телефону и т.д. [Ibid., р. 302–303]. Как я ранее отмечал, телевидение отчасти является

звуковой технологией. Телевизор постоянно работает в фоновом режиме как в домашнем, так и в публичных пространствах, обеспечивая (предположительно) комфортную звуковую среду. Мир пережил настоящую революцию в звуке, отчасти сопоставимую с визуальной, колоссальным толчком к которой послужило «изобретение» поп-музыки в 1950–1960 годы, а также технические новации, приведшие к поразительному улучшению качества звучания классической музыки.

Плеер Sony Walkman — культовый предмет этого постмодернистского звукового ландшафта. Через этот канал лично отобранные и прослушиваемые мелодии переносятся человеком в качестве части своего чрезвычайно мобильного тела, способного выстраивать приватное пространство звука, в публичное [du Gay et al., 1997, p. 23]. Звуковой иконой 1990-х годов стал мобильный телефон. Эта возрастающая потребность в «слуховом развлечении» проистекает также из постмодернистского интереса к тем репрессированным культурам, которые придают звуку особое значение, таким как джаз и рэп афроамериканского происхождения. И даже в таких безмолвных местах, как библиотеки и галереи, многие объекты служат целям слухового развлечения — например, кассетные магнитофоны, звуковые выставки, интерактивные дисплеи и просто фоновая музыка.

В то же время многие составляющие этой акустической культуры воспринимаются как неестественные и загрязняющие окружающую среду. Некоторые звуки стало принято характеризовать как ненатуральные, производящие «шумовое загрязнение». Такое обозначение часто апеллирует к различению вкусов, направленному против наносящих наибольший экологический вред звуковых каналов (см. [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 4, 6]). Каналы звука, таким образом, становятся гигантским местом притяжения.

Теперь перейдем к осязанию, которого я уже несколько раз касался в этой главе. В частности, я обращал внимание на попытки трансформации городов, которые предпринимались с целью избежать того, что Канетти называет «прикосновением незнакомца» [Canetti, 1973; Канетти, 1997], заменить город физического контакта, полный перемещающихся опасных незнакомцев, городом сияющим, держащимся в стороне от «города касания» [Sennett, 1994; Сеннетт, 2010; Diken, 1998, ch. 3]. Я отмечал также то значение, которое придает прикосновению фе-

министская теория чувств, полагающая, что именно осязание является и должно быть организующим чувством у женщин. Можно вспомнить и о значимости человеческой телесности, а также о том обстоятельстве, что в своей социальной жизни в городе мы всегда движемся среди других тел, которые постоянно касаются нас и которых касаемся мы, следуя некоему принципу реципроктности (взаимности) контакта, который сам по себе является высококодифференцированным в гендерном отношении [Robins, 1996, p. 33; Shields, 1997a]. Более того, в отличие от наблюдателя, который может видеть, не будучи увиденным, того, кто касается, всегда, разумеется, касаются тоже [Grosz, 1993, p. 45].

Осязание, кроме того, играет ключевую роль в наших отношениях со многими объектами. Это деликатный инструмент изучения и восприятия физического мира. Даже без «тренировки» мы приобретаем серьезные осязательные навыки, благодаря которым объекты раскрывают нам многие из своих свойств, например текстуру, прочность, размер, отличительные черты, материальную структуру, назначение и т.д. [Tuan, 1993]. Часто лишь благодаря тому, что мы касались объекта, приближались или взбирались на некую точку, мы полагаем, что на самом деле знаем, что он такое и что должен делать [Lewis, 2000].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В историческом плане именно зрение приобрело исключительное значение и власть: зрительное наблюдение легло в основу эпистемологии и западной научной методологии; зрение стало оказывать влияние на другие чувства с соответствующими последствиями для классовых, гендерных и межэтнических отношений; оно стало играть важную роль в ситуации физического перемещения и эстетического восприятия живописности; следствием его возрастающего значения стала специализация чувств, главным образом собственно зрения, во второй половине XIX в.; произошла индустриализация зрительного чувства и всплеск распространения зрительных образов, а позже — симуляций; большую значимость приобрели визуальные технологии и объекты в целом, в особенности фотографии, карты, пейзажи и экраны; существенной оказалась роль зрения в том, что отношения людей к пространству лишились телесной составляющей и возникли новые гибриды, связанные не с тем, чем люди «об-

ладают», но с «видимостью» [Abercrombie, Longhurst, 1998, p. 84; Debord, 1994; Дебор, 2000].

Однако зрение не просто шло своим путем. В XX в. появилась критика визуального и были предложены альтернативные визуальные парадигмы. Существует огромное количество характерных для постмодерного мира пространств, которые препятствуют установлению каких бы то ни было прямых и непосредственных связей между определенным зрительным опытом и неким участком среды. Кроме того, происходит полно-масштабное наступление других чувств, часто не поддающихся простому включению и выключению и отчасти зависящих от форм собственной материализации. Макимото и Маннерз утверждают, что все чувства, похоже, будут воплощены в кремнии и оцифрованы в ближайшие десятилетия (о «кремниевых чувствах» см. [Makimoto, Manners, 1997, ch. 10]). Долгосрочные воспоминания редко бывают сугубо визуальными. В действительности объекты и среды являются опосредованными, спорными, частично симулируемыми и конструируемыми сложными источниками одновременно желания и отвращения. Существуют и мощные гибридные формы, созданные, чтобы регулировать и канализировать потоки разнообразных субстанций по различным траекториям, построенным так, чтобы избегать одних чувств и стимулировать другие.

Кроме того, различные чувства и связанные с ними мобильности, выступающие объектами желания или страха, уклонения или стремления, по мере погружения в повседневную жизнь человека приобретают различные темпоральные ритмы. Родауэй утверждает, что зрение является более «темпоральным» в сравнении с другими чувствами [Rodaway, 1994, p. 124–126]. Визуальные объекты существуют одновременно в пространстве и во времени, их расположение определяется отношением к другим объектам, они обладают также соотносимой с последними длительностью. Ближайшей аналогией тут может выступить фильм. При просмотре фильма мы следим за движением субъектов и объектов, за течением времени. Некоторые детали мимолетны, тогда как другие раскрываются медленнее. Когда перед нами разворачивается цепочка зрительных образов, мы иногда можем выхватить взглядом ту или иную сцену или человека, задержаться на некоторых событиях или же собрать вместе несколько темпорально организованных образов. Родауэй

приходит к следующему выводу: «Зрение специфично относительно времени в том смысле, что некий объект в определенный момент может высвечиваться определенным образом, и темпорально в том смысле, что визуальные образы сохраняются определенное время и наделяют географический опыт непрерывностью» [Rodaway, 1994, p. 125]. В следующей главе я буду отстаивать тезис, согласно которому зрение обнаруживает все большую связь с развитием нового времени, мгновенного времени. По мере дальнейшего оцифровывания зрительное чувство продолжает отделяться, становится все более независимым от повседневной жизни людей. Зрительное чувство глубоко переплелось с воображаемыми и виртуальными путешествиями, с существованием на экране.

В шестой главе, посвященной местам проживания, я попытаюсь доказать, что по причине крайней материализации и дигитализации зрительного чувства другие чувства — обоняние, слух, осязание и «непосредственное» наблюдение — остаются весьма значимыми для ощущения принадлежности человека к тому или иному месту. Иные чувства, по-видимому, обеспечиваются долгосрочным и фрагментированным чувством времени. Они более постоянны и не позволяют нам ухватывать ощущение моментального времени. В пятой и шестой главах я продемонстрирую значение этих темпоральных ритмов, а также то, как различные чувства и мобильности функционируют в различных временах и воспоминаниях через них, а иногда и вопреки им.

V. Виды времени

...Человек — ничто; он, самое большое, только воплощение времени.

Карл Маркс [Marx, Engels, 1976, S. 127;
Маркс, Энгельс, 1995в, с. 107]

ВВЕДЕНИЕ

Предыдущая глава завершилась краткими замечаниями по поводу темпоральных особенностей различных чувств. В этой главе я перейду непосредственно к вопросу времени и попытаюсь подвести к той мысли, что преобразованная социология должна сделать время центральным звеном своих рассуждений. Отчасти это связано с тем, что время встало в повестку современных академических исследований, сняв дисциплинарные границы и открыв перспективы решения новых интеллектуальных задач. В то же время очевидно, что новые технологии порождают новые типы времени, радикально трансформирующие возможности и ограничения, налагаемые на мобильности людей, информацию и образы. Мобильности целиком и полностью зависят от фактора времени. Кроме того, определенное влияние приобрели новые метафоры — особенно понятие «вневременного», «виртуального» или «мгновенного» времени, к которому я перейду далее.

Однако время — непростая тема, как станет ясно из того массива данных, который я представлю в этой главе. С чем связаны такие затруднения? Во-первых, в отличие от определенных свойств пространства, как мы отмечали, время недоступно чувственному восприятию [Elias, 1992, p. 1]. Поэтому время мы оцениваем посредством различных индикаторов, таких как часы или календари, что обуславливает сложно опосредованную зависимость между «временем» и названными технологиями его подсчета. Некоторые авторы предполагают, что время, в сущности, сводится к методам его измерения; другие считают эти методы лишь метафорами времени; а третьи утверждают, что смешивать жизненное или реальное время со способами его измерения — значит совершать категориальную ошибку.

Разумеется, существует множество показателей течения времени, которые разделили человеческую историю на самые разные временные отрезки. Подобные деления — на дни, недели, годы, десятилетия, века и тысячелетия — часто порождают мощнейшие эмоциональные всплески (как это было в случае миллениума [Gould, 1997]).

Во-вторых, как неоднократно указывалось, не существует единого времени, но есть многообразие времен [Adam, 1995b]. В своей самой популярной книге о времени Хокинг утверждает, что «нет никакого уникального абсолютного времени — для каждого индивидуума имеется своя собственная мера времени, которая зависит от того, где он находится [sic] и как движется» [Hawking, 1988, p. 33; Хокинг, 2006, с. 57] (такое персональное чувство времени известно также под названием *Eigenzeit*, см. [Nowotny, 1994]). Более того, представление о времени относительно и зависит от системы его измерения. Согласно Эйнштейну, мы можем вообразить себе столько часов, сколько захотим (цит. по [Ibid., p. 20]). Ниже я рассмотрю различные типы часов и времен. Многие исторические исследования также отмечают бесчисленное множество вариаций в понимании времени и той роли, которую обозначающие время слова играют в языках различных культур [Gell, 1992].

В-третьих, существует давний спор о том, является ли время абсолютной сущностью, обладающей собственной природой или свойством, как считал Ньютон, или же время, как полагал Лейбниц, лишь «порядок следования» (цит. по [Körner, 1955, p. 33]). То есть является ли время неким абсолютом, обособленным от любых других объектов в природе, или же вселенная состоит из разнообразных объектов, которые иногда проявляют признаки темпоральных отношений друг с другом, в то время как никакого времени самого по себе не существует? Еще один предмет дискуссий — обладает ли время направленностью. Существует ли стрела времени, такая, которая вызывает необратимые последствия самим своим движением; или же время обратимо, и между прошлым и будущим нет различия, как то предполагали Ньютон и Эйнштейн (см. [Coveney, Highfield: 1990])? Я не стану разбирать здесь многочисленные исследования на эту тему, но предположу, что даже если время «само по себе» нельзя характеризовать как наделенное силами и свойствами, изолированными от взаимодействия между объектами,

представляется, что различные времена обладают существенно различающимися социальными и естественными потенциалами и направленностями. В этой главе я коснусь возможностей и направленностей часового времени и мгновенного времени (а в шестой главе — «ледникового времени») [Smart, 1963, ch. 7; Coveney, Highfield, 1990]. Итак, хотя абсолютного времени как такового не существует, есть различные режимы времени, обладающие разнообразными потенциалами по преобразованию физического и социального мира. Такие типы времени следует признать социальными в той же мере, что и природными, или же рассматривать в качестве гибридных образований.

В-четвертых, человеческая деятельность, связанная с этими различными временами, чрезвычайно разнообразна. Некоторые социальные организации структурированы вокруг сбережения времени, поскольку «время — деньги» или по крайней мере нечто вроде денег, а значит, их целью является минимизация времени или максимизация усилий (в особенности чьих-то других) в пределах строго определенного периода времени. Другие же социальные практики предполагают неспешное течение времени как источника удовольствий и объекта желаний. Наслаждение временем особенно тесно связано с телесной (или чувственной) природой наших отношений с объектами и средами. Так, физическое перемещение обычно академически исследуется в терминах сбережения времени или покрытия большего пространства. Однако из виду при этом упускается вполне очевидная причина путешествий, а именно удовольствие. Путешествие — это художественное представление, поэтому к его пониманию применимы некоторые категории эстетического суждения (о путешествии как «исполнительском искусстве» см. [Adler, 1989]). Такое путешествие может порождать новые формы коммуникации или игрового взаимодействия во время медленного, длительного путешествия, например, на круизном лайнере, в составе неспешного довоенного автопробега или плутания по внешне неизменным улочкам средневековых городов (см. гл. III наст. изд.).

Наконец, большинство социологов оперируют концепцией «социального времени», которое обособлено и противопоставлено чувству времени, используемому в естественных науках. Представители социальной науки в основном придерживались той точки зрения, что природное время и социальное существо-

ным образом различаются. Это привело к огромной путанице при попытке установить, какие времена считать характерными лишь для человека, а также к игнорированию тех открытий, которые сделаны физической наукой в области исключительного многообразия видов времени. Выдвигаемое мною далее понятие времени отчасти сформировано под влиянием работ Альфреда Уайтхеда, который одним из первых указал на значение физики XX в. для понимания времени и пространства (обсуждение см. [Harvey D., 1996, p. 256–261]). Уайтхед отвергает ту мысль, что время и пространство существуют вне самих взаимодействий между объектами (и субъектами). Время и пространство не отделены от процессов, в рамках которых функционируют физический и социальный миры. Его понимание идеи «внутренних отношений» подводит к выводу о том, что сегодня следует думать о реальной множественности видов и времени, и пространства.

В следующем разделе, прежде чем обратиться к герменевтической и феноменологической традициям, я затрону некоторые из важнейших тем «социального» анализа времени. Я утверждаю, что при рассмотрении проблем мест проживания и мобильности эта «другая» традиция должна быть учтена. Затем под сомнение будет поставлено различие социального и природного времени, что позволит указать на более общую необходимость в преодолении дуализма природы и общества, оказавшего столь пагубное влияние на западные общества и среды. Я попытаюсь показать, насколько важную роль в западных обществах сыграл один конкретный тип времени, а именно часовое время. Затем я обращусь к факту сравнительно недавнего возникновения нового влиятельного типа времени — времени моментального или виртуального. Я затрону некоторые из технологий и объектов, которые вызвали это новое время к жизни, и укажу на их взаимосвязь с различными типами мобильности, отмеченными в третьей главе.

СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ И ЖИЗНЕННОЕ ВРЕМЯ

Большинство социологических теорий строится на основе предположения о социальном характере времени, отделяемом и противопоставляемом естественному. В «Элементарных формах религиозной жизни» Дюркгейм утверждал, что лишь люди рас-

полагают идеей времени и что время в человеческих обществах абстрактно и безлично, а не просто индивидуально [Durkheim, 1968; Дюркгейм, 1994]. Более того, эта безличность является социально организованной, и именно ее Дюркгейм называет «социальным временем». Таким образом, время — это «социальный институт», а сама эта категория носит не природный, но социальный характер. Время — объективно данная социальная категория мысли, производимая в обществах и, следовательно, по-разному определяемая в каждом из них. Социальное время обособлено и противопоставлено природному.

Сорокин и Мертон стали различать общества по признаку наличия отдельной категории часового времени, по сути, воплощающей собой понятие социального времени [Sorokin, Merton, 1937; Мертон, Сорокин, 2004]. Многие антропологические работы исследовали отношение между тем временем, которое основано на «естественно» регулируемых социальных действиях, таких как рождение и смерть, день и ночь, посев и жатва и т.д., и временем, которое тем или иным «неестественным» образом вмещается часами [Gell, 1992].

Сорокин также отмечает, что хотя в большинстве обществ в той или иной форме существует категория «недели», ее продолжительность может насчитывать от трех до шестнадцати дней [Sorokin, 1937; Сорокин, 2006; Colson, 1926; Coveney, Highfield, 1990, p. 43–44; Hassard, 1990]. Ни одно другое животное, похоже, не выработало такой единицы времени, как неделя, единицы, настолько независимой от астрономических циклов. Семидневная неделя пришла из Вавилона, повлияв на иудаистскую концепцию шестидневного цикла плюс Шаббат. Истории известно несколько безуспешных попыток изменить ее продолжительность. Так, во Франции после Революции 1789 г. хотели ввести десятидневную неделю, а в СССР — пятидневку [Gould, 1997].

В целом часовое время стало одним из центральных элементов организации обществ современного, а следовательно, и их основополагающих социальных (и научных) практик. Эти общества построены на исчерпании времени (и пространства) и выработке абстрактного, делимого, универсально измеримого времяисчисления. Первой характеристикой современной машинной цивилизации можно назвать темпоральную регулярность, достигаемую за счет использования часов — изобретения во многих отношениях более важного, нежели паровой двига-

тель. Томпсон выдвинул ставший знаменитым тезис, согласно которому именно ориентация на время, а не на проблему или социальные действия становится ключевой характеристикой индустриальных капиталистических обществ, основанных на максимальном подчинении природы [Thompson, 1967].

Этот аргумент опирается на классические труды Маркса и Вебера. Маркс показывает, что регулирование и эксплуатация рабочего времени составляют основу капитализма. Обмен товаров — это в действительности обмен рабочего времени. Капитализм позволяет буржуазии предпринимать попытки увеличения рабочего дня либо интенсификации труда. Если рабочий класс не способен противостоять давлению, конкуренция будет подталкивать капиталистов к распространению рабочего времени за пределы социальных и физических ограничений. Произойдет «перерасход» рабочей силы, и в интересах самого класса буржуазии будет ввести ограничения на непрерывное увеличение рабочего дня. Вместе с тем такая функциональная потребность еще не означает, что продолжительность последнего будет сокращена. Капиталистическая конкуренция должна быть ограничена в интересах самого капитала (равно как и в интересах рабочей силы — см. гл. VIII наст. изд.).

Позже исследователи продемонстрировали, какое количество конфликтов разворачивается вокруг вопроса о времени, права капитала на организацию и увеличение продолжительности труда и попыток рабочих ее лимитировать при промышленном капитализме. Все эти споры сосредоточены на стандартизированных единицах часового времени, которое отделяет работу от ее социального и физического контекста. Само время товарифицировано. Оно начинает служить мерой работы и структурировать разделение труда, а также способы взаимодействия людей с их физическим окружением [Dickens, 1996].

Маркс, впрочем, не касается вопроса о том, как время усваивается и формирует людей как темпоральных субъектов, одновременно ориентированных на часовое время и дисциплинируемых им. Вебер, Фуко и Мамфорд утверждают, что истоки этой субъективности лежат в системах отсчета времени, выработанных в бенедиктинских монастырях. В определенный момент в Европе насчитывалось около 40 тыс. различных «часовых поясов» [Adam, 1995b, p. 64–65]. Существовавшая в этих монастырях система хронометрирования позволяла синхронизировать

социальные действия с ежегодными, еженедельными и ежедневными рутинными операциями, оказавшись на момент введения в VI в. совершенно революционной. Праздность не допускалась. Как утверждал Вебер, к сходным последствиям привело распространение протестантской этики, освободившей людей из-под власти «естественных импульсов» и сформировавшей их в качестве субъектов, нацеленных на сбережение времени и максимизацию полезной деятельности:

Главным и самым тяжелым грехом является бесполезная трата времени. Жизнь человека чрезвычайно коротка и драгоценна, и она должна быть использована для подтверждения своего призвания. Трата этого времени на светские развлечения, пустую болтовню, роскошь, даже сон, больший по времени, чем необходимо для здоровья... — все это в нравственном отношении совершенно недопустимо [Weber, 1930, p. 158; Вебер, 1990, с. 186].

Дух капитализма добавляет еще один штрих к этой зарождающейся субъективности. Бенджамин Франклин заявлял, что «время — деньги», т.е. тратить время, по его словам, значит тратить деньги [Weber, 1930, p. 48; Вебер, 1990, с. 73]. Поэтому обязанностью людей стала экономия времени, его сбережение, использование его с максимальной отдачей и распоряжение временем (как своим, так и других людей) с величайшей осмотрительностью.

Вместе с тем время нельзя напрямую уподобить деньгам. Его можно накапливать и обменивать (например, при совместном владении курортным жильем и поочередном пользовании им — система таймшера), до известной степени им можно делиться (например, в кругу проходящих нянь), а люди весьма различаются своей способностью эффективно его использовать (отсюда идея «тайм-менеджмента»). Но все это весьма ограниченные примеры по сравнению с тем, как расширился оборот денег, проникнув почти во все уголки земного шара [Leyshon, Thrift, 1997]. При этом часовое время ограничивает человеческую деятельность более жестко по сравнению с деньгами, поскольку его методичный ход подчиняет всех людей и в значительной мере саму природу тем минутным отрезкам и определенному распорядку, которые он порождает. «Время — деньги» в этом случае лишь полезная метафора.

Действительно, не столько время походит на деньги, сколько деньги являются временем [Adam, 1990, p. 114]. Во многих

случаях наличие большого количество времени оказывается бесполезным для людей без денег — например, для бедняков, безработных или заключенных [Goffman, 1968]. Значение имеет доступ к деньгам, позволяющий распоряжаться временем (пусть и продолжающим утекать) с наибольшей пользой и, кроме того, организовывать и структурировать время других. Следовательно, время отличается как в зависимости от доступного количества денег, так и от статуса и приобщенности к власти. Важные социальные диспропорции возникают из-за неравных социальных отношений, связанных со временем (и пространством).

Хотя власть часового времени общепризнана, история ее возникновения сложнее, чем описывает Томпсон [Thompson, 1967; Glennie, Thrift, 1994]. До XVI в. повседневная жизнь в Англии была проблемно-ориентирована (за исключением монастырей), неделя не являлась важной единицей времени, а основами организации времени выступали времена года, связанные с ними ярмарки и рынки, а также церковный календарь. Ситуация начала меняться между XVI и XVIII в., когда наметилось распространение домашних часов, все большее значение стали приобретать общественные и башенные часы, а заметное число представителей среднего и высшего классов стали обучаться в школе, где все действия совершались по расписанию. На этот процесс повлияли также усилия пуритан по внедрению недельного цикла в организацию труда, развитие денежного хозяйства, требовавшего подсчета трудовых дней и ставок оплаты труда, а также введение термина «пунктуальность» в обиходную речь.

Таким образом, к XVIII в. время оказалось в значительной мере «отделено» от различных форм социальной активности (об этом отделении см. [Giddens, 1984; Гидденс, 2005]). Отчасти это явилось следствием инноваций в сфере труда, направленных на то, чтобы привить новую дисциплину времени нарождающейся промышленной рабочей силе. Это и использование гудка и часов, и разбивка недели на «рабочие» и «выходные» дни, и сокращение продолжительности церковных и светских праздников. Свою роль сыграли и перемены в жизни праздного английского высшего класса, выработавшего модели нанесения визитов, поистине византийские по своей светской изощренности. Их внешними признаками служило использование звонков и дверных колокольчиков, официальная обеденная сервировка, визитные карточки и все более усложнявшийся социальный

этикет, основанный на допустимости визита лишь в строго оговоренные часы [Davidoff, 1973].

Ключевыми факторами в развитии часового времени стало растущее стремление к физическим путешествиям и появление соответствующих средств передвижения. Зиммель отмечал, что рост социальной и деловой жизни в «метрополисе» требует серьезного планирования и точности. Отношения и события столичной жизни настолько сложны, что «лишь предельная аккуратность в вопросах обещаний и услуг не позволяет всей конструкции рухнуть» [Frisby, Featherstone, 1997, p. 177]. Столичная жизнь была бы невысказима без точного соединения различных видов социальной активности в устойчивом и обезличенном графике. Повсеместное использование наручных и иных видов часов необходимо для того, чтобы договоренности о встречах и совместных поездках были продуктивны и позволяли избегать «непозволительной траты времени» [Ibid., p. 177]. Часовое время функционально необходимо для сложных социальных паттернов и относительно больших расстояний, которые приходилось преодолевать в быстро разрастающихся метрополиях конца XIX и начала XX в.

Но еще большие расстояния преодолевались не внутри, а между городами стремительно индустриализирующихся обществ Западной Европы и Северной Америки. Такое массовое перемещение на большие расстояния оказало решающее влияние на развитие часового времени. Гамст подчеркивает значение железнодорожных поездок и соответствующих трудовых практик на железной дороге для стандартизации часового времени в XIX в. [Gamst, 1993]. Составление графиков встреч теми, кто путешествует между городами, вызвало к жизни потребность в пунктуальности, точности и просчитываемости социальной жизни в широких пределах пространственной протяженности.

Введение регулярного междугороднего сообщения в Англии конца XVIII в. повлекло за собой значительный рост поездок на дальние расстояния. Так, к 1830 г. между Лондоном и Брайтоном ежедневно ходило 48 дилижансов, а время самой поездки сократилось до 4,5 часа [Walvin, 1978, p. 34]. Но лишь с 1830-х годов, когда появилась государственная система трестов по строительству и обслуживанию магистральных дорог, продолжительность поездок по стране существенно сократилась. Однако дилижансы оставались дорогими и неудобными.

В большинстве городов действовало свое время, поэтому охрана дилижансов должна была переводить часы, чтобы привести их в соответствие различным часовым поясам каждого города по пути следования дилижанса.

Проблема темпоральной координации встала еще острее в связи с развитием железных дорог в 1840-х годах. После Железнодорожного акта Гладстона от 1844 г. значительное число выходцев из «рабочих классов» и из более состоятельных слоев общества стали путешествовать на большие расстояния как по делам, так и — все чаще — в увеселительных целях (см. [Urry, 1990, p. 21], а также гл. III наст. изд.). И все же в разных городах, через которые проходила железная дорога, сохранялось разное время. В расписании Большой западной железной дороги 1841 г. содержалось следующее важное примечание: «Лондонское время сохраняется на всех станциях железной дороги, примерно на 4 минуты опережая время Рединга, на 5 минут — время Сиренчестера, на 8 минут — время Чиппенхэма и на 14 минут — время Бриджуотера» (цит. по [Thrift, 1990, p. 122]). Однако отсутствие национального времяисчисления не могло продолжаться долго — и к 1847 г. железнодорожные компании, государственная почта, а также многие большие и мелкие города приняли гринвичское время (Greenwich Mean Time, GMT). Так было установлено национальное стандартное часовое время, дабы могла развиться массовая мобильность Викторианской эпохи.

Как отмечал в 1839 г. один из наблюдателей, железные дороги «сжали» время и пространство. Проложенные по территории всей Англии, они привели бы к тому, что все население «оказалось бы ближе друг к другу на три четверти того времени, которое ныне их разобщает... С отменой расстояний поверхность страны словно бы начала сжиматься, пока не достигла размеров немногим больше одного очень крупного города» (цит. по [Schivelbusch, 1986, p. 34; Harvey, 1996, p. 242–242]). Поэт Гейне описал сходное состояние ужасного предчувствия, охватившее его в момент открытия железнодорожного сообщения между Парижем и Руаном. По его словам, «первичные понятия пространства и времени пошатнулись. Железные дороги убивают пространство» (цит. по [Schivelbusch, 1986, p. 34]).

Во второй половине XIX в. происходит координация времени между европейскими странами, а также между Европой, с одной стороны, и Северной Америкой — с другой. К некоторым

ключевым событиям в развитии мобильности относятся открытие паромного сообщения через Ла-Манш и Атлантический океан; появление международных телеграфных служб; создание системы национального времени с целью координации служб, покрывающих огромные расстояния, на которые раскинулась сеть американских железных дорог; международная конференция 1884 г., на которой среднее время по Гринвичу (GMT) было принято в качестве основы для отсчета времени во всем мире. Эти налагающиеся друг на друга процессы явились порождением стремления к новым формам социальной активности, массовым путешествиям и новым видам коммуникации между людьми, находящимися как внутри своих стран, так и между ними. Нгуен так характеризует глубочайшие последствия введения гринвичского времени и синхронизации часовых поясов всего остального мира:

...постепенно все остальные страны стали перенимать систему часовых поясов, основанную на нулевом меридиане Гринвича, т.е. специфический западный режим времени, который возник вместе с изобретением часов в средневековой Европе, став универсальным стандартом измерения времени. Его гегемонное положение означало необратимое разрушение всех остальных темпоральных режимов в мире, последние следы которых сохраняются лишь в форме исторических и антропологических диковин [Nguyen, 1992, p. 33; Zerubavel, 1988]. (Последними синхронизировались со всем остальным миром Нидерланды лишь в 1940 г.)

Гринвичское время — это математическая фикция, которая одновременно осуществляла и символизировала размывание действительного проживания человеком времени (и пространства). Мировое время было запущено в 1913 г. с разошедшимся по всему миру первым сигналом с Эйфелевой башни.

Часовое время проникло едва ли не во все аспекты социальной жизни, что поистине невероятно. Это означало повсеместную замену кайрологического времени, т.е. того чувства, когда говорят, что *сейчас* пора сделать что-то безотносительно к любым часовым индикаторам [Gault, 1995, p. 155]. Кайрологическое время основано на использовании опыта прошлого для выработки ощущения того, что в какой-то момент будущего должно произойти определенное событие или что пришло время что-то сделать. Образование — один из тех частных примеров социального контекста, в котором кайрологическое время было поч-

ти полностью заменено часовым. Уроки сменяются, люди переходят из одной комнаты в другую, говорят уже на французском, а не на немецком, карты заступают на место компьютеров и т.д., поскольку минутная стрелка передвинулась с 9:59 к 10:00. Адам так описывает исключительное значение часового времени в западном образовании:

Действия и взаимодействия всех его участников происходят под аккомпанемент целой симфонии звонков, колокольчиков, расписаний, графиков и крайних сроков. Эти маркеры времени связывают учеников и преподавателей общим расписанием, внутри которого их соответствующие действия выстраиваются, отмеряются, рассчитываются, располагаются последовательно и в порядке приоритета. Они отделяют и обособляют один вид деятельности от другого, обеспечивая следование постоянному коллективному ритму [Adam, 1995b, p. 61].

Я предлагаю подвести итог этой дискуссии, выписав основные характеристики часового времени.

ЧАСОВОЕ ВРЕМЯ

- Разбиение времени на большое число небольших точно измеримых, неизменных единиц,

- отделение времени от значимых социальных практик и предположительно естественной смены дня и ночи, времен года и этапов жизни на пути к смерти,

- повсеместное использование разнообразных инструментов измерения и отсчета хода времени — наручных и настенных часов, расписаний, календарей, гудков, графиков, устройств со встроенными часами, звонков, крайних сроков, дневников, будильников и т.п.,

- составление точного расписания основных трудовых действий и форм отдыха,

- повсеместное использование времени как независимого ресурса, который может сберегаться и потребляться, использоваться и исчерпываться,

- восприятие времени как управляемого ресурса, а не как вида деятельности или источника смысла,

- научное преобразование времени в математически точные количественные величины, в терминах которых время является обратимым и лишено направленности,

○ внедрение синхронизированной временной дисциплины для школьников, путешественников, наемных работников, заключенных, отпускников и т.д.,

○ синхронизованное измерение жизни на территории многих государств и по всему земному шару,

○ распространение дискурса, сосредоточенного на необходимости сбережения, организации, контроля, регуляции и хронометрирования времени.

Данные характеристики не являются исключительным следствием повсеместного использования часов, ведь таковые в той или иной форме существуют не одно тысячелетие. Часовое время, скорее, может служить подходящей метафорой для «времени Модерна». Во второй половине XIX в. и на протяжении всего XX в. названные характеристики проявляются более или менее одновременно, преобразуя природный и социальный миры [Adam, 1990, 1995b, 1998; Nowotny, 1994; Luhmann, 1982; Луман, 2006; Rifkin, 1987; Lash and Urry, 1994, ch. 9]. Адам отмечает: «Ни подсчет, ни измерение времени... не определяют специфической природы индустриального [или современного] времени. Скорее, последнее является временем, оторванным от своих естественных корней; независимое, деконтекстуализированное, рационализированное время. Это время, едва ли не бесконечно делимое на равные пространственные единицы... и принимаемое за время *per se*» [Adam, 1995b, p. 27].

Лефевр обобщает результаты этого победного шествия часового времени через общество и природу [Lefebvre, 1991, p. 95–96]. Он утверждает, что жизненное время, которое мы ощущаем в природной среде и благодаря природе, постепенно исчезает. Время уже не является чем-то видимым и вписанным в пространство. Его место заняли измерительные инструменты, часы, отделенные от природной и социальной среды. Время стало ресурсом, отличным от социального пространства. Оно стало объектом потребления, использования и исчерпания. В эпоху господства «часового времени» жизненное (и кайрологическое) время вытесняется. Лефевр описывает эту меняющуюся природу времени через метафоры. В досовременных обществах жизненное время зашифровывалось в пространстве как в стволе дерева, чьи годовые кольца говорят о возрасте. В современных же обществах время поглощается городом, поэтому жизненное время исчезает или сводится к методам его измерения. Жизненное время «было убито обществом» [Ibid., p. 96].

Вместе с тем названное различие часового и жизненного времени необходимо уточнить и разработать несколько глубже. Для этого я обращусь к предложенному философией времени различению временных рядов *A* и *B* [McTaggart, 1927]. Пока я описывал лишь *B*-ряды, выводимые из аристотелевского понимания времени в координатах «до и после». Данная трактовка предполагает, что события отделены друг от друга и выстроены вереницей в четвертом измерении (времени) таким образом, что каждое из них может быть локализовано как либо предшествующее, либо следующее за другим [Gell, 1992; Ingold, 1993b; Osborne, 1994]. Каждое событие *B*-ряда рассматривается отдельно и никогда не меняет своего отношения к другим событиям. Время здесь оказывается бесконечной последовательностью тождественных мгновений, каждое из которых может быть идентифицировано как произошедшее «до» или «после» другого. Таким образом, событие *y*, имевшее место после *x*, следует за *x* сейчас и будет после *x* всегда, что бы ни случилось. То есть утверждения о событиях такого рода истинны (или ложны) безотносительно ко времени. Многие исследователи полагали, что физический мир можно рассматривать сквозь призму того, что Беньямин называет «пустой гомогенностью» времени *B*-ряда (примерно близкое к часовому, см. [Benjamin, 1969; Беньямин, 2000]).

Последнее отличается от времени *A*-ряда, времени в августиновском понимании, отмеченном отношениями «прошлого-к-настоящему-к-будущему». Здесь прошлые события частично остаются в настоящем, а затем переносятся в будущее. Настоящее при этом рассматривается не как мгновение, но как нечто, обладающее протяженностью. И Гуссерль, и Бергсон показывают, что жизненное настоящее является длящимся. Прошрое не просто осталось где-то позади, но присутствует в настоящем и воплощает в себе некоторые ожидания будущего через известную хайдеггеровскую формулу предчувствия смерти как трансцендентального горизонта человеческой темпоральности [Osborne, 1994]. В *A*-ряде события могут быть дифференцированы в зависимости от своей принадлежности прошлому, настоящему или будущему; т.е. время зависит от контекста. Многие авторы исследовали различные аспекты *A*-ряда.

Одним из тех, кто использовал последовательно «темпоральный» подход, был Джордж Герберт Мид [Mead, 1959]. Вместо того чтобы видеть во времени лишь некую абстрактную рамку,

Мид исследовал то, каким образом время оказывается встроенным в действия, события и роли. Абстрактное время часов и календарей, т.е. время В-ряда, Мид считал не более чем «манерой речи». «Реальным» для него было лишь настоящее, вот почему его главная работа о времени называется «Философия настоящего». По его словам, «реальность существует только в настоящем» [Mead, 1959, p. 33]. То, что мы считаем прошлым, обязательно восстанавливается в настоящем, в нем каждый момент прошлого воссоздается заново. Поэтому не существует «прошлого», оставшегося где-то там или позади. Есть лишь настоящее, в контексте которого прошлое постоянно воссоздается. У него нет иного статуса, кроме как в свете рождающегося настоящего. Именно это рождение преобразует прошлое и придает смысл и направленность будущему. Это рождение становится возможным благодаря взаимодействию людей со средой, в то время как самого человека Мид признает в качестве неотделимой части природы. Это рождение всегда превосходит те события, которые его вызывают. Кроме того, реальным считается лишь настоящее, тогда как прошлое и будущее являются идеационными или «гипотетическими». Единственным инструментом их постижения является разум.

Хайдеггер также стремился продемонстрировать неизменно темпоральный характер человеческого существования. В книге «Бытие и время» он подчеркивает, что философия должна вернуться к вопросу бытия, которое было вытеснено на второй план западным увлечением эпистемологией [Heidegger, 1962; Хайдеггер, 2011]. Центральным элементом хайдеггеровской онтологии бытия выступала онтология времени, выражающая природу человеческой субъективности. Человеческие существа темпоральны в своей основе, в темпоральности они обретают собственный смысл. Бытие проявляется посредством своего темпорального характера, в особенности факта движения от рождения к смерти. Движение к смерти следует рассматривать не в качестве некоей внешней границы, но как то, что полностью пронизывает бытие человека. Рождение и смерть неразрывно связаны, образуя единство. «Dasein» — это то, что «между» ними. Бытие с необходимостью предполагает движение между рождением и смертью, взаимную обращенность и открытость будущего, прошлого и настоящего. Разумеется, природу времени не следует смешивать со способами его измерения, с ин-

тервалами или мгновениями. По словам Хайдеггера, измеримое пространство-время было навязано западному пониманию бытия и времени. Феминистская критика заявляла, что хайдеггеровское понятие «бытия к смерти» утверждает маскулинный подход ко времени, который настаивает на неизбежности движения к смерти. Такой взгляд якобы исключает женскую заботу о рождении, несомненный времяпорождающий потенциал воспроизводства, а также необходимость сохранять среду для будущих поколений, «детей наших детей» (см. [Adam, 1995b, p. 94]).

Теперь я обращусь к двум авторам, занимавшим позицию, близкую хайдеггеровской, но стремившимся соединить собственный анализ с исследованием пространства. Бергсон различает время (*temps*) и длительность (*durée*), понимая первое как время количественное и делимое на пространственные единицы (вышеупомянутый *B*-ряд); [Bergson, 1950; 1991; Бергсон, 2010; 2001]. Однако Бергсон выступает против такого пространственного представления времени и, напротив, утверждает, что именно *durée*, или жизненная длительность, является целиком и полностью «темпоральной». *Durée*, или время как таковое, является временем становления. Людей следует мыслить во времени, а не считать время неким отдельным элементом или внешним свойством. Время предполагает «просачивание» предположительно обособленных моментов прошлого, настоящего и будущего — каждый из них перетекает в другой, в то время как прошлое и будущее создаются в настоящем.

Время, кроме того, неразрывно связано с телом. Люди не столько мыслят реальное время, сколько проживают его на чувственном и качественном уровне. Бергсон утверждает, что память человека не следует считать неким ящиком или складом, поскольку подобные представления исходят из некорректной концептуализации времени как чего-то пространственного. Время не «пространственно». Поэтому память не может быть простым воспроизведением прошлого, оно, скорее, должно восприниматься как нечто темпоральное. Оно представляет собой наслаивание одного прошлого на другое таким образом, что ни один его элемент не присутствует в неизменном виде, но трансформируется по мере накопления новых.

«Социологический» отклик на тезис Бергсона обнаруживается в исследовании коллективной памяти Хальбвакса [Halbwachs, 1992]. Он обращает особое внимание на социальные,

мемориальные и праздничные институты, посредством которых прошлое сохраняется и интерпретируется для настоящего и особенно для текущего поколения (в целом о том, как общества вспоминают прошлое, см. [Connerton, 1989]). Гурвич же выступает с более резким заявлением о провале попытки Бергсона создать теорию, которая проясняла бы множественность времен, выводимую из категорий бергсоновского анализа [Gurvitch, 1964, p. 21–24; 1971]. Два вида времени представляют для нас здесь особый интерес. Первое — это «взрывное время», время, в котором прошлое и настоящее разрушаются в момент сотворения непосредственно наступающего будущего. Акцент при этом ставится на разрыве и случайности, на том, что я называю мгновенным временем. Второе — «длящееся время», время медленного развертывания большой длительности. Наиболее отдаленное прошлое проецируется на настоящее и будущее. Гурвич называет такое время экологическим и связывает его с тем, что в следующей главе я назову ледниковым временем [Gurvitch, 1964, p. 31–33].

Предложенная Бергсоном критика «пространственной» концепции памяти как «ящика» отдает времени приоритет над пространством и рассматривает последнее в качестве чего-то абстрактного и количественного [Game, 1995; Gurvitch, 1964]. Однако бергсоновская теория длительности в некотором смысле повисает в воздухе, не принимая во внимание качественную природу пространства. Башляр пытается решить эту проблему бергсонизма путем разработки концепции качественного и гетерогенного, а не абстрактного, пустого и статичного пространства [Bachelard, 1969; Башляр, 2004]. Башляр стремится соединить такое понимание пространства с бергсоновской концепцией времени в широком смысле. Он полагает, что представление о качественном, чувственном, жизненном пространстве должно стать центральным элементом бергсоновского времени. В его аргументе есть три составляющих.

Во-первых, Башляр утверждает, что феноменология занимается опытом образа в его «откликах», а не его визуальным воздействием. Поэтому он использует акустическую, а не визуальную метафору, обращаясь к идее звуковой волны. Такое понимание отзвука указывает на движение между субъектом и объектом, которое разрушает их четкое различие. Метафора предполагает непосредственность отношения субъекта и объ-

екта, которой лишено визуальное присвоение памяти. Башляр называет свою работу онтологией «отклика» [Bachelard, 1969, p. xvi; Башляр, 2004, с. 8] (о чувстве слуха см. гл. IV наст. изд.).

Во-вторых, Башляр отдельно останавливается на вопросе о природе «дома» и утверждает, что его не следует воспринимать в качестве сугубо физического объекта. Ведь помимо всего прочего дом — это то место, где могут разыгрываться грезы и ничем не сдерживаемое воображение [Ibid., p. 6; Там же, с. 11]. Дом — это также метафора интимности. Дома находятся внутри нас, а мы, в свою очередь, — в них. Различные пространства, такие как дом, где ты родился, испещрены следами памяти. И это чувство принадлежности производно от материальности каждого конкретного места. Хезерингтон так передает позицию Башляра: «Запах простыней в шкафу, крутизна подвальной лестницы, лоскут краски, от скуки оторванный в детстве от подоконника, — все это становится материальной субстанцией, из которой состоят наши воспоминания... Проживать... значит через грезы и память приносить из прошлого то, что давно было забыто, и жить среди откликов этой воссозданной интимности» [Hetherington, 1995, p. 18].

Башляр, кроме того, утверждает, что от такого рода пространственной специфичности зависит сама длительность времени, ставшая центральной проблемой для Бергсона. Пространство необходимо для наделения времени качеством. Или, как формулирует ту же мысль Гейм: «Пространство преобразует время таким образом, что делает память возможной» [Game, 1995, p. 201]. Такое пространство, как дом, играет особо заметную роль в формировании и поддержании памяти. Оно хранит в себе грезы. Это метафорическое пространство, внутри которого действует бергсоновское время.

В-третьих, Башляр вводит понятие памяти, предполагающее неперенное телесное воплощение. В частности, наши тела навсегда сохраняют воспоминания о первом доме, в котором мы жили. Отношения между телом и этим первым домом Башляр называет «пристрастной связью» [Bachelard, 1969, p. 15]. Его характеристики физически вписаны в нас. Воспоминания локализованы материально, поэтому темпоральность памяти, по Башляру, является пространственно укорененной. Он придает темпоральности памяти пространственные свойства. Дома проживаются телом и его воспоминаниями [Game, 1995, p. 202–203].

Без жизненного пространства жизненное время длительности было бы невозможным.

Эта убедительная цепочка аргументов, стирающих границы между временем и пространством, социальным и телесным, между прошлым, настоящим и будущим, в основном будет анализироваться в следующей главе. Проблема подобных формулировок в том, что они относятся к весьма ограниченному числу социальных практик — посещению дома, детству, грезам наяву. Я попытаюсь развить эти понятия применительно к гораздо более широкому набору социальных практик и в особенности к мощнейшим глобальным сетям и потокам, которые распространяют социальную жизнь на гигантские промежутки пространства и времени.

В следующем параграфе я обращаюсь к одной из такого рода совокупностей влиятельных социальных практик, а именно к физическим наукам, а затем — к различным технологиям, которые реорганизуют наш опыт *durée* и особенно опыт прошлого-настоящего-будущего в направлении поразительного «безвременья». Философские выкладки, представленные в нем, остаются чрезвычайно нормативны и в полной мере не отражают исключительную силу меняющихся времен и форм их институционального воплощения.

ПРИРОДНОЕ ВРЕМЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Социологи настаивают на радикальном различии социального и природного времени. Однако то, что они признают временем специфически социальным, в действительности характеризует природу в целом. То же, что социологи и феноменологи времени считали исключительно «человеческими» аспектами времени, на самом деле вполне описывается физическими науками. Адам утверждает, что «прошлое, настоящее и будущее, историческое время, качественное проживание времени, разбивка “недифференцируемых изменений” на отдельные эпизоды — все это принимается в качестве неотъемлемых свойств времени как предмета изучения естественных наук» [Adam, 1990, p. 150]. Более того, «часовое время, инвариантная величина, замкнутый круг, идеальная симметрия и обратимое время являются нашими творениями» [Ibid.]. По сути, единственный компонент, который невозможно встретить в природе, — это часовое время, являющееся сугубо

человеческим изобретением. Однако именно оно было принято социологами в качестве характерной черты природного времени, поскольку последнее было исторически отделено от времени социального [Elias, 1992]. Таким образом, социология работала с концепцией времени, не применимой к естественным наукам, т.е. практически с нетемпоральным временем, которое можно называть ньютонианским или картезианским.

Ньютонианское оно потому, что основано на понятии абсолютного времени, которое «в силу собственной природы течет равномерно, безотносительно к чему-либо вечному... неподвластный изменениям поток абсолютного времени» (цит. по [Adam, 1990, 50], см. также [Coveney, Highfield, 1990, p. 29–31]). Такое абсолютное время является инвариантным, бесконечно делимым на отрезки, подобные пространственным, измеримым по длине, численно выражаемым и обратимым. По существу, это время, рассматриваемое в качестве пространства, которое состоит из постоянного количества измеримых отрезков, что позволяет двигаться вдоль него — как вперед, *так и* назад. В то же время это картезианское пространство, поскольку оно основано на дуализмах разума и тела, повтора и процесса, количества и качества, формы и содержания, субъекта и объекта и т.д.

Однако наука XX столетия изменила наше понимание природного времени. Оно больше не является исключительно ньютонианским или картезианским [Coveney, Highfield, 1990]. Как утверждает Хокинг:

Пространство и время обрели статус динамических сущностей. Когда перемещаются тела или действуют силы, они вызывают искривление пространства и времени, а структура пространства-времени, в свою очередь, сказывается на движении тел и действии сил [Hawking, 1988, p. 33; Хокинг, 2006, с. 57].

Социальные науки не заметили этой трансформации времени в науках «естественных». Лишь немногие последовали за утверждением Элиаса о том, что продумывание времени позволяет понять, насколько «природа, общество и индивидуумы встроены друг в друга и зависят друг от друга» [Elias, 1992, p. 16]. Многие из поразительных открытий естественных наук XX в., таким образом, в буквальном или метафорическом смысле прошли мимо наук социальных, продолжающих оперировать опровергнутыми представлениями о времени.

Понимание природного времени в XX в. было перевернуто благодаря множеству научных «открытий» [Adam, 1990; 1998; Rifkin, 1987; Hawking, 1988; Хокинг, 2006; Coveney, Highfield, 1990; Prigogine, 1980; Пригожин, 2006; Casti, 1994; Prigogine, Stengers, 1984; Пригожин, Стенгерс, 1986]. Вначале Эйнштейн (в возрасте 26 лет!) доказал отсутствие неизменного или абсолютного времени, не зависящего от системы отсчета. Следовательно, время, или *Eigenzeit*, является локальным, внутренним свойством любой системы наблюдения или измерения. В дальнейшем Эйнштейн продемонстрировал, что время и пространство не отделены друг от друга, а слиты в четырехмерное пространство-время, искривляемое под воздействием массы. Среди других следствий этой теории — возможность того, что прошлое догонит будущее, путешествия во времени сквозь «кротовые норы», а также невероятное искривление пространства-времени, предположительно повлекшее за собой единовременное событие, которое лежало в основе образования Вселенной.

Квантовая теория стала дополнительным аргументом против традиционных понятий причины и следствия. Специалисты по квантовой физике описывают виртуальное состояние, в котором электроны словно бы оценивают за одно мгновение все возможные варианты будущего, прежде чем занять свое место в определенной структуре. Квантовые события имеют загадочную мгновенную природу. Понятие причины и следствия неприменимо к такому неделимому микроскопическому целому. Положение и момент движения любого электрона не могут быть определены с точностью. Взаимоотношения и взаимодействия частей в действительности более фундаментальны, чем сами части. Бом называет это танцем без танцоров.

Как показывают исследования хронобиологов, опытом времени обладают не только человеческие общества и не только они организуют свою жизнь во времени. Цикличность, как было доказано, является ключевым принципом природы — как для отдельного организма, так и во взаимодействии организма со средой. Люди и животные не просто испытывают влияние часового времени, но сами являются часами. Все растения и животные, по-видимому, обладают системой времени, которая регулирует их внутренние функции в соответствии с суточным циклом. Недавние исследования позволили обнаружить гены, ответственные за хронометрирование. Биологическое время не

исчерпывается старением, а выражает темпоральную, динамическую, циклическую природу биологических организмов. Изменения в живой природе включают понятия становления и ритмичности.

С точки зрения термодинамики существует необратимый поток времени. В отличие от классической физики с ее временной симметрией и обратимостью времени, здесь присутствует строгое различие прошлого и будущего. Термодинамика больше соответствует *A*-ряду, чем *B*-ряду времени. Наличие стрелы времени связано с тем, что все системы демонстрируют утрату организации и рост случайности или беспорядка во времени. Такое накопление беспорядка называют положительной энтропией, которая следует из так называемого второго закона термодинамики; отрицательная энтропия влечет температурное неравновесие, характеризуемое эволюционным ростом и увеличением сложности [Reed, Harvey, 1992; Cilliers, 1998, p. 8]. Все энергетические трансформации необратимы и обладают направленностью.

Наиболее чистым примером необратимости может служить процесс расширения Вселенной по космологической стреле времени, запущенной сингулярным историческим событием, Большим взрывом. Существует множество более приземленных примеров необратимости в природе: кофе всегда остывает, организмы всегда стареют, весна следует за зимой и т.д. Обращение вспять невозможно, не бывает обратного поглощения тепла, возвращения юности, весна не может предшествовать зиме и т.д. Законы природы историчны, они предполагают существование Прошлого, Настоящего и Будущего. Как утверждал Эддингтон, «самое поразительное во времени то, что оно продолжается» (цит. по [Coveney, Highfield, 1990, p. 83]); тогда как «необратимость есть тот механизм, который создает порядок из хаоса» (см. [Prigogine, Stengers, 1984, p. 292; Пригожин, Стенгерс, 1986, с. 363], см. также гл. VIII наст. изд.).

Теории сложности и хаоса требуют отбросить простые дихотомии порядка и беспорядка, бытия и становления. Физические системы, по-видимому, не демонстрируют и не поддерживают структурной стабильности. Общепринятое представление о том, что небольшие изменения причин приводят к небольшим изменениям последствий, ошибочно. Имеет место, скорее, детерминистский хаос, динамическое становление и нелинейные

изменения свойств систем как целого, а не трансформации отдельных их компонентов. Время, с этой точки зрения, крайне дискретно, а исследование направлено на многочисленные неравновесные ситуации, в которых изменения параметров во времени влекут за собой внезапные и непредсказуемые последствия. За вполне детерминистским набором правил могут следовать непредсказуемые, но все же определенным образом упорядоченные результаты. Классическим примером является знаменитый эффект бабочки, когда ничтожные изменения в одном месте производят — в специфических обстоятельствах — грандиозные погодные изменения в другом. Для таких сложных систем характерны контринтуитивные последствия, которые происходят удаленно в пространстве и во времени от того места и момента, где и когда имело место событие, предположительно их породившее. Теория сложности делает акцент на том, как сложные контуры обратной связи усиливают исходные воздействия на систему, что не позволяет ей просто поглощать внешние шоки, восстанавливая начальное равновесие. В отсутствие центральной иерархической структуры между частями системы происходят энергичные взаимодействия.

Возникновение определенного паттерна в общем беспорядке связано с так называемыми странными аттракторами, которые создают подобные паттерны посредством тысяч или миллионов итераций. Названные аттракторы, порождающие определенные следствия, чрезвычайно чувствительны к небольшим изменениям исходных условий; некий упорядоченный беспорядок устанавливается в процессе вновь и вновь происходящих итераций. Одним из таких упорядоченных беспорядков является беспорядок фракталов, на материале которых Мандельброт продемонстрировал геометрию самоподобия, — иррегулярных, но демонстрирующих причудливое сходство форм, обнаруживаемых во фрагментированных явлениях самого разного масштаба. Фракталы также показывают, что измерение неотделимо от системы измерения, как стало ясно на примере невозможности окончательного установления длины береговой линии Британии.

Помимо всего прочего теория сложности рассматривает системы в качестве диссипативных (рассеянных) структур, термодинамически открытых и способных поглощать большие объемы энергии из внешней среды и конвертировать их в рост структурной сложности [Reed, Harvey, 1992, p. 360–362]. Одно-

временно эти системы рассеивают в среде значительные объемы остаточного тепла. Процессы такого рода необратимы. Вместе с тем подобные диссипативные системы достигают точек бифуркации, в которых их поведение и будущие траектории становятся непредсказуемыми. В результате возникают новые структуры высшего порядка и сложности. Таким образом, диссипативные структуры предполагают нелинейность, текучесть времени, нераздельность систем и их сред, а также возможность аутопойетического воспроизводства нового порядка [Capra, 1996, p. 187; Капра, 2002, с. 85].

Сравнительно небольшое число специалистов в области социальных наук (или социальной философии) использовали эти концепции в своих теориях или исследованиях [Hayles, 1991; Reed, Harvey, 1992; Baker, 1993; Francis, 1993; Zohar, Marshall, 1994; Luhmann, 1995; Луман, 2007; Mingers, 1995; Keil, Elliott, 1996; Eve et al., 1997; Byrne, 1998; Cilliers, 1998]. Так, Зохар и Маршалл разрабатывают концепцию *квантового общества* [Zohar, Marshall, 1994]. Они описывают крах старых представлений классической физики, основанной на устойчивых категориях абсолютного пространства и времени, твердой непроницаемой материи, состоящей из сталкивающихся «бильярдных шаров», и на строго детерминистских законах движения. Им на смену пришел «странный мир квантовой физики, индетерминистский мир, едва ли не зловещие законы которого стирают границы пространства, времени и материи» [Ibid., p. 33]. Помимо всего прочего они проводят аналогию между корпускулярно-волновым эффектом и новыми характеристиками социальной жизни: «Квантовая реальность... обладает потенциалом частицы и волны. Частицы индивидуальны, локализованы и измеримы в пространстве и во времени. Они здесь или там, сейчас или потом. Волны «нелокальны», они рассредоточены по всему пространству и времени, и их мгновенное воздействие ощущается повсюду. Волны распространяются во всех направлениях сразу, они накладываются друг на друга и образуют новые волны, формирующие новые реальности (новые рождающиеся целостности)» [Ibid., p. 326]. В этой книге я предлагаю во многом сходный анализ различных глобальных «волн», которые, по-видимому, и создают «новые рождающиеся целостности» (об «обществах как перипатетических, испытывающих собственные границы образованиях» см. [Reed, Harvey, 1992, p. 366]). Но в то же время су-

ществует бесчисленное множество индивидуальных частиц, т.е. людей и социальных групп, которые решительно «локализованы и измеримы в пространстве и во времени».

Келли намеренно возвращает сложность к метафоре сети, которую я рассматривал во второй главе. По его мнению, атом в физике воплощает собой прошлое, поскольку «символом науки следующего столетия является динамическая сеть» [Kelly, 1995, p. 25]. Эта сеть «канализирует беспорядочную силу сложности», поскольку является единственной структурой, способной охватить «действительное разнообразие во всей его целостности» [Kelly, 1995, p. 26; Castells, 1996, p. 61; Cilliers, 1998, p. 129]. Подобные представления о самосозидающейся аутопойетической системе получили распространение в недавних исследованиях Всемирной паутины. Плант утверждает:

Она не явилась порождением какого-то центрального узла или системы управления... Для ее работы не было установлено никакого специального оборудования, она просто стала использовать уже существующие компьютеры, сети, коммутационные узлы, телефонные линии. Это была одна из первых систем, представляющих собой множественную, надстраивающуюся, фрагментарную, самоорганизующуюся сеть... возникшую, по всей видимости, вне какого-либо централизованного управления [Plant, 1997, p. 49].

Итак, к основным характеристикам такого рода «сложных» систем можно отнести следующие:

- огромное множество элементов, которые делают формальные способы репрезентации неприменимыми,

- эти элементы взаимодействуют во времени физически и информационно,

- сами такого рода взаимодействия весьма содержательны, нелинейны и основаны на информации, распространяющейся в сравнительно ограниченных пределах,

- сложные системы предполагают наличие положительных и отрицательных контуров обратной связи,

- они диссипативно взаимодействуют со своей средой,

- они действуют в условиях, далеких от равновесных, отчасти потому, что каждый элемент реагирует лишь на «локальные» источники информации,

- они обладают историей, необратимо развивающейся во времени, в которой их прошлое разделяет ответственность за их будущее.

В целом, однако, социальные науки продолжают руководствоваться некорректными представлениями о том, как время понимается в науках естественных. Социологи пренебрегают «научными» понятиями, которые могли бы оказаться полезными в рамках преобразованной социологии, пытающейся преодолеть разрыв между физическим и социальным мирами. В конце концов, Конт описывал социологию как «социальную физику», но раз так, необходимо использовать физику XX, а не XVII столетия. Вместе с тем из этого не следует, что модели времени, разработанные в естественных науках, нужно просто перенести в социальные науки. Сегодня мы гораздо полнее осознаем сложную связь между моделями и эмпирическими явлениями. Прямое заимствование моделей явлений, разработанных в разных исследовательских областях, приводит к непредвиденным «хаотическим» последствиям. Однако, учитывая неизбежно метафорическую природу социальной науки, мы должны рассмотреть вопрос, могут ли те или иные новые научные теории предложить продуктивные метафоры для понимания мобильности и времени в социальной жизни — метафоры, способные заменить представления о механистическом, линейном, симметричном часовом времени. Я коснусь двух из них. В шестой главе будет разрабатываться метафора медленного движения и осадочного ледникового времени, близкого к понятию диссипативной структуры, погруженной в свою среду. А в следующем параграфе данной главы я обращусь к метафоре мгновенного времени, т.е. времени, характеризуемого непредсказуемым изменением и квантовой одновременностью.

МГНОВЕННОЕ ВРЕМЯ

Как мы видели, квантовая механика использует понятие мгновенного (или синхронного) времени. Может ли оно служить продуктивной метафорой в социологии времени? В досовременных обществах преобладающими были метафоры животных, а также различных видов сельскохозяйственных работ (многие из них действуют и сегодня). В обществах Нового времени господствующими стали метафоры часов, разнообразных механизмов и фотообъектива. Продуктивной же метафорой для обществ постмодерна может выступать голограмма. Голография основана на не-последовательности, связи индивидуального с целым и

сложности. Информация не локализуется в какой-то отдельной части голограммы. Скорее, любая часть содержит, подразумевает и отражает информацию целого, что порождает, словами Бома, «неявный порядок» [Baker, 1993, p. 142]. Голограмма означает «запись целого». Поэтому «в фокусе здесь находятся не индивидуальные, пребывающие в движении частицы, последовательно перемещающиеся в пространстве и времени, а вся синхронно собираемая информация» [Adam, 1990, p. 159]. К голограмме неприменим язык причин и следствий, поскольку связи являются одновременными и мгновенными. Все следует из всего, поэтому нет смысла анализировать отдельные, пусть и взаимозависимые, «части» любой подобной системы. Здесь есть некоторое сходство со вновь вошедшими в моду взглядами Лейбница, в монадологической метафизике которого каждая монада отражает целое, хотя и в своей частной перспективе [Harvey D., 1996, p. 69–70].

Голограмму можно сравнить с метафорой объектива фотокамеры, приобретшей большое значение в «современной» эпистемологии и эстетике. Объектив позволяет установить точное соответствие между каждой точкой объекта и изображения, создаваемого на пластине или пленке. Метафора объектива предполагает последовательность, разделение частей и целого, а также относительно протяженный в категориях часового времени процесс производства изображения. Здесь эта метафора оказывается бесполезной.

Теперь я перейду к последним изменениям во взаимосвязи между временем, пространством и технологиями, которые служат теоретическими и материальными основаниями мгновенного времени. Харви стремился показать, как капитализм устанавливает разные «пространственные привязки» в разные исторические периоды [Harvey, 1989]. Пространство каждой капиталистической эпохи организовано так, чтобы способствовать росту производительности, воспроизводству рабочей силы и максимизации прибыли. Именно благодаря реорганизации пространства-времени капитализм преодолевает кризисные периоды и закладывает фундамент нового этапа накопления капитала и дальнейшей трансформации пространства и природы во времени.

Харви исследует тезис Маркса об уничтожении пространства временем и пытается использовать его в объяснении сложного перехода от «фордизма» к гибкому накоплению эпохи «постфор-

дизма». Последний требует новой пространственной привязки, а также совершенно новых способов репрезентации пространства и времени. Ключевое значение имеет «сжатие пространства и времени» как в человеческих, так и в физических практиках и процессах. Этот момент можно проиллюстрировать отношением к телесной мобильности. В XVIII в. пешее путешествие от Восточного к Западному побережью США требовало двух лет; четырех месяцев в почтовом дилижансе в XIX в.; к началу XX в. то же путешествие, но уже железнодорожное занимало четыре дня; к концу же XX в. авиаперелет в том же направлении — менее четырех часов [Giddens, 1984, p. 231]. Харви показывает, что такие изменения могут порождать чувство беспокойства, связанное, как я ранее говорил, с тем, как железная дорога преобразила сельскую местность. Джордж Элиот, Диккенс, Гейне, Бодлер, Флобер и многие другие предпринимали попытки осмысления новых способов проживания пространства и времени, трансформацию самой «структуры чувствования», обусловленной стремительно меняющимся типом мобильности [Thrift, 1996]. В результате, по мнению Харви, пространство и время буквально *сжались*:

...мы принуждены изменить... наши формы представления о мире, которыми пользуемся... Кажется, что пространство сжимается до «глобальной деревни» телекоммуникаций и «космического корабля Земли», функционирующих в системе экономических и экологических взаимозависимостей... в то время как временной горизонт укорачивается до точки, в которой есть все настоящее... поэтому мы должны научиться справляться с охватывающим нас чувством *сжатия* наших пространственных и временных миров [Harvey, 1989, p. 240].

Наблюдается ускорение времени производства, а также скорости изменения и сиюминутности моды. Товары, места и люди стремительно входят и выходят из моды, в то время как те же самые товары приобретают мгновенную доступность почти везде, по крайней мере на Западе. Временные горизонты для принятия решений радикально сужаются, измеряясь минутами на международных финансовых рынках. Значительно возросла скорость монетарных и иных транзакций [Castells, 1996, p. 434; Leyshon, Thrift, 1997]. Товары, отношения и контракты становятся все более временными в силу краткосрочности и упадка «культуры ожидания». Растет производство и передача быстро меняющих-

ся медийных образов, увеличивается доступность технологий, позволяющих симулировать процесс строительства или создания виртуальных образов физических ландшафтов разных мест и эпох. Новые информационные и коммуникационные технологии мгновенно преодолевают пространство со скоростью наносекунды. Примечательно, что еще в 1950 г. Хайдеггер предвидел многие черты такого ускорения социальной жизни. Он говорил о «сжатии» временных и пространственных дистанций, о важности «мгновенной информации», передаваемой по радио, а также о том, как телевидение упраздняет расстояния и соответственно «раз-отдаляет» вещи и людей (см. [Zimmerman, 1990, p. 151, 209], а также гл. III наст. изд.).

Вместе с тем эти радикальные способы сжатия пространства и времени, производимого в целях запуска нового витка накопления капитала, не означают неизбежной утраты значения отдельных мест. Разумеется, вследствие названной «созидательно-разрушительной» силы капитала такая судьба постигнет некоторые из них. Однако в целом люди, похоже, стали более чувствительны к тому, что находится в различных уголках мира, или к символическому значению последних. Наблюдается настоящее стремление к поиску корней

...во все более неприютном мире ускоряющихся потоков образов. Кто мы и к какому пространству/месту принадлежим? Являюсь я гражданином мира, нации или микросообщества? Возможно ли виртуальное существование в киберпространстве..? [Harvey D., 1996, p. 246].

Таким образом, чем менее значимы временные и пространственные барьеры, тем выше чувствительность мобильного капитала, мигрантов, туристов, людей, беженцев к различиям мест и тем интенсивнее отдельные места различаются способом привлечения миграции большинства потоков, описанных во второй главе [Harvey D., 1989, p. 295–196; 1996, p. 246].

Кастельс исследует некоторые из наиболее отчетливых взаимосвязей между информацией и временем в сетевом обществе [Castells, 1996]. К важнейшим чертам «информационного общества», формирующегося в Северной Америке с 1970-х годов, относятся: повсеместное распространение новых технологий, обусловленное проникновением информации практически во все формы человеческих практик; превращение битов передавае-

мой в электронном виде информации в основные структурные элементы; сложные, темпорально непредсказуемые паттерны информационного развития; организация технологий посредством гибко меняющихся и слабо структурированных сетей; постепенное слияние различных технологий (в особенности некогда обособленных биологических и микроэлектронных) в интегрированные информационные системы; проникновение подобных систем в организации с целью обеспечения их функционирования в реальном времени «в планетарном масштабе»; обеспечение материальной поддержки пространства потоков за счет мгновенных электронных импульсов (об истории данных технологий см. [Castells, 1996, ch. 1]). Подобная электронная информация порождает «безвременное» время. Свобода капитала от времени и ускользание культуры из-под власти часов в равной мере определены новыми информационными технологиями.

Итак, новейшие технологии и социальные практики основаны на временных интервалах, лежащих за пределами сознательного человеческого опыта. И если телекс, телефоны и факсы сократили время человеческого отклика с месяцев, недель и дней до считанных секунд, то компьютер сжал его до наносекунд, до событий продолжительностью в миллиардную долю секунды [Adam, 1990, p. 140; Rifkin, 1987; Negroponte, 1995]. Никогда раньше время не измерялось скоростью, выходящей за пределы возможностей человеческого сознания. Компьютеры принимают решения за наносекунды. Как следствие

события, обрабатываемые в мире компьютеров, существуют в той временной области, которую мы никогда не сможем испытать на собственном опыте. Новый «компьютемп» представляет собой предельную абстракцию времени, его окончательное отделение от человеческого опыта и природных ритмов [Rifkin, 1987, p. 15].

Мгновенное время возникает из того, что Негропонтэ описывает как сдвиг от атома к биту, ведь вся информационная, цифровая эпоха «завязана на глобальное перемещение невесомых битов со скоростью света» [Negroponte, 1995, p. 12]. Информация может стать мгновенно и одновременно доступной практически, хотя и не до конца, повсеместно.

Термин «мгновенное время» я использую для того, чтобы, во-первых, описать новые информационные и коммуникационные технологии, основанные на невообразимо кратких мгновениях,

лежащих за пределами человеческого восприятия; во-вторых, чтобы указать на синхронный характер социальных и технических взаимодействий, которые замещают линейную логику часового времени, характеризуемую разделением во времени причин и следствий, возникающих в отдельные, измеримые промежутки времени; и в-третьих, чтобы предложить метафору для общей значимости исключительно краткосрочного и фрагментированного времени, даже если буквально оно таковым не является.

Перейдем к последней из указанных характеристик, мгновенности как метафоре. Во-первых, здесь имеет место эффект *коллажа*, состоящий в том, что раз события стали важнее местоположения, их отображение в медиа принимает форму совмещения историй и сообщений, которые не объединяет ничего, кроме их «новостийности» [Giddens, 1991, p. 26]. Истории из разных мест и сред происходят в непосредственной близости друг от друга в зачастую беспорядочной и произвольной последовательности, позволяя абстрагировать события от контекста и изложения фактов. Восприятие новостей становится поэтому путанным в темпоральном и пространственном отношении коллажем, создаваемым на основе непосредственно доступных и мгновенно совмещаемых историй.

Во-вторых, такой опосредованный опыт предполагает «внедрение далеких событий в повседневное сознание» [Ibid., p. 27]. События, часто трагические, переносятся в обыденную жизнь людей. Происходит сжатие пространства-времени, поскольку комбинация не связанных друг с другом историй о голоде, засухах, убийствах, ядерных катастрофах и т.п. вторгается и формирует обычную жизнь. Имеет место производство «глобального настоящего», в котором люди будто бы мгновенно «переносятся» от одной трагедии к другой, причем сам этот процесс им неподконтролен. Все это можно назвать миром «мгновенной повсеместности» [Morley, Robins, 1995, p. 131]. Мир выглядит крайне рискованным и далеким от малейшей возможности хоть какого-то понимания разворачивающихся во времени процессов, которые приводят к достойным упоминания в новостях, рутинно освещаемым трагедиям. Сжатие времени-пространства усиливает ощущение, что мы обитаем в мире серьезных и непосредственных угроз.

В то же время люди, ответственные за принятие решений, должны мгновенно реагировать на этот чрезвычайно опасный

мир. Влияние частных событий многократно усиливается, как это, скажем, имело место во время мирового биржевого краха 1987 г., что подробно исследует Уорк [Wark, 1994]. Эта неуклонно возрастающая моментальность реакции уходит корнями в первые десятилетия XX в. Керн отмечает, что новые технологии, возникшие в это время, привели в полное расстройство отточенные приемы дипломатии, основанной на традиционных сроках «джентльменских» раздумий, консультаций и согласований [Kern, 1983].

В свою очередь, названные эффекты связаны с развитием так называемой трехминутной культуры. Телезрители склонны переключать каналы и редко тратят время на просмотр длительной программы. На самом деле многие передачи приспособляются к этой схеме, представляя собой комбинацию визуальных и акустических образов, поток «звуковых фрагментов», каждый из которых длится крайне непродолжительное время вне какой-либо особенной связи с предшествующими и последующими сюжетами. По Каннону, в 30-секундном рекламном ролике может содержаться до 22 отдельных образов (см. [Cannon, 1995, p. 32]; там же есть более подробные данные). Такое мгновенное время можно также назвать «видео-временем», в котором визуальные и акустические образы естественного мира совмещаются с многочисленными образами «культуры». Уильямс описывает подобные процессы в терминах «телевизуального потока», замещающего собой поток единичных дискретных событий (см. [Allan, 1997], а также гл. VII наст. изд.). Как я указывал в третьей главе, мгновенное время способно порождать новые когнитивные способности. Основанные на синхронности времени, в будущем эти «мультимедийные» навыки могут стать важнее обычных, основанных на линейном представлении о времени.

Кроме того, в силу потребности в непосредственном отклике, навязываемой, в частности, скоростью телефонного сообщения, телекса, факса, электронных сигналов и т.д., кажется, что будущее продолжает растворяться во все более расширяющемся настоящем. Будущее больше не является чем-то, во что люди склонны верить. Качественное исследование показывает, что едва ли не все категории британских граждан пессимистично оценивают то, что может произойти в будущем, и чувствуют, что ритм и новые стили жизни усиливают стресс, давление и

сиюминутность [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 7; Pahl, 1995]. В социальной жизни, по-видимому, происходит усиление чувства скорости, которое, согласно Вирильо, устраняет четкие дистанции времени и пространства; в армии, медиа и городах совершается «насилие скорости», размывающее границы между местами и грозящее их разрушением [Virilio, 1986]. Его риторический вопрос звучит так: «Когда мы сможем за одно мгновение попасть к антиподам и вернуться обратно, что с нами станет?» (цит. по [Wark, 1994, p. 11]). В своем недавнем скромном по масштабу исследовании Каннон делает вывод о том, что молодежь представляет будущее как нечто более или менее мгновенное, становящееся все более кратковременным [Cannon, 1995]. Это поколение, похоже, лишено долгосрочных планов или представлений о будущем. Судя по всему, «большинство организаций... просто неспособны с какой бы то ни было определенностью сдержать в будущем свои обещания... Банк «Берингз» — лишь еще одно название в длинном списке, склоняющем молодых людей к мысли о том, что отдавать свою жизнь под залог — опасная стратегия» [Ibid., p. 31]. Каннон отмечает, что молодое поколение живет в «реальном времени», пытаясь за 24 часа успеть поесть, поспать, поработать, расслабиться и поиграть, т.е. распространяя своего рода студенческий распорядок на всю остальную жизнь! Биачини описывает попытки создания новых и воображаемых городских распорядков, более точно отражающих подобные паттерны социальной жизни (см. [Biachini, 1995], о США см. [Schor, 1992]). Развитие рейв-культуры выходных дней предполагает такой график действий и приема нелегальных препаратов, которые размывает общепринятое разделение дня и ночи (см. [McKay, 1998]).

Наконец, мгновенное время также приводит к тому, что пространственно-временные траектории индивидов часто десинхронизируются. Наблюдается рост разнообразия типов времени у различных людей если не в пределах суточного ритма, то на больших промежутках времени. Деятельность людей в меньшей степени связана с коллективными формами организации, а предопределяемые массовым потреблением паттерны замещаются более вариативными, фрагментированными моделями. Существует несколько признаков пространственно-временной десинхронизации: возросшее значение грейзинга, т.е. постоянного «перекусывания», а не определенного ритма приема пищи в одном и том же месте, в окружении членов семьи или сослуживцев.

живцев, и, как следствие, рост потребления фастфуда (о макдоналдизации см. [Ritzer, 1992]); увеличение числа «свободных независимых путешественников», избегающих массовых поездок в составе группы, где каждый принужден участвовать в общей деятельности в определенные моменты времени; распространение гибких графиков, благодаря которым команды сотрудников больше не начинают и не заканчивают работу в одно и то же время; распространение видеотехники, позволяющей записывать телепрограммы, повторять их и прерывать, что сводит на нет настоящий совместный просмотр передач в кругу семьи.

МГНОВЕННОЕ ВРЕМЯ (ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ)

- Информационные и коммуникационные изменения, обеспечивающие мгновенную передачу и одновременный доступ к идеям и информации из любой точки земного шара,

- технологические и организационные изменения, стирающие различия между днем и ночью, рабочей неделей и выходными, домом и местом работы, досугом и трудом,

- возрастающая доступность товаров, мест и образов в «одноразовом обществе»,

- растущая неустойчивость и сиюминутность мод, товаров, рабочих процессов, идей и образов,

- усиливающаяся «временность» товаров, работ, карьер, нравов, ценностей и личных связей,

- стремительное распространение новых товаров, гибких технологических решений и огромных масс отходов, часто перемещающихся через границы,

- рост числа краткосрочных трудовых контрактов, рабочей силы, действующей по принципу «точно в срок», а также тенденция формировать «портфолио» выполненных задач,

- развитие круглосуточной биржевой торговли, позволяющей инвесторам и дилерам не ждать возможности покупки или продажи ценных бумаг и валют всего мира,

- возросшая «модуляризация» досуга, образования, обучения и труда,

- колоссальный взлет доступности товаров, производимых в разных обществах, открывший путь к потреблению многих стилей и моды без необходимости совершать путешествия к местам их производства,

○ рост количества разводов и других форм распада домохозяйств,

○ снижение чувств доверия, преданности и ответственности между поколениями,

○ ощущение того, что «ритм жизни» во всем мире стал слишком высоким и вступает в противоречие со многими иными аспектами человеческого опыта,

○ все более неустойчивые политические предпочтения.

В вышеприведенном списке отмечены основные характеристики мгновенного времени, легче всего обнаруживаемые в Северной Америке и в Европе. Мгновенное время, по-видимому, преобразует власть национальных государств, что особенно заметно на примере так называемой Восточной Европы. К факторам, которые, возникнув более или менее одновременно, запустили процесс изменений в этих странах, относится в том числе и неспособность государств справляться с постоянно ускоряющимся временем. Восточная Европа застряла в часовом времени Модерна и потому не могла ответить на мгновенность моды, образов и микрокомпьютера, а равно на параллельную трансформацию пространства. Такие общества задержались в искривленном времени, в определяемой часовым временем форсированной модернизации (основанной, разумеется, на ленинской апелляции к научному подходу в управлении), тогда как вокруг них, все больше проникая сквозь границы, шли трансформации времени, в конечном счете приведшие к нежизнеспособности этих модернистских островков часового времени. Борнеман указывает на то, как «окаменело» время в ГДР на фоне процесса его «ускорения» на Западе [Vornemann, 1993, p. 105]. Стимул к его ускорению отсутствовал, время казалось застывшим, поскольку «все вокруг становилось неподвижным, окаменевшим и однообразным» [Keane, 1991, p. 187]. Люди были практически лишены возможности приобрести статус посредством одномоментного демонстративного потребления (см. гл. II наст. изд.).

Более того, как показал процесс объединения Германии, восточная ее часть (бывшая ГДР) радикально отставала именно во времени. Двумя символами Западной Германии были рост числа зарубежных путешествий и отсутствие ограничений по скорости на автобанах. Напротив, Восточная Германия представляла застывшей в часовом времени, тогда как Запад двигался к высочайшей мобильности «наносекундных 1990-х [и 1980-х]»,

характеризуемых тем, что Кин назвал «информационными бурями» [Keane, 1991].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В следующей главе я обращусь к вопросу о влиянии мгновенного времени на некоторые формы принадлежности и перемещения на Западе. Анализу будут подвергнуты различные формы проживания, одни из которых основаны на часовом времени, другие — на мгновенном времени разнообразных глобальных сетей и потоков. Вместе с тем есть еще и формы проживания, зависящие от того, что я называю ледниковым временем, противостоящим как часам, так и наносекундам.

В седьмой главе я рассмотрю значение мгновенного времени для национальных систем регулирования и противоречивых режимов гражданства в рамках нового мирового порядка. В восьмой главе будут сформулированы некоторые следствия из представлений о сложности. Я предполагаю, что крайне непредсказуемая, но все же упорядоченная «глобальная система» может выступать объектом продуктивного изучения посредством метафоры сложности.

VI. Места проживания

Мы живем в эпоху одновременности, эпоху близкого и далекого, существования бок о бок, рассеивания и рассредоточивания.

Мишель Фуко [Foucault, 1986, p. 22]

МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ И СООБЩЕСТВА

В этой книге я неоднократно использовал термин «место проживания», или «жилище». Он очевидным образом отсылает к Хайдеггеру и его рассуждению о проживании и строительстве [Heidegger, 1993, p. 347–363]. Хайдеггер утверждает, что такие виды деятельности, как строительство и проживание, некогда были примерно одним и тем же. Строить (bauen) — значило заботиться и защищать, возделывать землю и выращивать виноград. Такое строительство предполагало заботу и было привычным. Однако с возникновением и развитием современных технологий этот исконный смысл строительства как проживания был предан забвению. Оторвавшись от корней, современное человечество перестало жить на земле в подлинном смысле этого слова [Zimmerman, 1990, p. 151]. Хайдеггер пытается найти способ заново объединить строение и жилище, чтобы дать нам понять, что сущность строительства не в абстрактной технологии, а в том, каким образом оно обеспечивает и упрощает проживание. Он называет это «разрешением проживать» [Heidegger, 1993, p. 361].

По Хайдеггеру, проживать (wohnen) — значит пребывать или оставаться, жить в мире и довольстве, чувствовать себя в определенном месте как дома. Именно этот способ проживания характерен для человека на земле. Хайдеггер говорит о жилых местах, противопоставляемых строениям другого типа, таким как вокзалы или мосты. Люди заполняют, но не живут в них. Проживание всегда предполагает пребывание с вещами. Хайдеггер выступает против разделения человека [sic] и пространства, хотя они и находятся на противоположных полюсах. Говорить о людях [sic] — значит, скорее, говорить о тех, кто уже проживает в таких пространствах: «Сказать, что смертные *существуют*, значит сказать, что *в проживании* они пребывают в простран-

ствах благодаря тому, что остаются среди вещей и мест. И лишь поскольку смертные заполняют, остаются в пространствах в силу самой своей сущности, они могут перемещаться в пространстве» [Heidegger, 1993, p. 359]. Однако люди преодолевают пространства только тем способом, который позволяет им поддерживать отношения «с близкими и далекими местами и вещами» [Ibid.]. Как только человек начинает открывать дверь комнаты, он уже является частью этой комнаты. Человек — не отдельное «закапсулированное тело», поскольку, предполагая войти в комнату, он уже проникает в ее пространство. Только благодаря форме проживания можно пройти через эту конкретную дверь.

Примерно так же, как и в современной теории акторов-сетей, вещи занимают центральное место в хайдеггеровском анализе человеческого проживания в доме и во множестве других мест (несмотря на гораздо больший акцент, который философ делает на уникальности человеческого Dasein). К примеру, он рассуждает о кувшине, который не является простым орудием в достижении определенных человеческих целей, но тем, что помогает создавать сам мир. Циммерман говорит об этом так: «...человеческое существование и вещь соединяются вместе в общем танце или игре, благодаря которым мир себя поддерживает» [Zimmerman, 1990, p. 154].

Хайдеггер рассматривает возведенный объект, а именно мост, который не просто соединяет берега, уже имеющиеся здесь. Берега возникают лишь тогда, когда поперек потока оказывается перекинут мост. Мост задает берега, расположенные друг против друга, он означает соположенность земель, лежащих по обе стороны потока. Хайдеггер утверждает, что мост «приводит поток, и берег, и землю в соседство друг с другом. Мост собирает землю вокруг потока в ландшафт» (см. [Heidegger, 1993, p. 354]; хайдеггеровские рассуждения о дверях см. [Pinkney, 1991, p. 66]). Кроме того, мост реорганизует то, как люди живут в этой местности. Он вызывает к жизни новые социальные паттерны, образуя саму местность, или соединяя различные части города, или город с остальной страной, или его же — с «сетью дальнего транспортного сообщения, предназначенной и рассчитанной на извлечение максимальной выгоды» [Heidegger, 1993, p. 354]. Мост также позволяет медленно его переходить, «неспешно» шествовать по нему взад и вперед, переходя с берега на берег. В другом тексте Хайдеггер описывает водителя грузовика, чув-

ствующего себя на трассе как дома, но не проживающего там; водитель живет дома.

В этой главе я постараюсь подробнее остановиться на том, какой именно смысл может вкладываться в термин «проживание», особенно применительно к некоторым современным формам принадлежности (выходящим за пределы достаточно ограниченных примеров Хайдеггера). Я покажу, что, как и в случае хайдеггеровского моста или водителя грузовика, новые формы проживания почти всегда предполагают различные виды мобильности. Их исследование требует обратить внимание на то, что отдельные составляющие этих мобильностей, такие как карты, машины, поезда, пути, компьютеры и т.д., серьезно видоизменяют отношения принадлежности и перемещения. В отличие от Хайдеггера, я не считаю, что существуют неаутентичные модусы социальной жизни или что единственной формой аутентичного проживания служит модель укорененной жизни на некоей земле и в мире.

Таким образом, в этой главе получают свое развитие хайдеггеровские рассуждения о мосте, показывающие, как люди живут, находясь одновременно дома и вне его, через диалектику жизни ускоренной и жизни в пути, или того, что Клиффорд называет «проживанием-в-путешествии» ([Clifford, 1997, p. 2], а также [Zimmerman, 1990, p. 211]). Современные социальные процессы создали совершенно новые формы проживания, которые лишь частично совпадают с национальными границами. Большинство типов социальной солидарности стали более условными и мобильными, чем принято было считать ранее.

Понятие «место проживания» обычно концептуализировалось социологией в терминах «сообщества» как способа описания типичного модуса существования для сельских мест, а также некоторых «поселений» в черте города [Frankenberg, 1966]. В таких работах, как правило, использовалась ностальгическая концепция сельского сообщества, которая зачастую лишь воспроизводила идеологические представления тех, кто действительно жил или хотел бы жить на селе [Newby, 1979].

Для разработки более точного аналитического аппарата Белл и Ньюби предложили различение трех значений термина «сообщество» [Bell, Newby, 1976]. Во-первых, существует сообщество в топографическом смысле. Здесь речь идет об особом поселении, определяемом географической близостью, из которого не

следует какое бы то ни было качество социальных отношений, обнаруживаемых в такого рода поселениях соприсутствия. Во-вторых, есть понимание сообщества как *местной* социальной системы, основанной на локализованной, относительно ограниченной совокупности взаимосвязей между социальными группами и местными институтами. В-третьих, есть *община* — ассоциация людей, характеризующаяся тесными личными узами и разделяемым всеми членами чувством сопринадлежности и теплоты. Именно о последнем обычно говорят как о воплощении идеи «сообщества». Белл и Ньюби утверждают, что община не обязательно возникает на основе того или иного типа поселения и может сложиться даже в отсутствие близкого проживания отдельных членов. Географическая близость не порождает с необходимостью локальность, а последняя не всегда влечет за собой возникновение общины (в гл. III наст. изд. этот вопрос затрагивался применительно к «виртуальным сообществам»).

Каждое из этих «сообществ» можно признать особой формой места проживания, и тем самым сделать само это понятие в аналитическом плане более сложным, чем у Хайдеггера. Вместе с тем все три вышеназванные концепции проблематичны, когда используются традиционной социологией. Во-первых, в них игнорируется природа телесного перемещения внутри, и в особенности между любыми из этих «сообществ», а также формы чувствования других людей и объектов во времени и пространстве. В четвертой главе я продемонстрировал, как, соединяясь, эти чувства образуют различные ощущения пространства и, как следствие, действительно разные «места».

Во-вторых, концепции сообщества излишне сосредоточены на людях и их взаимодействиях и упускают из виду роль объектов, то, что Хедерингтон называет «материальностью места» [Netherington, 1997b]. Ниже я покажу, как дерево и церковь могут конституировать деревню в качестве особого места проживания. Я также продемонстрирую роль объектов в различных воображаемых сообществах, роль печатных слов и изображений для воображаемых сообществ наций и роль экрана — для воображаемого глобального сообщества. В каждом случае такие объекты раздвигают границы воображаемых сообществ на огромные расстояния, создавая некое виртуальное место проживания. В целом социологии свойственна чрезмерная концентрация на особых социальных взаимодействиях людей и

социальных групп. В этой книге я подчеркиваю, что мы должны анализировать также тех людей и те социальные образования, с которыми *не* взаимодействуем постоянно, хотя и можем испытывать и поддерживать некое чувство близости или принадлежности в отношениях с ними. Мы должны изучать не только присутствие и отсутствие, но и «воображаемое присутствие», а также то, как различные объекты переносят и вносят воображаемое присутствие в различные формы проживания [Thrift, 1996, ch. 7].

В-третьих, сообщество выступает также предметом весьма влиятельных дискурсов и метафор. Некоторые идеалы так называемого *Gemeinschaft* тесно связаны с особыми социальными группами, что в последние годы стало особенно заметным в западных обществах, где, как считается, сообщество и некие свойства общинности были утрачены. В то же время во многих местах, где культивируется представление о сообществе, часто наблюдаются крайнее непостоянство внутренних социальных связей и исключительная враждебность к чужакам. Говорить о сообществе — значит, говорить метафорически или идеологически. Метафора сообщества, всегда предполагающая теплоту непосредственных отношений, играет также важную роль в спорах о коммуникации, опосредованной компьютерами.

Хотя я и буду использовать предложенное различие форм географической близости, локальности и общинности, исследуя их, я стану обращаться к различным мобильностям, чувствам, временам, объектам и дискурсам. Хедерингтон делает нечто подобное, когда развивает метафору корабля. Представьте, говорит он, что места подобны кораблям [Hetherington, 1997b, p. 185–189; Gilroy, 1993]. Они не неподвижны, но перемещаются в пределах сети агентов, людей и не-людей. Места полностью определяются отношениями, расположением материальных объектов и системой действующих различий. Места следует мыслить как помещенные в систему связей между множествами объектов, а не как нечто заданное субъектами, их уникальными человеческими смыслами и взаимодействиями.

Сходным образом я собираюсь рассмотреть и предложенный Инголдом хайдеггеровский анализ картины Питера Брейгеля «Жатва» (см. [Ingold, 1993b]; см. вкладку 5.1 [Macnaghten, Urry, 1998]). По Инголду, «ландшафт складывается как стойкое воспоминание — и свидетельство — жизни и трудов прошлых поколений, которые обитали здесь и потому оставили что-то от самих себя»

[Ingold, 1993b, p. 152]. Ландшафт — это не природа и не культура, не сознание и не материя. Это мир, знакомый тем, кто жил, живет и будет жить в этом месте, и тем, чья практическая деятельность позволила установить связь с многообразием мест, составляющих этот ландшафт, заставив пройти множеством его троп.

Любой ландшафт является местом памяти и темпоральности. Инголд утверждает, что текущие события обладают неким паттерном сохранения того, что было в прошлом, и порождают представления о будущем (как в А-ряду времени; см. гл. V наст. изд.). Подобные интерпретации прошлого, настоящего и будущего вращаются вокруг практик или *taskscape*¹ той или иной среды. Именно топос задач определяет социальный характер того или иного ландшафта. Топос задач сохраняется лишь на то время, пока люди действительно вовлечены в решение разнообразных задач и практическую деятельность по поддержанию существования и перемещению в данной среде.

Ингольд также утверждает, что ландшафты воспринимаются нашими чувствами. Они оказываются встроенными в наш телесный опыт. При взгляде на картину Брейгеля наши глаза вынуждены двигаться вниз и вверх, поэтому мы можем *почувствовать* изображенную на картине долину и ощутить ее неизбывное присутствие. Контуры ландшафта проникают, говоря словами Башляра, в «мускульное сознание» так, будто «у самой дороги есть мускулы — мускулы противодействия» [Bachelard, 1969, p. 11; Башляр, 2004, с. 32].

Посмотрим на дороги, изображенные на картине, на пути, игравшие главную роль в мобильности того времени. Эти пути несут на себе отпечатки бесчисленных перемещений людей,двигающихся по своим повседневным нуждам. Сеть дорог служит наглядным отражением деятельности целого сообщества, охватывающей несколько поколений; это зримое воплощение топоса задач [Ingold, 1993b, p. 167]. Этим объясняется, почему сообщества часто яростно защищают свои сети дорог, не давая их разрушить [Macnaghten, Urry, 1998]. Люди представляют себя следующими теми же путями, которыми двигались бессчетные поколения тех, кто жил здесь или поблизости от этого места.

¹ Понятие введено британским антропологом Тимом Инголдом для обозначения совокупности видов деятельности, выполняемой в ландшафте во времени. См.: Ingold J. The perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill. L.: Routledge, 200. P. 154 ff. — *Примеч. ред.*

Поэтому изменение или уничтожение дороги зачастую воспринимается как «акт вандализма», направленный против закрепившегося топоса задач, против сообщества, его коллективных воспоминаний и форм проживания. Пути, на которых поколениями отпечатывались топосы задач, могут быть перекрыты новыми дорогами, случайными трассами, которые словно бы «прогрызаются» через ландшафт, убивая деревья, тропы, жилища и существующий топос задач. Последний мгновенно разрушается при создании новой дороги, и никакие меры по восстановлению ландшафта не способны восполнить эту внезапную утрату (в противоположность постепенным изменениям). Отчасти это связано с тем, что дороги вводят в ландшафт транспортные средства (автомобили и грузовики), которые не обладают «мускульным сознанием». Движение становится мгновенно достижимым.

Для различных мест часто значимы деревья. Инголд предполагает, что старое грушевое дерево, изображенное в брейгелевской «Жатве», в какой-то мере «создает» само это место. Причина в том, что «места здесь не было до появления дерева, оно родилось вместе с ним... другими словами, люди привязаны к жизни дерева так же, как дерево к жизни людей» [Ingold, 1993b, p. 167–168]. На картине недалеке изображена церковь, и Инголд предполагает, что это тоже памятник истекшему времени [Ibid., p. 169]. Как и дерево, церковь помогает создать это место, сводя воедино и объединяя окружающий ландшафт, в особенности топос задач, поддерживаемый ею и воплощенный в ней. У церкви и дерева много общего. В обоих случаях «форма является воплощением развития или исторического процесса, она укоренена в контексте человеческого проживания в мире» [Ibid., p. 170]. Тем самым показывается, как объекты открывают возможности для людей (см. гл. VIII наст. изд.). Сью Клиффорд из организации Common Ground в сходном ключе отмечает, что потеря сада — нечто большее, чем гибель нескольких деревьев:

...вы можете потерять сорта фруктовых деревьев, распространенные лишь в данной местности, какую-то часть дикой природы, песни, рецепты... пейзаж, знания о способах обрезки и прививки, собираемые поколениями... Короче говоря, культурный ландшафт одним ударом сокращается на несколько измерений [Clifford, 1994, p. 2].

Здесь происходит утрата того, что позже я буду рассматривать как «ледниковое время».

Возвращаясь к мысли, высказанной мной в четвертой главе, людей, изображенных на картине «Жатва», не только видно, но и слышно. Предполагается, что мы можем различить издаваемые ими звуки (речи, жевания, храпа, глотания и т.д.). Нас побуждают воссоздать ощущения, которые они испытывают в момент сотворения данного ландшафта. Персонажи картины связаны друг с другом и со своим проживанием в ней посредством различных чувств, обладающих различной темпоральностью. Инголд замечает, что «ландшафт, коротко говоря, — это не целое, на которое вы или кто-то другой может взглянуть, скорее, это мир, в котором мы находимся, рассматривая наше окружение с определенной точки зрения... Ведь ландшафт, если воспользоваться словами Мерло-Понти, — это не столько объекты, сколько «родина наших мыслей»» [Ingold, 1993b, p. 171].

Таким образом, на этой картине географическая близость, локальность и общинность совпадают, тогда как в сегодняшнем мире они не совпадают почти никогда. Возникновение новых, более или менее моментальных форм мобильности означает, что формы проживания, описанные Инголдом (и Хайдеггером), требуют новой обстоятельной концептуализации. Модусы проживания сегодня несравненно более сложны и разнообразны, чем в мире 1565 г., мире Брейгеля Старшего. Далее я рассмотрю различные материальные и культурные трансформации, которые развели географическую близость, локальность и общинность в стороны. Эти отношения я буду разбирать в следующем параграфе применительно к некоторым локальным или «неоплеменным» сообществам; затем в свете разнообразных модусов перемещения, описанных в третьей главе, будут рассмотрены некоторые элементы национальных сообществ и диаспор. Завершить главу я хотел бы определением понятия ледникового времени, выступающего важным компонентом многих модусов спорных мест проживания.

Сказанное выше приближает нас к другой теме этой главы — связи между современными формами проживания и многочисленными практиками воспоминания. Память, по всей видимости, не имеет четкой физической локализации в какой-либо части мозга, где она просто ожидала бы соответствующей активации (см. [Arcaya, 1992; Middleton, Edwards, 1990]). Судя по всему, она черпает энергию из социальных практик, в которых люди вместе хранят воспоминание о чем-либо и работают над про-

изводством собственных воспоминаний в определенных социальных контекстах. Формирование воспоминаний о некотором событии, месте или человеке требует совместного труда, часто существенно растянутого во времени и связывающего весьма удаленные друг от друга в географическом отношении контексты. Поэтому оно часто связано с путешествиями, необходимыми, чтобы собраться вместе или посетить какие-то определенные места.

Дискурс памяти, помимо всего прочего, часто включает сложную риторику, которая может апеллировать к различным чувствам и ощущениям, проявляющимся в разные промежутки времени и в разных местах. Пруст описывает телесный характер своего воспоминания об одном определенном месте, указывая, что «ноги и руки переполнены оцепеневшими воспоминаниями» (цит. по [Lowenthal, 1985, p. 203]). Важной формой коллективной памяти является институциональное поминовение, «официальные воспоминания» в тех или иных обществах, которые могут вытеснять альтернативную память об определенных местах. Часто те или иные ландшафты, сооружения или памятники поддерживают или воплощают собой идею, сплывающую нацию, подрывая при этом воспоминания других социальных групп, в особенности женщин, рабочего класса, зависимых этнических общностей, молодежи и т.д. Многие социальные группы, институты и целые общества могут вырабатывать разнообразные, часто противоречивые практики памяти, которые, однако, могут быть лишены официального признания [Urry, 1996].

Воспоминания часто выстраиваются вокруг объектов и особых пространств, таких как те или иные сооружения, элементы ландшафта, площади, машины, стены, запахи, предметы мебели, фотографии, вкусы, звуки, деревья, холмы и т.д. (см. [Radley, 1990], а также гл. IV наст. изд.). Такие объекты и среды могут стимулировать и структурировать способность людей вспоминать прошлое, воображать нечто, что могло бы быть, или же припоминать какие-то эпизоды, связывающие собственные жизни людей с жизнями других. Беньямин напоминает нам о том значении, которое Пруст придает «непроизвольной памяти» (*mémoire involontaire*), внезапным вспышкам воспоминаний, вторгающимся в наше сознание без предупреждения и предъявляющим прошлое в необычайно живом виде в настоящем. Однажды такое непроизвольное воспоминание озарило Пру-

ста, когда он ел особый сорт пирожного [Benjamin, 1969, p. 160; Беньямин, 2000, с. 172].

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МЕСТУ

Теперь я коснусь некоторых форм локальной принадлежности, выявляя задействованные в каждом случае практики перемещения и воспоминания. Я начну с различения *земли* и *ландшафта* как различных форм названной принадлежности месту (см. [Milton, 1993]; земля в данном случае означает то же, что у Инголда называется ландшафтом). Земля — это тип проживания, изображенный на полотне «Жатва» и рассматриваемый Хайдеггером. Он предполагает концептуализацию земли как физического, осязаемого ресурса, который можно вспахать, засеять, на котором можно пасти скот и строить, как осмысливаемого, скорее, функционально (а не эстетически) места труда. Как осязаемый ресурс земля может быть куплена или продана, унаследована или оставлена в наследство детям либо прямо, либо в продолжение права, вытекающего из пользования землей в течение длительного времени. Такой землей может непосредственно владеть «крестьянин», который на ней работает, либо может иметь место разделение права собственности на землю и контроля над ней. Во многих случаях и крестьянский труд, и домашняя работа, и отдых происходят в условиях тесной пространственной близости. Жить на ферме — значит поддерживать образ жизни, в котором производительная и непродуцирующая деятельность протекают в связи друг с другом и со строго очерченными участками земли, чья история и география зачастую известна в мельчайших подробностях. Хайдеггеровское понимание проживания точно схватывает практику на земле, в ходе которой люди, по-видимому, достигают единства со своей средой [Heidegger, 1993; Thomas, 1993, p. 27–29]. Между людьми и вещами стирается всякая дистанция.

Практиковать на земле — вовсе не то же самое, что практиковать в ландшафте, поскольку последний предполагает наличие нематериального ресурса, главным свойством которого является внешний облик или вид (см. [Milton, 1993], о зрительном чувстве см. гл. IV наст. изд.). Понятие ландшафта включает в себе представление о досуге, отдыхе, осуществляемом туристами визуальном потреблении. В 1844 г. Вордсворт писал об

идее ландшафта как о чем-то, возникшем сравнительно недавно [Wordsworth, 1984]. Прежде путешественники в Альпы не рассуждали о их красоте и великолепии. Вордсворт вспоминает женщину, у которой он в молодости снимал комнату и которая однажды заметила, что с некоторых пор все «стали постоянно говорить о панорамах: когда я была молодой, ни о чем подобном сроду [sic] не слыхивали» [Ibid., p. 188]. В XVIII в. перед домами часто размещали амбары и другие строения, «независимо от того, насколько красивым мог быть открывавшийся из окон вид» [Ibid.].

В конце XX в. общим стало представление о том, что ландшафты должны принадлежать всем, являясь, по словам Вордсворта, «чем-то вроде национального достояния». Доступ должен быть обеспечен для всех, кто желает на них взглянуть. Существует множество способов приобщиться к ландшафту — во время прогулок, поездок на автомобиле, восхождения, фотографирования и т.п. Получение доступа предполагает возможность визуального потребления пейзажа. Считается также, что права относительно ландшафта содержат также права будущих поколений, выступающих потенциальными созерцателями пейзажа, а не только прерогативу нынешних владельцев того или иного участка земли.

Указанные конкурирующие практики земли и ландшафта входят в острейшее противоречие, когда те, кто желает приобщиться к пейзажу, пытаются временно «поселиться» на земле. Последствия зависят от того, как такие мобильные «ландшафтники» (landscapers) проникают на землю, как долго остаются на ней, к каким именно чувственным переживаниям стремятся, что требуют в процессе наслаждения, какие практики порождают на обслуживающем их рынке, как перемещаются по земле и каких форм визуального наблюдения склонны добиваться. Земля, таким образом, не предоставляет исключительных прав владения и контроля. Совершенно чужие люди могут отстаивать свои исторические права на прогулку по сельской местности, нередко близко прилегающей с местам проживания, или, напротив, могут попытаться воспрепятствовать тем или иным видам досуга, являющимся для местного населения чем-то непосредственно связанным с их землей и способом проживания на ней. Все это указывает на тесную связь между проблемами принадлежности к определенному месту и паттернами путешествий. В современной Британии это противоречие земли и пей-

зажа проявляется вследствие введения общего «права на прогулку» (или перемещение) по сельской местности, даже когда ею владеют другие люди.

Другой способ осмысления различия между землей и ландшафтом предложен О'Нилом, который задается вопросом, зачем крестьяне поколениями «удобряли землю, даже если знали, что никогда не получают отдачи» [O'Neill, 1993, p. 39]. Его ответ сводится к тому, что земля считалась общей собственностью семей или сообществ, насчитывающих множество поколений, живущих в ледниковом времени. Каждое поколение разделяло чувство, что существует во времени, общем с прошлыми и будущими хозяевами. Присутствовало четкое ощущение темпоральной непрерывности, и люди считали себя частью множества проектов, начавшихся в прошлом, достигших настоящего и устремленных в будущее. Посадка и выращивание деревьев служат хорошим примером того, как разные поколения одной семьи участвовали в весьма долгосрочном коллективном процессе в пределах ледникового времени. Выращивание деревьев выступало ключевым элементом проживания семей в определенном месте, часто во многих поколениях.

Три свойства мгновенного времени подрывают эту непрерывность проживания: глобальная сельскохозяйственная конкуренция, делающая ставку на моментальный денежный доход; замещение семьи корпоративными владельцами, которые рассматривают землю примерно так же, как любой иной фактор производства; возросшая мобильность земельной собственности, уничтожившая долгосрочные связи между поколениями, а также ощущение того, что кто-то действительно *владеет* землей [Ibid., p. 40–41]. К другим разрушительным переменам относятся быстрый рост товарооборота новых продуктов, доставка продуктов почти во все точки глобализирующегося рынка, а также значимость *панорам* для огромных масс туристов, сопровождающая превращение «земли» в «пейзаж».

Теперь я обращусь к некоторым более общими чертам «локальных» сообществ [Massey, 1994; Urry, 1995; Macnaghten, Urry, 1998]. Во-первых, как следует из предыдущей главы, различные локальные сообщества нужно рассматривать как функционирующие в и посредством различных темпоральностей. Частично это означает, что сообщества несут следы воспоминаний различных социальных групп, исторически живших или пересе-

кавших данную местность. Каждое из таких мест отмечено всевозможными попытками оспорить эти воспоминания! Далее, места можно различать в терминах их темпорального богатства или бедности. Так, Сеннетт говорит о «местах, полных времени», наделенных в силу этого широкими космополитическими возможностями [Sennett, 1991, ch. 7]. Другие места характеризуются «однообразием», ощущением безнадежной привязанности к конкретному месту, где время кажется остановившимся и неизменным. Это зоны сгустившегося времени. Более того, представляется, что разные виды времени встроены в разные места. В пятой главе я упоминал, что большая часть стран Восточной Европы до 1989 г. функционировала в неразрывной связи с часовым временем. Некоторые места отстают и плетутся в «хвосте» часового времени. Другие же строятся на мгновенном времени, вызванном головокружительной дезориентацией «скорости», описанной Вирильо [Virilio, 1986].

Во-вторых, время не является непременно поступательным (в отличие от предположительно статичного пространства). Порой, но не всегда, время связано с движением, изменением и трансформацией, так же как и места не обязательно статичны и неизменны [Massey, 1994, p. 136–137]. Места запускают процессы, а те, в свою очередь, влекут за собой объединение локальных совокупностей социальных отношений с гораздо более масштабными. То, что я назвал локальностью, является «некоторой комбинацией в определенном месте, вызывающей последствия, которые в ином случае не могли бы возникнуть» [Ibid., p. 156, 138]. Поэтому места в широком смысле могут быть понимаемы как уплотнения, как совокупности пространств, в которых соединяются, взаимодействуют и фрагментируются различные области реляционных сетей и потоков. Любое такое место может рассматриваться в качестве особой связки между, с одной стороны, географической близостью, характеризуемой довольно насыщенными взаимодействиями, основанными на соприсутствии, а с другой стороны — стремительно распространяющимися сетями, покрывающими большие физические, виртуальные и воображаемые расстояния. Такие географические соседства и обширные сети, соединяясь, обеспечивают функционирование определенных мест и возможность действовать внутри них.

В-третьих, для конструирования локальности весьма значимы объекты. В «Жатве» дерево и церковь служили выстраиванию

деревни как особого места проживания. Подобные естественные или физические объекты могут нести следы памяти, означающие ледниковое время. Различные типы объектов, деятельности или медиаобразов могут служить основанием для такого «воображаемого присутствия». Они распространяют это воображаемое присутствие внутри локального сообщества, хотя его члены, находящиеся в данном месте, могут и не подозревать об этом «воображаемом сообществе» [Massey, 1994, p. 138]. Исполнять эту роль могут различные объекты, а не только массивные памятники местам и сообществам, проанализированные Лефевром [Lefebvre, 1991, p. 220–226]. Олденбург исследовал значение неформальных мест встречи, таких как бары, кафе, местные клубы, места в тени грушевых деревьев и т.д. Он называет их «третьими местами» после работы и дома, местами, где сообщества могут собираться, поддерживая жизнь всей округи (см. [Oldenburg, 1989]; о гендерной составляющей различных кафе среди турок-мигрантов в Дании см. [Diken, 1998]).

В-четвертых, для многих мест, жители которых считают себя частью «сообщества», характерны высокая степень неравенства в социальных отношениях (деление по признаку класса, гендера, этничности, возраста и т.д.) и враждебность ко всему внешнему. Противостояние аутсайдеру, чужаку часто действительно выступает элементом того механизма, благодаря которому устанавливаются и поддерживаются локальные отношения неравенства. Более того, неравноправие нередко укрепляется через использование термина «сообщество», внушающего ложное представление о том, что местная среда основана на теплых, взаимных, непосредственных отношениях общности. Дайкен демонстрирует влияние такого рода «силовой иерархии» сообщества датчан, противостоящего недатчанам, особенно туркам, что ведет к исключению и маргинализации турецких мигрантов [Diken, 1998, p. 41]. Дикс показывает, каким образом в историческом парке Rhondda Heritage Park с помощью нарративных функций, создается история, построенная вокруг тропа «сообщества шахтеров»; нарратив завершается рассказом о том, как была прекращена добыча угля. Эта история нацелена на сглаживание неравенства, прежде всего гендерного типа, считавшегося обычным для подобных «сообществ» [Dicks, 1997].

В-пятых, локальные сообщества — это места потребления, например, сырья, зданий XVIII в. или озерных видов. Места созда-

ют контекст, в котором сравниваются, оцениваются, приобретаются и используются различные товары и прежде всего услуги. Кроме того, места зачастую сами в некотором смысле потребляются, в том числе посредством различных чувств, рассмотренных в четвертой главе. Места выступают одновременно частью и способом формирования различных чувственных каналов, в том числе (и в первую очередь) опосредованных играющим, как правило, главенствующую роль чувством зрения (о различных чувственных ландшафтах, связанных с местом воспитания, см. [Massey, 1999]). Однако немало таких мест одновременно существуют в качестве мест, потребляемых многими другими людьми, чье зрение, обоняние, слух и осязание могут привлекать их к месту или отталкивать от него.

Наконец, наиболее существенно то, что даже те сообщества, которые основаны на географическом соседстве, зависят от различных мобильностей (как отмечалось ранее в главе 3). Есть множество способов укрепления чувства проживания посредством перемещения в пределах границ сообщества, например, пешие прогулки по истоптанным тропинкам. Однако любое такое сообщество через всевозможные путешествия и передвижения связано со многими иными местами. Реймонд Уильямс в «Пограничном краю» выражает свое «восхищение сетями, тропами и территориальными структурами, созданными мужчинами и женщинами в процессе перемещения по региону, тем, как эти тропы и структуры пересекают и взаимодействуют друг с другом» [Pinkney, 1991, p. 49; Williams, 1988; Cresswell, 1997, p. 373]. Сходную позицию разделяет Масси, утверждая, что идентичность места рождается в значительной мере из взаимообмена с другими местами, который можно стимулировать и развивать. Иногда, впрочем, идентичность возникает из гендерно-неравных отношений, связанных с возможностью перемещения. Масси показывает, как концепт «мама» может функционировать в качестве символического центра, куда возвращаются блудные сыны, когда отъезд в другое место становится проблематичным [Massey, 1994, p. 180].

В «Пограничном краю» Уильямс описывает, как различные типы сетей в период Всеобщей стачки в Британии в 1926 г. проявили разную силу. Плотную сеть, поддерживаемую грузовым транспортом и государственным радиовещанием, работавшим на крупных капиталистов, можно сравнить с гораздо более

тонкой сетью мотоциклов и телеграммам, созданной забастовщиками [Williams, 1988; Pinkney, 1991, p. 51]. В целом романы Уильямса демонстрируют парадоксальную связь между пространствами, особенными и излюбленными местечками и глобальными мультинациональными пространствами. Такое сплетение локализма-интернационализма позволяет «пренебречь территорией старого национального государства» (см. [Pinkney, 1991, p. 141, 32], о веерных городских сетях см. [Graham, Marvin, 1996, p. 58–59]). Близкий тезис формулирует и Макдональд, переказывая простую историю, по-видимому, услышанную ею в детстве на глухом острове Скай в Шотландии:

В городке Х... жила старая женщина. Однажды к ней зашла парочка туристов и стала задавать вопросы. «Вы когда-нибудь покидали эту деревню?»... «Да, конечно, я бывала у сестер [в соседнем городке]»... «Но вы никогда не уезжали с острова?»... «Почему же, уезжала, хотя и не часто»... «Так вы были на континенте?» Она кивает. «Значит, Инвернесс тогда вам показался большим городом?»... «Разумеется, но не таким большим, как Париж, Нью-Йорк или Сидней...» [Macdonald, 1997, p. 155].

БУНДЫ

Теперь я перейду к сообществам другого типа, большинство из которых не предполагает географического соседства или во всяком случае к нему не «приписывается». Иногда, в «священные моменты» кайрологического времени, такая географическая близость в них может «достигаться» (о переменном паттерне достижения-приписывания см. [Parsons, Shils, 1951, p. 82–84]). «Неоплеменные» сообщества включают группы самопомощи, организации прямого действия, объединенные группы, этнические группировки, объединения женщин, путешественников, отдыхающих, геев и лесбиянок, добровольческие организации, экологические НПО и т.д. (об «эпохе племен» см. [Maffesoli, 1996]). Каждая из этих групп основана на особой комбинации принадлежности и перемещения. Многие опираются на культуры сопротивления, своего рода горизонтальное измерение сетей гражданского общества как внутри, так и за пределами границ национальных государств. Эти сети сопротивленцев «защищают свои пространства, места от лишенной связи с местом логики пространства потоков, характеризующей социальное

господство Информационной Эры» [Castells, 1997, p. 358]. По Кастельсу, люди как субъекты «формируются уже не на основе [национальных] гражданских обществ, переживающих процесс распада, а как продолжение совместного сопротивления» [Ibid., p. 11] (Курсив снят. — Дж. У.).

Хедерингтон утверждает, что свободные социации такого рода следует концептуализировать как «бунды» [Hetherington, 1994]. Ранние германские молодежные движения «Вандерфогель» считали себя некими подобиями *бундов* (союзов). В те времена не существовало молодежных хостелов, проторенных туристических маршрутов и техник перемещения за городом. Поэтому группы «Вандерфогель» создавались как подобия *союзов* для облегчения передвижения молодых немцев по сельской местности. Они представляли собой небольшие группы, образующие мобильную общину, в странствиях по лесам Богемии пытавшуюся восстановить подлинное чувство утраченного единства — *Gemeinschaft*.

Понятие *бунда* как идеализированной формы мобильной социации послужило источником вдохновения для Шмаленбаха, который дополнил этим термином традиционную дихотомию *Gemeinschaft* — *Gesellschaft* [Schmalenbach, 1977]. Бунд означает сообщество, членство в котором является предметом осознанного и свободного выбора на основе взаимных чувств и эмоций. *Вопреки* точке зрения Вебера, аффективное основание бунда не является иррациональным или бессознательным. Аффективная преданность бунду вполне сознательна, рациональна и не традиционна. Бунды, в отличие от сообществ (*Gemeinschaft*), не всегда устойчивы и стабильны. Хедерингтон отмечает, что

...бунды символически поддерживаются через систему активного, рефлексивного контроля за солидарностью в группе, осуществляемого самими ее членами. Иными словами, бунды автореферентны... Бунды самозамкнуты и производят определенные коды практик и символов... Бунды предполагают стирание различий между публичной и частной сферами жизни их членов [Hetherington, 1994, p. 16].

К числу современных примеров относятся объединения, организованные вокруг питания, гендера, диких или домашних животных, вегетарианства, самодеятельности, альтернативной медицины, локальных пространств, духовных практик, сельской местности, фестивалей, дорожных протестов, танцеваль-

ной культуры, а также множества крайне специализированных досуговых практик [Szerszynski, 1993]. Все это подчеркивает значение достаточно неформальных и зачастую пересекающихся сетей, обусловленных, скорее, культурно, чем политически или социально, т.е. не в терминах национального гражданского общества [Lash et al., 1996]. Членство в бундах или социациях обычно является предметом добровольного выбора с правом свободного выхода. Как правило, люди покидают такие социации столь же быстро, сколь и вступают в них. Членство поддерживается отчасти в силу эмоционального удовлетворения, связанного с общими целями или совместным социальным опытом, пусть и носящим временный характер. Подобные социации позволяют людям экспериментировать с новыми формами проживания, часто временными и основанными на различных мобильностях. Они могут расширять возможности людей, предоставляя им относительно безопасные места для познания собственной индивидуальности и контексты для приобретения новых навыков. Эти социации различаются по степени децентрализации власти, формальной детализации организационной структуры, по степени и формам участия низового уровня, типам действий, совершаемым при вступлении, а также по уровню интеграции в трансграничные сети, предполагающие различные модусы путешествий [Urry, 1995, ch. 14; Hetherington, 1998].

Ряд других исследователей описывали подобные группы в терминах «коллективного энтузиазма» [Hoggett, Bishop, 1986; Abercrombie, Longhurst, 1998, ch. 5]. Такой энтузиазм прodelывает значительную часть «работы», которая в обычном случае выполняется во время формального «нерабочего» времени. Досуговая активность зачастую привлекает людей в большей степени, нежели деятельность, связанная с рабочим (оплачиваемым) временем. Члены группы, объединенной энтузиазмом, действуют на основе взаимности и взаимовыручки, они самоорганизованны и чрезвычайно враждебны к внешним экспертным инстанциям, указывающим, как им действовать и вести себя. Упор делается на обретение посредством такого рода сетей особых, доступных лишь избранным знаний и умений. Участники социаций такого рода часто оказывают жесткое сопротивление коммодификации товаров или труда, производя при этом множество разнообразной продукции, в том числе художественной, письменной, спортивной, речевой, визуальной и т.д.

Эта продукция в основном потребляется самими членами сообщества или же их друзьями и членами семей [Hoggett, Bishop, 1986, p. 42]. Деятельность внутри подобных групп, основанных на энтузиазме, предполагает коммуникацию, сетевое взаимодействие и эмоциональный подъем в связи с событиями, привязанными к определенным календарным датам. Разумеется, в развитых обществах существуют десятки тысяч примеров таких групп, начиная с четко формализованных фанатских организаций или различных культов и заканчивая такими более чистыми формами коллективного энтузиазма, как клубы ретроавтомобилей или экологические НПО (обо всех этих различиях см. [Abercrombie, Longhurst, 1998, p. 132–134]).

Маккей указывает на четыре дополнительные черты подобных социаций или групп энтузиастов, оказывающих коллективное сопротивление [McKay, 1996; 1998]. Во-первых, они образуют «собственные зоны, собственные пространства». Последние, как правило, характеризуются особой привязкой к местности и ощущением связи с прежними формами проживания в ней, такими как ярмарки, рынки, дома, мастерские и т.д. [McKay, 1996, p. 39]. Также они являются «живыми пространствами, полными жизни и воображаемых образов», так или иначе отделенными от всего остального общества и противопоставленными ему [Ibid., p. 71]. Зоны такого проживания — освобожденные, «временно автономные зоны» или «гетеротопии отклонения». Это места «альтернативного упорядочивания», характеризующиеся тревожным и зачастую шокирующим совмещением несовместимых объектов. Гетеротопические места такого рода трансгрессивны, маргинальны, нелепы и в высшей степени спорны [Foucault, 1986; Hetherington, 1997a, ch. 7].

Места проживания часто недолговечны. По словам одного из участников подобной группы, в них всегда «атмосфера сиюминутности, готовности переехать... переместиться в другие университеты, высокогорья, гетто, фабрики, конспиративные квартиры, заброшенные фермы» (цит. по [McKay, 1996, p. 8]). Здесь ощущается движение, постоянные акты трансгрессии, как в случае автоколонн мира у хиппи. Такие пространства проживания формируются разнообразными маршрутами и особыми, часто наделяемыми священным значением узловыми пунктами, а не постоянными формами обитания, описываемыми на примере практикования земли. В определенные моменты в этих особых

узлах создается атмосфера сильнейшей эмоциональной близости, обусловленной сходством ценностей и дружбой. Проживание оказывается интенсивным, переменчивым и мобильным.

Названные пространства, кроме того, определяются не только визуально, но и в терминах других чувств, особенно слуха. Маккей цитирует одного из основателей фестиваля Stonehenge Free Festival, заявившего: «Наш храм — это звук, мы воюем музыкой, барабаны — как гром, цимбалы — как молния...» [McKay, 1996, р. 8]. Запахи и вкусы также формируют жилые места многих из упомянутых культур сопротивления. Действительно, осуществляемое ими сопротивление подразумевает в том числе и критику господствующих чувственных каналов, основанных на зрении (см. гл. IV наст. изд.). Вместе с тем необязательно, что эти культуры сопротивления будут чувствовать себя «как дома» в одном и том же топосе чувств. Например, «Племя Донга» выступало против уличных рейв-вечеринок, поскольку используемая на них современная звуковая аппаратура вызывала шумовое загрязнение.

Наконец, культуры сопротивления представляют собой «сеть... независимых коллективов и сообществ» («Манифест свободного государства Альбион 1974 г.», цит. по [McKay, 1996, р. 11]). Эти объединения образуют «свободную сеть свободных сетей», подобную тем, что участвуют в независимых фестивалях, деревенских ярмарках, исполняют альтернативную музыку, выступают против охоты на лис, протестуют на дорогах, организуют акции путешественников-хиппи, являются активистами рейв-культуры, настаивают на отмене налогов, участвуют в караванах мира и акциях защитников прав животных и т.д. [Ibid.]. Они поддерживаются различными паттернами физических путешествий, в ходе которых происходит альтернативное картографирование ключевых событий, мест, маршрутов и т.д. Один из членов «Племени Донга», изначально прославившегося протестной акцией в долине Твайфорд Даун, так отозвался о недолговечности и изменчивой природе племени как *бунда*, а также о значении отдельных пространственных и темпоральных узлов для их переменчивого чувства общности:

В те времена племя росло и менялось благодаря людям, начавшим работать на постоянной основе в низовых протестных движениях или в близких областях, таких как восстановление лесов и пермакультура. Небольшая группа продолжает жить кочевой жизнью,

передвигаясь от одной стоянки к другой на лошадях, ослах и телегах, груженных личным и общим скарбом. Мы находимся в тесном контакте, часто встречаемся во время регулярных празднеств и ощущаем связь друг с другом посредством общего опыта и мировоззрения (цит. по [McKay, 1996, p. 143]).

Отдельную сеть составляют путешественники, т.е. неофициальные молодежные объединения, которые по крайней мере раз в год отправляются в составе автоколонны в бесцельные путешествия за пределы городов [McKay, 1996, ch. 2; Hetherington, 1998]. Они селятся в ярко ими самими раскрашенных фургонах, автобусах и трейлерах, которые и служат им местом проживания. Их жизнь проходит в этом пунктирном передвижении, их карта и расписание заданы всевозможными открытыми фестивалями, священными гетеротопическими местами и магическими маршрутами. Они притязают на право прокладывать путь независимо от расположения существующих мест, земель и ландшафтов. Местные жители, гости, временно занимающие территорию, которую я называю «ландшафтом», и автохтоны, постоянно живущие на «земле», обычно считают туристические фестивали и палаточные стоянки визуальным загрязнением.

Путешественники могут задерживаться в разных местах и загрязнять места стоянок, вызывая активное неприятие и спланивая местные сообщества вокруг противостояния пришельцам. Солидарность сообщества в целом часто является следствием враждебности к чужакам, к тем, кто мобилен: к цыганам, едущим на лошадиную ярмарку, к туристам, направляющимся на независимые фестивали или в пансионаты, к работающим в городе владельцам автомобилей, загрязняющих маленькие деревеньки, и т.д. Особенно сильная враждебность может выплескиваться на тех, кто на какое-то время задерживается в среде местного населения. Хедерингтон так описывает реакцию на «вторжение»: «как и в случае евреев и цыган, преследуемых столетиями, “путешественников-хиппи” ненавидят не за то, что они находятся в вечном движении, но зато, что они могут остаться и “заразить” своей двойственностью» [Hetherington, 1992, p. 91; 1998].

Если говорить в целом, весьма неожиданным следствием крайней индивидуализации и развития рыночных начал в обществе стало укрепление социальных практик, «систематически избегающих диктата меновой стоимости и логики рынка» [Berking, 1996, p. 192]. Подобные сетевые практики часто зиждутся на отноше-

ниях взаимности, в том числе на дарении, добровольном труде, сети самопомощи и даже дружбе. Они приобретают символическую ценность как места сопротивления миру, в основе существования и регулирования которого предположительно лежат глобальные отношения, эгоизм и господствующие рыночные отношения (о сетях см. [Keck, Sikkunk, 1998, p. 8–9]. Кастельс, в свою очередь, почти все современные социации считает одновременно сопротивляющимися глобализации и использующими объекты глобального [Castells, 1997; McKay, 1998].

Значение «активистов без границ» в более общей перспективе было проанализировано Кеком и Сикканком, которые описывают эти структуры как организованные в «транснациональные сети защиты интересов» [Keck, Sikkunk, 1998]. Самым поразительным фактом является рост числа таких сетей в послевоенный период. Количество «международных неправительственных организаций, ориентированных на социальное изменение» (своеобразный «официальный рупор» более широкой категории транснациональных сетей), выросло со 102 в 1953 г. до 569 в 1993 г., т.е. более чем в 5 раз [Keck, Sikkunk, 1998, p. 11]. В некоторых областях наблюдался еще более значительный прирост: так, число групп «развития» увеличилось в 10 раз, а экологических — в 45 раз за тот же сорокалетний период. Вместе группы, защищающие права человека, экологию и права женщин, составляют сегодня более половины транснациональных сетей. По другим оценкам, существует около 5 тыс. международных НПО самого разного толка [Billig, 1995, p. 131].

Увеличение числа этих транснациональных сетей обусловлено удешевлением авиаперелетов, новыми коммуникационными технологиями, позволяющими поддерживать неформальные связи между членами сети, а также формированием широкой глобальной аудитории (наследие 1960-х годов). Кек и Сикканк приходят к следующему выводу:

Происшедшему сдвигу способствовали волны активизма, прокатившиеся за это десятилетие по Западной Европе, США и многим странам третьего мира, а также возросшие возможности международных контактов. Благодаря значительному падению цен на авиабилеты поездки за границу перестали быть исключительной привилегией состоятельных граждан. Студенты участвовали в программах международного обмена. Корпус мира и светские миссионерские программы отправили тысячи молодых людей жить и работать в развивающиеся страны [Keck, Sikkunk, 1998, p. 14–15].

Важным следствием новых мгновенных потоков образов, информации и свидетельств, порождаемых подобными транснациональными сетями, стало препятствование монополизации государствами и корпорациями сведений, доступных обществу. Особенное значение имеют те потоки, которые поступают в и из развивающихся стран, поскольку ранее они передавались посредством медленных и ненадежных систем почтового сообщения. Теперь же информация и образы могли циркулировать по плотным сетям коммуникаций, связывающим транснациональные сети. В связке с конкурирующими медиа сети способны подрывать репутации государств и корпораций (см. [Keck, Sikkink, 1998, p. 21], а также гл. VII наст. изд.). Чрезвычайную важность приобрели потоки образов и информации, связанные с глобальными конференциями по вопросам экологии, прав человека, развития, политики в отношении женщин и т.д. Например, на Всемирной конференции по правам человека, состоявшейся в Вене в 1993 г., присутствовали представители 1,5 тыс. НПО. По словам Кека и Сикканка, мы наблюдаем рождение «транснационального гражданского общества как арены борьбы, раздробленной и высококонкурентной среды» [Keck, Sikkink, 1998, p. 33], к которой я обращаюсь в седьмой и восьмой главах.

НАСЛЕДИЕ, НАЦИЯ И ДИАСПОРА

В этой главе я рассматривал различные современные формы проживания. Я уже указывал на то, что главную роль в них часто играют объекты; причем каждая форма предполагает различные комбинации принадлежности и перемещения. Я отметил, что эти формы часто указывают на рассредоточенные сетевые паттерны взаимодействия, приводящие к сжатию и распаду национальных гражданских обществ. Теперь я непосредственно перейду к вопросу нации и рассмотрю некоторые обыденные практики, из которых национальная идентичность исторически возникла, благодаря которым поддерживалась и подвергалась критике. Я также кратко вернусь к понятию «банального национализма», упомянутому в первой главе, указав на различные способы производства и воспоминания уникального и неповторимого национального наследия и проанализировав разнообразные траектории трансформации государственности и национализма.

Ранее я уже указывал на значимость «воображаемого присутствия» в жизни индивида других, разделяющих с ним нечто общее, а также роль бытового национализма, составляющего неотъемлемую часть человека и его идентичности. Центральным элементом любой нации является автонарратив. Национальные предания повествуют о народе, который шествует сквозь века, уходящие во мглу времен [Bhabha, 1990]. Каждое ледниковое время национальной истории, текущее чрезвычайно медленно, считается уникальным — это время, присущее лишь данной нации, время, общее для всех ее представителей [Billig, 1995, p. 70–74]. Этот «банальный национализм» и представление о глубоко индивидуальной истории каждой нации чем-то подобны фракталу. Банальный национализм вбирает в себя неправильные, но странным образом подобные друг другу формы, обнаруживаемые в разрозненных явлениях на всех уровнях социального тела, начиная с каждого отдельного человека, местных сообществ и заканчивая ядром общества.

Вместе с тем представляется очевидным, что этот фрактал ни в коем случае нельзя считать «естественным». История национальной традиции и символов каждого общества в значительной своей части является результатом сознательного конструирования, основанного на сохранении памяти о прошлом в той же мере, что и на ее вытеснении [McCrone, 1998, ch. 3]. Европа второй половины XIX в. являет собой эпоху удивительных открытий, национальных традиций, выстроенных на основаниях особых временных периодов и мест, которым был придан сакральный характер. Наирн показывает, как сильные националистические традиции Англии создавались при помощи «волшебного зеркала» монархии [Nairn, 1988]. День взятия Бастилии во Франции, который 14 июля отмечают как национальный праздник, был введен в 1880 г., «Марсельеза» стала национальным гимном в 1879 г., а Жанна д'Арк возвращена из исторического небытия католической церковью в 1870-х годах [McCrone, 1998, p. 45–46]. В целом же идея Франции, изначально носившая элитарный характер, была популяризирована в ходе «процесса, напоминающего колонизацию посредством коммуникации (дороги, железнодорожное сообщение и, прежде всего, газеты...), так что к концу XIX столетия народная и элитарная культуры сошлись воедино» под воздействием различных форм физической и воображаемой мобильности [Ibid., p. 46]. Важной частью

этого процесса стало массовое возведение национальных общественных монументов, особенно в перестроенном Париже, где они стали приманкой для туристов и объектом созерцания, обсуждения и тиражирования через картины, фотографии, а позднее фильмы.

Возникновение чувства коллективной причастности и нациообразующая роль путешествий в целом связаны с открывшейся в 1851 г. в лондонском Хрустальном дворце Всемирной выставкой. Это было первое туристическое событие общенационального масштаба. Хотя население Британии составляло в то время лишь 18 млн, на выставке побывало неслыханное число — 6 млн человек, причем чтобы впервые попасть в столицу, многие воспользовались новейшей технологией железных дорог. Многие из этих поездок были организованы легендарным Томасом Куком, в 1854 г. заявившим, что «весь мир пришел в движение» (цит. по [Lash, Urry, 1994, p. 262]). Во второй половине XIX в. подобные мегасобытия случились по всей Европе, затронув около 30 млн человек [Roche 1999]. Мода на них распространилась по всему миру. Проведение таких международных событий, ставшее возможным благодаря появлению средств массового передвижения, туризму и духу космополитизма, привело к тому, что национальная идентичность все больше начинала пониматься через местоположение на общеевропейской сцене. Именно создание общей сцены упростило как физические, так и воображаемые путешествия к (и между) местам мегасобытий [Roche, 1999].

В 1876 г. в США и в 1888 г. в Австралии проходили празднования столетних юбилеев государственности [Spillman, 1997]. В США главным событием в череде праздничных мероприятий, длившихся целый год, стала Филадельфийская выставка столетия, которую посетили более 8 млн человек. Считается, что на выставке побывал каждый двадцатый американец, а многие из не сумевших туда попасть смогли насладиться фотографиями с места события [Ibid., p. 38–39]. В австралийском Мельбурне в 1888 г. была организована Международная выставка столетия, целая серия была проведена в Сиднее. Подсчитано, что в Мельбурне побывало невообразимое количество людей, около двух третей всего населения Австралии [Ibid., p. 51]. В обеих странах международные выставки были сочтены наилучшим способом выразить и укрепить национальную идентичность, поскольку приковали к себе взоры всего остального человечества, по-

зволюив нациям подтвердить свой статус, показать достижения и отличительные черты. Посетители со всей страны и из-за ее пределов могли засвидетельствовать конкретные государственные успехи и особенности (хотя ни одно из представленных событий не избежало тогда противоречивых оценок, см. [Spillman, 1997, ch. 3]).

Итак, физическая мобильность является важной частью процесса, посредством которого представителям отдельных стран внушается представление об общей идентичности, связанной с определенной занимаемой обществом территорией или с претензиями на нее. С середины XIX столетия путешествия с целью ознакомления с важнейшими местами, текстами, выставками, сооружениями, пейзажами и общественными достижениями внесли значительный вклад в укрепление культурного представления о существовании воображаемой нации. Особенно важную роль в генеалогии национализма в большинстве обществ сыграло создание национальных музеев, появление национальных художников, архитекторов, музыкантов, драматургов, писателей, историков, археологов, а также демонстрация национальных достижений на всемирных выставках [McCrone, 1998, p. 53–55; Harvey P., 1996, p. 56–57]. Имена многих художников и интеллектуалов, равно как и названия обязательных для посещения мест и событий, стали отождествляться с национальной культурой.

Следовательно, даже кажущаяся внешне простой английская культура стала продуктом соединения множества различных элементов и составляющих, в том числе исторических паттернов путешествия и обмена между странами и культурами «Империи» [Hall, 1990; Gilroy, 1993]. Более того, физическое перемещение сыграло ключевую роль в создании и поддержании чувства английской национальной идентичности. Люди стали ездить к священным культурным местам (таким как Букингемский дворец или английские деревни); к местам, отраженным в главных письменных и визуальных источниках (Озерный край, Стратфорд-на-Эйвоне); туда, где состоялись важнейшие национальные события (Гастингс, Гражданская война); на встречи с заслуженными людьми или документальными свидетельствами о них (монарх, «Шекспир»); на события, позволяющие познакомиться с другими культурами или упрочить чувство своего национального превосходства (например, поездки в континентальную Европу или в бывшие колонии).

Национализм исторически был связан с превознесением определенных черт физического ландшафта. Как утверждает Ловенталь, поскольку в Англии немного символов национальной идентичности, таких как национальный костюм, флаг или общенародные праздники, развитие получила именно живописная составляющая английской идентичности:

Один из символов исторического наследия обладает отчетливо английским характером. Это ландшафт. Нигде больше ландшафт не относят к наследию. Сам этот термин в других странах означает не больше чем просто пейзаж и «образ жизни», но никак не основные национальные добродетели... сельская Британия бесконечно прославляется как некое чудо света (см. [Lowenthal, 1991, p. 213; 1994], см. также [Condor, 1996, p. 42–43]).

Важнейшую роль в этом социальном освоении пространства сыграла английская деревня. Хилэр Беллок полагал, что сердце (южной) Англии находится в деревне, приобретшей едва ли не мифологический статус исконного английского сообщества. В период между двумя мировыми войнами Болдуин, называвший себя «человеком с проселочной дороги», сыграл ключевую роль в развитии идеологии английской деревни, жестко различающей город и деревню как виды социального пространства. Значение лучшего образца английскости в межвоенный период приобрела картина Констебла «Телега для сена». По мнению Миллера, развитию и поддержанию этой общенациональной деревенской идеологии в 1930-е годы способствовало распространение вещания национального радио, создававшего образ деревни как предмета потребления жителями городских регионов [Miller, 1995].

Английская сельская местность изобилует памятниками былым свершениям, в особенности теми, что символизируют господство над другими народами Соединенного Королевства. Сельские районы Ирландии, Шотландии и Уэльса, напротив, усеяны мемориалами погибшим солдатам и проигранным битвам [Lowenthal, 1991, p. 209–210]. Как и национализм других колонизированных народов, ирландский превозносит живописность своей сельской местности, интериоризируя элементы самой колониальной культуры, которой пытался противостоять. Тем самым ирландцы подают пример того, что Пратт применительно к более общему феномену называет этнографическим самовыражением. Последнее включает колонизированное население, присваивающее фразеологию колонизаторов, «про-

зорливцев», чей имперский взгляд охватывает весь земной шар и овладевает большей его частью [Pratt, 1992].

Разумеется, в качестве национальных символов прославляются различные черты ландшафта: альпийские высоты и воздух Швейцарии, фьорды Норвегии, болота Ирландии, неосвоенные территории Дикого Запада в США, пустоши Дании, гейзеры Новой Зеландии и т.д. [Lowenthal, 1994]. Иногда национальной эмблемой становится сама сложность ландшафта, например, Франции [Ibid., p. 19]. Кроме того, одним и тем же физическим особенностям в разных странах может придаваться разное значение. Шама демонстрирует это на примере лесов, исключительно влиятельная и разнообразная мифология которых вошла в плоть и кровь различных культур [Schama, 1995, pt. 1]. В Германии леса издавна считались олицетворяющими дух милитаризма. Это глубоко укоренившееся представление активно использовалось и развивалось в модернизационной политике нацистов. В Англии лес всегда был символом той идеи, что свободу от деспота могут получить скрывшиеся под сенью деревьев (подобно героям мифа о Робин Гуде). Во Франции леса символизировали страсть к порядку и государственное вмешательство. В Польше — вечную борьбу за национальное освобождение. В США калифорнийские секвойи считались американским достоянием, знаком уникальности страны и избранности американского народа.

Пока я придерживался того тезиса, что под «национальным наследием» обычно понимается и удерживается в памяти нечто, являющееся для общества неизменным и одновременно представляющим и совпадающим с интересами национальных элит. Так, в Англии к числу объектов, «сохраняемых для нации» Национальным трастом (организацией по охране исторических памятников, достопримечательностей и живописных мест) и другими учреждениями в сфере защиты национального наследия, преимущественно относились дома и поместья живших на юге страны землевладельцев. Предполагалось, что именно эти дома, поместья и связанные с ними формы жизни высшего класса составляют национальное наследие и лежат в основе английскости (см. [Wright, 1985; Lowenthal, 1985; Samuel, 1994, pt. 3]). Подобные примеры легко обнаружить и в других странах. Вместе с тем можно указать на три типа трансформации такого единственного в своем роде, неповторимого национального

наследия. Эти трансформации имеют много общего, поскольку связаны с физической и воображаемой мобильностью, которая подрывает уникальное и неизменное чувство нации и национальной идентичности.

Во-первых, явлением относительно недавнего времени можно признать формирование глобальной публичной сцены, на которой выступают, конкурируют друг с другом и заявляют о себе практически все нации. Предъявление себя на этой сцене происходит преимущественно при помощи медиа. В следующей главе я вернусь к этому вопросу, анализируя сдвиг от публичной сферы к публичной сцене или, условно говоря, повсеместную перформативность глобальной публичной сцены, где даже нации обязаны давать некие представления. Названное предъявление себя в наиболее явном виде происходит во время проведения мега-событий — олимпиад, кубков мира, а также выставок, как непосредственно посещаемых, так и наблюдаемых через СМИ.

Всемирная выставка в Севилье в 1992 г. предоставляет уникальную возможность заглянуть вглубь этих процессов. Как я отмечал, такого рода выставки действуют как некий механизм порождения национального чувства, раскрывающий нарративные возможности создания образов национальных культур [Harvey P., 1996, ch. 3]. Посредством мощных образов, символов и эмблем национальные государства заявляют о себе как о хранителях стабильности, преемственности, уникальности и гармонии. Однако Севилья стала также местом притяжения международного капитала, финансирующего различные национальные смотры, экспо как таковую и ее выставочные пространства, в особенности те, на которых представлены коммуникационные и информационные достижения, позволяющие преодолевать национальные границы. Во главе угла такого рода смотров стоят запросы потребителей, индивидуальный выбор, идеология космополитизма и свободные рыночные отношения поверх национальных границ (к фигуре пересекающего границы туриста отсылает и практика коллекционирования марок в выставочном паспорте). Всемирные выставки — это места прославления глобальных каналов передвижения и потоков, а также компаний, мобилизующих подобные мобильности, тогда как нации преимущественно выступают на них лишь в качестве зрелища и символа при кратковременном туризме, которые формируются и превозносятся на такого рода экспо.

Все это подводит нас к тезису Майера об изменении самой природы национальности [Maier, 1994, p. 149–150]. Последняя зиждилась ранее на гомогенной, картографированной национальной территории, в границах которой действовали установленные единые законы, шла конкуренция за власть и лояльность. Теперь же границы стали проницаемыми, а культурная жизнь в значительной мере основана на трансграничном взаимодействии (например, через Евро), как следствие, «территория перестала играть ключевую роль в вопросе национального самоопределения» [Ibid., p. 149]. Сегодня наибольшую значимость приобрели определенные места и ландшафты, национальные эмблемы. Необходимо также указать на силу образов этих мест и ландшафтов, поскольку именно они вовлечены в непрерывную циркуляцию на глобальной сцене массмедиа и мегасобытий.

Во-вторых, наблюдается распространение различных, зачастую узколокальных социаций, которые пытаются спасти «свою историю» и особенно образы и воспоминания о былых формах проживания. Такая локальная борьба с властью национальных элит отразилась в острых спорах вокруг празднования двухсотлетия Австралии в 1988 г. [Spillman, 1997, ch. 4]. Решительное сопротивление торжествам оказали аборигены, назвавшие День Австралии «Днем Вторжения». В результате этой борьбы за память и историю организаторы празднования сократили количество публичных мероприятий, посвященных моменту основания «Австралии» двумя веками ранее. Они не стали делать акцент ни на этом событии, ни на отдельных эпизодах двухсотлетней истории страны, но сосредоточились на разнообразии местных традиций и процессов, сформировавших в результате общую австралийскую культуру. Протесты коренных жителей и местные традиции в конечном счете наложили свой отпечаток.

Самуэль наиболее ярко описал природу подобного переоткрытия локальных традиций в Британии [Samuel, 1994]. Рассуждая о новых демократических, семейных, рабочих, феминистских, потребительских и бытовых традициях, которые были задокументированы и предъявлены публике различными группами, пытающимися привлечь посетителей, чтобы те увидели, прикоснулись, услышали и вспомнили, он приходит к следующему выводу:

...«наследие», которое защитники окружающей среды стремятся сохранить, а поисковые проекты — обнаружить, наследие, которое праздная публика и посетители музеев должны «ощутить», во мно-

гом оказалось новоделом. Будучи безусловно британским... оно радикально отличается от хрестоматийных версий «нашей островной истории». У него мало общего с преемственностью монархии, парламента и британских национальных институтов... Именно малые группы, а не большое общество находятся в фокусе внимания этой новой версии национального прошлого [Samuel, 1994, p. 158].

С начала 1960-х годов наблюдается рост количества новых, связанных с национальным наследием мест, открытых и поддерживаемых силами энтузиастов, которые оспаривают некогда господствовавшие традиции, расширяют и развивают горизонтальные связи гражданского общества, меняя представление о том, что и кто олицетворяет собой нацию. Примерами охраняемых малыми группами форм проживания служат локомотивы, каналы, промышленные археологические площадки, доки, древние языки, деревья, паровые механизмы, усадьбы, мельницы, заброшенные угольные шахты и т.д. [Corner, Harvey, 1991; Dicks, 1997]. Сегодня существует около 13 тыс. обнаруженных древних памятников, новые музеи открываются едва ли не ежедневно, 78 музеев посвящено железным дорогам, 180 — ветряным и водяным мельницам [Samuel, 1994, pt. 2].

Одну любопытную малую группу, или бунд, создал на острове Скай в Шотландии «Центр Арос» (Aros Heritage Centre) [Macdonald, 1997]. Два его основателя занимались различными проектами, связанными с возрождением гэльского языка. Они считали, что создание центра будет способствовать укреплению гэльского языка и культуры. В «Аросе» есть несколько «аутентичных» выставок, но поскольку физических памятников этой культуры сохранилось немного, большей частью на ней представлены «репродукции». Гораздо большим значением обладает сама история, повествующая об упадке гэльской культуры, связанном с сопротивлением местных кельтов английским и шотландским клановым вождям [Macdonald, 1997, p. 162–163]. «Арос» переводится как «наследие острова» (Скай). Оно включает в себя «неуловимые явления природы, характера и долга», которые не могут быть отчуждены и переданы продавцом покупателю [Ibid., p. 173]. Однако такое неотчуждаемое наследие не предполагает наличия исконной, нетронутой и неизменной культуры. Гэльское наследие — это, скорее, история контактов и связей с многочисленными чужаками, причем в этой истории подчеркивается гибкость, устойчивость и усвоение инородных

гэльской культуре элементов. Гэльское наследие, таким образом, всегда представляло собой некий гибрид, оно никогда не существовало в чистом виде, возникнув лишь в момент соприкосновения с пришельцами. Оно было развито и разработано этим гэльскоговорящим бундом, обнаружившим новые способы пребывания и перемещения в пределах все более выгодной и автономной шотландскости (о создании «бренда Шотландия» см. [McCrone et al., 1995; Edensor, 1997]).

Шотландия являет собой выдающийся пример подъема «неонационализма», характерного для многих развитых обществ Северной Америки и Западной Европы. Такие тенденции проявились сравнительно недавно и связаны, скорее, с относительным благосостоянием, нежели с бедностью, а в основе их лежит гражданский, а не этнический национализм. Национализм здесь оказывается прогрессивным, а не реакционным, а само движение развивается в странах, в определенном смысле уже обладающих «сплоченным гражданским обществом» [McCrone, 1998, ch. 7]. Более важно то, что неонационализму такого толка свойственно множество идентичностей. Единого «подлинно национального характера» больше нет, поскольку человек может выступать носителем нескольких идентичностей. Так, от половины до двух третей всех жителей Шотландии считают себя одновременно шотландцами и британцами [Ibid., p. 140].

В-третьих, многочисленные источники на тему диаспор демонстрируют, насколько сложно поддерживать единое и всеохватное национальное наследие. Постколониальные исследования показали, что все культуры в известной мере неаутентичны, сконструированы и сформированы сложными взаимодействиями с другими культурами. Так, Абдульраззак Гурна устанавливает, что в случае Эфиопии колониальные культуры не преследовали исключительно целей угнетения: «они редко подавляли нашу исконную культуру и при этом внесли заметный вклад в формирование нашего мировоззрения... однажды усвоенные, отдельные элементы таких преобразованных “чуждых” культур становятся нашими» [Gurnah, 1997, p. 121]. Таким образом, эти культуры создавались и переделывались под влиянием потоков людей, объектов и образов, пересекающих границы туда и обратно. Эти физические и воображаемые мобильности возникали вследствие реализации различных моделей колониального управления, волн трудовой миграции, паттернов изгнания

и поиска убежища, индивидуальных путешествий и массового туризма, поп-культуры и массмедиа, сложных отношений обмена в постколониальный период, «мифов о возвращении» и т.д. [Bhabha, 1990]. К примеру, изучая область, разделяющую африканский, европейский и американский континенты, Гилрой приходит к следующему выводу: «в противоположность... подходам, абсолютизирующим этничность, я выступаю с предложением к историкам культуры рассматривать Атлантику как единый комплексный предмет анализа... и использовать его для выработки сугубо транснационального и межкультурного видения» [Gilroy, 1993, p. 15]. С этим связано и применение им продуктивной метафоры корабля (см. гл. II наст. изд.).

Креолизация или гибридизация культуры является следствием сложных, неравномерных и неравновесных процессов социального взаимодействия, зачастую растянутых на несколько столетий, процессов, породивших множество обществ человеческой цивилизации. В то время как сегодня существует всего 200 государств, в мире насчитывается по меньшей мере 2000 «наций-народов», большая часть которых страдает от тех или иных форм территориального притеснения (см. [Cohen, 1997, p. ix-x]). Лишь небольшое число обществ можно в какой-то степени считать отдельными национальными государствами. Большинство из них таковыми не являются, не будучи в полной мере даже нациями. Возможно, самым поразительным примером общества, не обладающего признаками национального государства, являются «заморские китайцы», насчитывающие от 22 до 45 млн человек [Ibid., ch. 4].

Многие из названных 2000 обществ можно считать диаспорами, если только избавить это понятие от каких-либо ассоциаций с глубокой жертвенностью, вынужденной утратой и травматическим опытом, традиционно отсылающим к истории еврейского народа. Коэн предлагает более сложную типологию, выделяя жертвенные (например, диаспоры африканцев — потомков рабов), трудовые (итальянцы в США), торговые (ливанцы), имперские (сикхи) и культурные диаспоры (то, что Гилрой назвал «черной Атлантикой» [Gilroy, 1993; Cohen, 1997; Van Hear, 1998]). Идея диаспоры предполагает наличие представления о том, что люди, покинувшие родину, должны хранить ей верность, поддерживать с ней эмоциональную связь и сохранять идентичность. Сама же родина может определяться в терминах

языка, религии, обычаев или фольклора. Таким образом, все диаспоральные сообщества отчасти культурно обусловлены.

Диаспоральные общества не могут сохраняться без физических, воображаемых и все более виртуализирующихся путешествий на родину и к другим частям диаспоры [Kaplan, 1996, p. 134–136]. Клиффорд подчеркивает значение средств мобильности: «рассеянные народы, некогда отрезанные от дома океанами и политическими барьерами, устанавливают все более тесные трансграничные связи с родиной благодаря поездкам туда и обратно, ставшим возможными с появлением современных транспортных и коммуникационных технологий, а также за счет трудовой миграции. Самолеты, телефоны, магнитофонные ленты, видеокамеры и рынки мобильной рабочей силы сокращают расстояния и упрощают двустороннее перемещение — как легальное, так и нелегальное — между разными точками планеты» [Clifford, 1997, p. 247].

Священные места, семьи и члены сообщества, которых необходимо посетить (физически или в воображении), находятся в пределах разных обществ. Они связаны друг с другом «структурированными цепями перемещений» [Ibid., p. 253]. Эти модусы путешествий и обмена, названные Клиффордом «латеральными осями диаспор», преобразуют сам смысл «наследия» данной социальной группы, которое никогда не является чем-то неизменным, устойчивым, естественным и «аутентичным» [Ibid., p. 269]. Изобретаемые культуры представляют собой причудливые гибриды, создаваемые и изменяемые посредством неоднородности, различия и разнообразных форм мобильности. Дайкен демонстрирует тревожный характер такого рода гибридных идентичностей на примере турецкой диаспоры в Дании [Diken, 1998, ch. 5]. Он утверждает, что лозунг «нет гибридам в единой Дании» весьма точно характеризует стремление датчан к чистоте и порядку и их враждебность к культурной гибридности турок.

Воображаемые путешествия посредством телевизионных образов стали чрезвычайно важны для наследия и идентичности некоторых групп [Samuel, 1994, p. 25]. Драматическим примером диаспорального наследия, преобразованного в ходе воображаемого путешествия, является наследие ирландской культуры. Благодаря литературе, искусству, выпивке, танцам, спорту, бренду «Кельтского тигра» и т.д. символы ирландскости стали

яркой составляющей современной глобализированной культуры [Peillon, Salter, 1998]. Ирландскость больше не означает бедность, злоупотребление алкоголем или чернорабочих. Выйдя на глобальную сцену, ирландскость видоизменилась. Интересно проследить этот момент на примере «Риверданса», классического культурного гибрида. Истоки «Риверданса» отчасти связаны с ирландскими танцами, однако акцент на ошеломительной зрелищности, визуальной красочности и акустической технологизации тела превратили это шоу в квинтэссенцию «глобального танца» [O'Connor, 1998]. Ведущие исполнители «Риверданса» вместе со многими другими глобальными звездами стали в Ирландии «диаспоральными героями». Они составляют часть диаспоральной элиты, члены которой сумели создать собственные биографические нарративы, находясь и перемещаясь внутри глобальных сетей и потоков. Как замечает Корноран, «наши диаспоральные герои являются выходцами именно из тех сфер жизни, которые тесно связаны с глобальной информацией и коммуникационными структурами — транснациональными медийными системами, международным спортом и книгоизданием» ([Corcoran, 1998, p. 136]; примерно то же можно сказать о диаспоральных героях «черной Атлантики»).

Коэн приходит к заключению, что существует избирательное родство между тем, что мы могли бы назвать «диаспоризацией», и распространением глобальных сетей и потоков. Дело в том, что

детерриториализованные, многоязычные, способные преодолеть разрыв между глобальными и локальными тенденциями диаспоры могут извлекать выгоду из существующих экономических и культурных обстоятельств... Чем более интегрированными в космополитический мир они становятся, тем больше их сила и значение [Cohen, 1997, p. 176].

Движению потоков мигрантов и прибыли через национальные границы, а также организации диаспоральной торговли в целом способствуют тесные семейные, родственные, клановые и этнические связи внутри диаспор. Склонность последних размещаться в крупных «глобальных» городах подразумевает, в частности, что они вносят свой вклад и извлекают прибыль из этих быстро развивающихся территорий, все более космополитических по своей сути [Hannerz, 1996]. Так, один китайский инвестор из Сан-Франциско заявил, что мог бы жить в любой

точке земного шара при условии, что поблизости будет аэропорт [Clifford, 1997, p. 257]! Значение определенных узлов для той или иной конкретной диаспоры можно оценить на примере заморских китайцев, создавших множество китайских кварталов в крупных городах по всему миру. Самый большой Чайна-таун находится в Нью-Йорке и возник совсем недавно. В 1960-х годах здесь было всего 15 тыс. жителей, однако за следующие 20 лет их численность выросла в 20 раз, что привело к колоссальному росту различных услуг, мастерских, магазинчиков, а также к профессионализации торговли. Естественно, Чайна-тауны стали ключевыми узлами в системе «глобального туризма», поскольку они торгуют «этнической стариной», которая очищена и упакована специально для привлечения взгляда международного туриста [Cohen, 1997, p. 93].

Наконец, следует заметить, что, по-видимому, мы являемся свидетелями возникновения и других типов транснациональной идентификации. Две трети населения стран Евросоюза заявляют, что ощущают себя европейцами, хотя не многие связывают свои чувства с Евросоюзом как политическим образованием [Leonard, 1998, p. 19]. Хабермас допускает, что это может привести к формированию европейского гражданского общества, если только общеевропейская публичная сфера окажется для этого достаточно развитой [Habermas, 1998, p. 7; 1992]. Последняя может возникнуть на основе дискуссий о проблемах Евросоюза, роста информации о Европе в целом, проведения общих культурных и спортивных событий, развития практики физических путешествий и т.д. [Stevenson, 1997, p. 57; Morley, Robins, 1995]. Однако в этой европейскости заметны строгие классовые различия, поскольку европейцами в основном оказались капиталисты, менеджеры и профессионалы, хотя как раз они представляются наиболее глобализированными [Mann, 1998, p. 195–196; Roche, van Berkel, 1997; Axtmann, 1998].

Итак, я проанализировал три типа распада наций и национального наследия. Наблюдается появление различных глобальных «сцен», требующих превращения наций и идентичностей в зрелища. Многие формы альтернативных воспоминаний и наследия были созданы «малыми группами» без участия национальных элит. Прогрессивные в экономическом и культурном отношении диаспоры и транснациональные идентичности родились из сложных форм мобильностей, одновременно спо-

собствуя их развитию. В седьмой главе я рассмотрю влияние этих процессов на гражданство и перейду к вопросу о том, как они подрывают способность национальных государств надеяться свои народы исключительным гражданством, связанным с определенной территорией. Коэн отмечает расширение пространства для множества союзов, создаваемых как внутри, так и за пределами национальных государств. Функционирует «цепь космополитических городов, наблюдается подъем субнациональных и транснациональных идентичностей, которые нелегко удержать в системе национальных государств» или связать с четким и эксклюзивным национальным гражданством [Cohen, 1997, p. 175].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, существуют разные способы проживания, однако стоит нам отвлечься от проживания на земле, как едва ли не все они оказываются вовлеченными в сложные отношения между принадлежностью и путешествием как внутри, так и за пределами национальных границ. В самом деле можно сказать, что люди обитают в разных мобильностях. Белл Хукс пишет: «Дом — это больше не единое место. Это местоположения» [Hooks, 1991, p. 148]. Я также указал на те способы, посредством которых мгновенное время преобразовывает сегодня модусы принадлежности и путешествия. В наши дни время «походит на все более уменьшающуюся в размерах коробку, внутри которой мы бежим по беговой дорожке, яростно ускоряясь»; все, что мы приобретаем, — это «наикратчайший опыт времени» [Masu, 1993, p. 206; Virilio, 1986].

В заключение я обращаюсь к тому типу времени и формам проживания, которые неоднократно упоминал в этой главе. Ледниковое время противостоит мгновенному времени и пытается замедлить его до «природной скорости» [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 5]. Метафора ледника несет с собой несколько характеристик. Во-первых, ледниковое время крайне медленно и неповоротливо, оно рассинхронизировано как с часовым, так и с мгновенным временем. Изменения в нем происходят за время жизни нескольких поколений и могут быть заметны лишь тогда, когда много поколений сменяют друг друга. Такие перемены связаны с ледниковым контекстом или средой. Ледник нельзя от-

делить от среды, в которой он, условно говоря, проживает. Здесь он требует длительного внимания и мониторинга. Невозможно предсказать, что случится в столь долгосрочной перспективе, поскольку небольшие изменения в «среде» ледника могут повлиять на его дальнейшую сохранность. В свою очередь, его состояние оказывает значительное воздействие на «среду». Время ледника — неотъемлемый элемент его существования как ледника, а не нечто внешнее, вмененное ему различными измерительными приборами.

Таким образом, ледниковое время неспешно настолько, что не может быть оценено и проконтролировано при жизни данного поколения. Оно предполагает зависимость различных процессов от их контекста и прогнозирование того, что произойдет через несколько поколений. Это время, внутренне присущее модусу собственного проживания, подражая, таким образом, беспредельным «топосам времени» физического мира. Последние включают тысячелетия, которые уходят на регенерацию почвы, полный распад источника радиоактивного излучения или проявления влияния генетически измененных организмов.

Такое понимание времени было впервые предложено различными авторами и специалистами по проблемам окружающей среды, утверждавшими, что люди должны согласовывать свои жизни с ледниковой темпоральностью физического мира. Так, по словам Гриффитса, мы должны преодолеть одержимость скоростью, передвигаться пешком и на велосипеде, отказаться от машин или самолетов, понять, насколько неспешен природный ритм жизни, и соотнести с ним наши действия [Griffiths, 1995]. В подобном ключе высказывается и Мейси, подчеркивающая необходимость «вырваться из временной ловушки», созданной современным мгновенным временем. Она отстаивает идею обживания «времени в более здоровом и разумном ключе», подчеркивая необходимость «обновления нашего опыта времени в органических, экологических и даже геологических терминах и восстановления отношений с другими видами» [Масу, 1993, р. 206]. По мнению Маккей, люди, участвующие в дорожных протестах, должны сменить линейные представления о времени (которое я называю часовым) на циклические, космологические или телесные [McKay, 1996, р. 139]. Как показывает Адам, садоводство несет с собой знание о будущем и заботу о нем, поскольку каждое действие здесь отмечено многочисленными параллельными вре-

менными горизонтами [Adam, 1998, p. 95–96]. Она также утверждает, что местно культивируемые сезонные продукты питания составляют основное право граждан, которое супермаркеты должны удовлетворять [Ibid., p. 157]. В целом наблюдается рост уровня осознания долгосрочных отношений между людьми, животными и остальной «природой». Эти отношения развивались на протяжении всей человеческой истории, и они же определяют неведомое и непредсказуемое будущее человека.

Представляется, что чем глубже будущее проникает в настоящее и влияет на него, тем более сильной становится озабоченность прошлым — через печать, телевизионные и электронные записи, музеи и заповедные парки, коллекции произведений искусства и артефактов, определение возраста различных видов и т.д. [Adam, 1996, p. 139]. Хайсен описывает значимость памяти как «попытку замедлить обработку информации, противостоять распаду времени... заполучить некое якорное пространство в мире загадочной, часто угрожающей гетерогенности рассинхронизации и избыточности информации» [Huysen, 1995, p. 7].

Ледниковое время присутствует во многих формах сопротивления «бесприютности» мгновенного времени. Организация Common Ground стремится сделать места пригодными для «прогуливания» по ним и «проживания» в них, а не только для мгновенного их преодоления. Ее члены выдвинули идею создания «окружных карт» сообществ. Клиффорд утверждает, что в этом проявляется «вера в то, что в совокупности местные жители знают больше и заботятся сильнее, чем считалось ранее; что они могут принимать смелые решения, направлять изменения, хранить связующую нить истории и поддерживать богатство природы в ее здоровье и витальности» [Clifford, 1994, p. 2]. Такого рода замедление места или завладение им «сообществом» требует ледникового времени. Люди начинают ощущать груз истории, памяти и практик, связанных с данным конкретным местом, они начинают верить в то, что оно сможет сохранить свою сущность на многие поколения. Для Common Ground подобные места могут быть всюду и далеко не всегда иметь пристойный вид. Признаки локальной самобытности того или иного места Клиффорд описывает как «патину и те мельчайшие детали, из которых сотканы обычные места, что придает им подлинность и исключительность», сохраняет их на протяжении долгого времени и оказывает воздействие на различные

чувства людей [Clifford, 1994, p. 3]. Способность замечать детали тех или иных мест, таким образом, требует ледникового времени в противоположность часовому времени национального государства и мгновенному времени физических, воображаемых и виртуальных путешествий.

Источником ледникового времени может стать место рождения или воспитания, текущего местопребывания или труда, а также места действительного и предполагаемого физического или воображаемого посещения. Однако здесь возможны конфликты между различными ледниковыми временами. Ли описывает такой конфликт на примере истории Тисового озера в Озерном крае [Lee, 1995]. Во-первых, есть время эстетической красоты. В Англии оно поддерживается Национальным трестом, деятельность которого направлена на сохранение неизменного *вида* озера для будущих поколений. Такая визуальная консервация может быть осуществлена посредством вмешательства в природу. Во-вторых, есть скрытые геологические и геоморфические процессы, которые «естественным образом» осушают озеро и превращают его в луг, т.е. препятствуют его сохранению для обозрения будущих поколений. Во втором случае мы наблюдаем *невидимые* долгосрочные естественные процессы в действии. Какое именно ледниковое время одержит верх, зависит от борьбы, которая отчасти происходит между разными чувственными планами.

Утверждается также, что женщины в большей степени подвержены чувству ледникового времени. В определенной мере это обусловлено необходимостью выработки в себе некоего теневого времени, времени, существующего в тени часового и частично от него отличающегося [Adam, 1990, p. 94]. Дейвис показывает, что время «сиделки» всегда открыто, не подвержено коммодификации гораздо более «мужского» часового времени ([Davies, 1990]; что не исключает возможности для мужчин выступать в роли сиделки и приобрести подобное представление о времени). Женщины-сиделки не просто живут во времени, но и вынуждены им делиться [Adam, 1990, p. 99]. Вместе с тем женщины могут выработать альтернативу часовому времени в силу своей роли в «естественных» процессах рождения и воспитания детей: «Как таковое, оно [часовое время] вступает в явное противоречие с ритмами нашего тела и “естественной” средой, в которой вариации и принцип темпоральности лежат в основе

созидания и эволюции» [Adam, 1995b, p. 52]. Фокс утверждает, что работающая женщина «под давлением ограничений, которые поглощают все ее внимание, теряет привычный для нее интимный контакт с часовым временем» [Fox, 1989, p. 127]. В целом, в силу своей роли в процессе воспроизводства, рождения и воспитания детей, женщины, скорее, склонны испытывать зависимость от времени, охватывающего несколько поколений [Adam, 1995b, p. 94].

В последней главе этой книги я вернусь к теме природы и времени, особенно в контексте разработки «социологии-с-природой». Но прежде я немного подробнее остановлюсь на пересекающих границы топосах и потоках, которые трансформируют современные формы проживания, а также права и обязанности граждан по отношению к среде и земному шару в целом. Седьмая глава посвящена некоторым изменениям в вопросе гражданства применительно к разнообразным формам проживания в различных типах времени.

VII. Гражданства

Вьетнамская война, революционные преобразования в Восточной и Средней Европе, как и война в Персидском заливе, — суть первые всемирнополитические события в строгом смысле этого слова. Благодаря электронным средствам массовой информации они были одновременно предьявлены вездесущей общественности... Всемирно-гражданское состояние теперь уже не простой фантом, даже если мы все еще далеки от него.

Юрген Хабермас [Habermas, 1995, p. 279; Хабермас, 1995, с. 244]

ВВЕДЕНИЕ

Я начну с небольшого примера — статьи середины 1990-х годов, озаглавленной «Иран запрещает “Спасателей Малибу” и уничтожает “дьявольские тарелки”» [Temourian, 1995]. «Дьявольскими» были названы спутниковые тарелки, позволяющие принимать заграничные телепрограммы на территории Ирана. Исламские лидеры видят в них инструмент «вторжения культуры общемировой спеси», распространяющейся с Запада, против которых страна должна выработать «иммунитет», дабы сохранить чистоту ислама. С апреля 1995 г. каждому, пользующемуся такими тарелками, грозит тюремный срок или крупный штраф. Исламистское руководство характеризуется в статье как «противостоящее всему миру». Причем под последним понимаются определенные глобальные потоки, в том числе иностранные новости и развлекательные программы, подобные «Спасателям Малибу», которые передаются через спутники, расположенные на территории, не принадлежащей ни одному из государств. «Мир» здесь — не две сотни суверенных и независимых обществ, каждое из которых способно определять, что надлежит слушать и смотреть его населению; «мир» в статье описывается как состоящий из глобальных топосов и потоков, которые были рассмотрены в предыдущих главах.

Стоит отметить еще два момента в связи с обсуждаемой статьей. Во-первых, заявленный демонтаж спутниковых тарелок

приведет к уничтожению целой области отношений, связавших иранцев с глобальными медиа. Спутниковые тарелки играют ключевую роль, поскольку фактически создают гибридную сеть людей и объектов, гарантирующую тождество картинки CNN или «Спасателей Малибу», передаваемых в Иране и, скажем, в Италии (без учета субтитров или дубляжа). Дешевые спутниковые тарелки — всё, что связывает иранцев с разнообразными глобальными потоками. Эти тарелки служат последним звеном в глобальной коммуникационной цепи.

Во-вторых, в статье явно предполагается, что глобализация позитивна, а значит, запрет тарелок нарушает права иранцев на просмотр глобального телевидения. Очевидно, что это право распространяется и на такие легкомысленные программы, как «Спасатели Малибу». Темурьян фактически заявляет о *праве* иранцев смотреть те созданные за пределами их страны программы, которые живописуют глубоко чуждые им стили жизни и формы проявления сексуальности и гендерных отношений. Особенно важны в этой трактовке прав «глобального гражданина» определенные чувственные права, в частности, права мужчин на знакомство с крайне откровенными изображениями различных проявлений западного потребительского общества, и в первую очередь женской сексуальности. Такие права членства в глобальном обществе признаются в этой статье более или менее естественными и противопоставляются необоснованному праву иранского государства пресекать такого рода участие в глобализированном мире. Предлагаемый подход исключает возможность для обществ закрывать свои границы в попытке преградить путь глобальным потокам.

Этот пример служит иллюстрацией той парадоксальной связи, что существует между гражданством и глобализацией. В последние годы эти два процесса, или дискурса, вышли на передний план, вытеснив все остальное. Если говорить о гражданстве, то можно заметить, как за последние десятилетия движения за права национального гражданства приобрели колоссальное значение на разных континентах (о «демократизации» см. [Huntington, 1991; Хантингтон, 2003]). Требования по предоставлению гражданских прав и созданию институтов гражданского общества позволили достичь выдающихся результатов в странах бывшей Восточной Европы. 1989 год во многих отношениях является годом гражданина спустя 200 лет с момен-

та выхода подданных короля на улицы Парижа с требованием гражданских прав [Murdock, 1992]. В 1989 г. народы разных стран «хотели стать гражданами, индивидуумами, мужчинами и женщинами с чувством собственного достоинства и ответственностью, правами, но также и обязанностями, свободно объединяющимися в гражданское общество» [Garton Ash, 1990, p. 148].

Вместе с тем 1989-й — год возникновения дискурса глобализации. Экспоненциальный рост числа исследований глобальных вопросов указывал на то, что происходит явное глобальное переустройство экономических, политических и культурных отношений. Борьба за гражданство и демократию, достигшая своего апогея в 1989 г., в момент падения Берлинской стены и усиления демократических процессов в Китае, моментально распространилась по всему миру. Мы стали свидетелями возникновения глобальных финансовых рынков, мирового туризма, Интернета, всемирных брендов, глобальных корпораций, Саммита Земли в Рио-де-Жанейро, ведущих космополитический образ жизни «глобальных знаменитостей» и т.д., т.е. всего того, что несет с собой социальный опыт, во многом выходящий за пределы национального государства, национального гражданства и построенного на национальных принципах гражданского общества.

То есть именно в тот момент, когда все были заражены идеей национального гражданства, возникли глобальные сети и потоки, подрывающие саму суть такового. Означает ли глобализация, что национальные формы гражданства стали или станут чем-то лишним? Повлечет ли она распад общества и разрушение института гражданства, ограниченного пределами охраняемых государственных границ? Заключает ли она в себе представление о всеобщих правах и обязанностях? И существуют ли вообще граждане Земли?

Основная тема традиционных дискуссий сводится к вопросу о том, является ли гражданство свойством индивидов или чем-то коллективным. Подход, основанный на вопросе о правах, обычно критикуется как чрезмерно индивидуалистический. Ему противопоставляется точка зрения, акцентирующая внимание на социальных практиках, которые предположительно могут порождать или поддерживать гражданские права [Turner, 1993a, p. 2]. В этой главе я следую коллективистскому подходу,

но вместе с тем показываю, что соответствующие коллективные практики разнообразны и не ограничены теми, что реализуются в пределах того или иного общества. Я собираюсь продемонстрировать связи между различными мобильностями и новым пониманием гражданства.

Современное гражданство можно охарактеризовать в том числе и как «постмодернистское». Целый ряд территорий существуют в условиях отсутствия рационально-правового государства современного типа с жесткой монополией на власть и способностью предоставить своим гражданам, составляющим нацию чужеземцев, четко определенные права и обязанности. В других местах глобальные сети и потоки преобразуют систему социального неравенства и превращают многие государства в «регуляторов» этих потоков. Корпорации, бренды, НПО и многонациональные «государства» приобрели власть большую, нежели национальные государства. Одновременно с этим, как отмечено в предыдущей главе, растет значение таких «обществ», как заморские китайцы, география расселения которых лишена какой бы то ни было связи с границами национальных государств. В целом гибридный характер многих квазиобщественных образований постколониального периода ведет к возникновению дизъюнктивного, конфликтного, рассогласованного гражданства, которое Ювал-Дейвис называет порядком «дифференциального многослойного гражданства» [Yuval-Davis, 1997, p. 12; Bauböck, 1994].

Сегодня существует множество социальных институций, предоставляющих всевозможные права и обязанности различным категориям граждан в географически различных областях деятельности. Гражданство оспаривается уже не только внутри национального государства в связи с вопросом о доступе различных социальных групп к таким правам, как личная собственность, работа или система здравоохранения. Имеет место более фундаментальный спор касательно самого существа прав и обязанностей граждан, живущих и перемещающихся в современном мире; это спор о том, какие структуры должны предоставлять гражданство; какие механизмы должны согласовывать различные комплексы прав и обязанностей на различных темпоральных и пространственных уровнях.

В следующем параграфе я коснусь некоторых ограничений, с которыми сталкиваются исследователи проблем гражданства,

на примере оказавшей огромное влияние на глобальные дебаты общество-центристской концепции Маршалла. Далее я рассмотрю, каково сегодня влияние «среды» на природу гражданства. Затем я проанализирую понятие глобального гражданства, рассмотрев его через призму прав, обязанностей и угроз с отсылкой к некоторым исследованиям в области массмедиа и глобальной системы производства образов. Я продемонстрирую парадоксальное переплетение гражданства и консюмеризма в космополитическом и мобильном мировом порядке.

СПОРЫ О ГРАЖДАНСТВЕ

В британской социологии гражданства понятие ограниченного общества занимает центральное место. Каждое общество признается суверенным социальным образованием с центром в виде государства, которое регулирует права и обязанности всех членов общества. Наиболее важные сети социальных отношений предположительно складываются внутри территориальных границ каждого общества, в пределах которых государство обладает монополией на отправление правосудия. Предполагается, что экономика, социально-классовые отношения, политика, культура, гендер, этничность и т.д. структурированы социетально. В совокупности эти отношения образуют социальную структуру, которая предопределяет жизненные возможности каждого члена общества. Такое понимание общества лежало в центре западных представлений о человеке, о том, кто обладает правами и обязанностями гражданина. Быть человеком значило быть членом определенного общества.

Брубейкер описывает возникновение дуализма человека и общества из «сопряжения доктрины национального суверенитета со связкой гражданства и национальности; замещения прямых, непосредственных отношений гражданина и государства косвенными, опосредованными отношениями, характерными для Старого режима» [Brubaker, 1992, p. 35]. Считалось, что большинство экономических и социальных проблем или рисков создаются и устраняются в рамках отдельного общества. Проблемы каждого человека должны были решаться с помощью инструментов национальной политики. Общества были построены на идее гражданина, несущего определенные обязательства и получающего некоторые права от общества, к которому принадлежит.

Наибольшее влияние приобрела трактовка этой социетальной концепции гражданства, которую выдвинул Маршалл в лекциях, прочитанных им в разгар строительства государства всеобщего благосостояния в Великобритании ([Marshall, 1949]; текст опубликован по-русски в приложении к книге Капустина о гражданстве (см. [Marshall, Bottomore, 1992], а также [Bulmer, Rees, 1996]). Маршалл определяет связь между обществом и гражданством следующим образом: «всеобщий запрос на такие условия [цивилизованной жизни] — это притязание на долю в социальном наследии, что, в свою очередь, означает требование признания всех в качестве полноправных членов общества, т.е. граждан» [Marshall, Bottomore, 1992, p. 6].

Маршалл показывает, как социально-классовые неравенства могут сосуществовать с формальным гражданским равенством. По его словам, гражданство в Англии формировалось в течение нескольких веков: гражданские права были приобретены в XVIII в., политические — в течение XIX в., а социальные — в первой половине XX [Ibid., p. 17]. К середине XX в. жители Британии в большинстве своем были признаны полноправными членами, или гражданами, своего общества. Гражданство — это статус, которым наделяются те, кто принимает полноценное участие в жизни общества [Ibid., p. 18]. Общества состоят из граждан, в течение нескольких столетий добившихся общих прав и ряда ограниченных общих обязанностей.

Маршалл описывает гражданство как «развивающийся институт», создающий образ, ориентируясь на который, люди могут оценивать нынешние и стремиться к будущим достижениям. Поэтому данный институт носит отчасти нормативный характер — в конечном счете он должен «охватить большинство населения, поддерживаемого системой социального обеспечения» [Turner, 1993b]. Как и социальный класс, гражданство — продукт капиталистических общественных отношений. В XX в. социальный класс и гражданство находились в состоянии войны. Маршалл утверждает, что классовые различия, определяемые уровнем дохода и благосостояния, в XX в. постепенно стирались вследствие усиления гражданских прав, поставивших под вопрос некоторые наиболее вопиющие формы классового неравенства [Marshall, Bottomore, 1992, p. 45]. Такое понимание гражданства основывалось на многочисленных формах «национальной» экспертизы, которая в целом и управляла «социальным» [Rose, 1996].

Аргументы Маршалла были подвергнуты масштабной критике, равно как и дальнейшей разработке. Отмечалось, что автор ошибочно проецирует долгосрочное развитие института гражданства в обозримую перспективу и не принимает во внимание те угрозы, которым он может подвергнуться, и изменения, которые он может претерпеть [Marshall, Bottomore, 1992, p. 57; Runciman, 1996, p. 54]. Тэтчеризм в Британии можно считать частично удавшейся попыткой оспорить некоторые из социальных прав, завоеванных в предыдущие полстолетия. Кроме того, периодизация Маршалла порождает особенно глубокие заблуждения относительно «гражданских» прав, которых добились профсоюзное движение. Даже в Британии они были завоеваны гораздо позднее XVIII в. и носили при этом более «коллективный» характер, нежели индивидуалистические гражданские права [Mann, 1993; Rees, 1996, p. 11–13]. Необходимо также помнить о том, что британское государство многонационально, и в сравнении с Англией гражданские права в Шотландии, Уэльсе, Ирландии/Северной Ирландии (особенно для католиков) были более ограниченными (о Шотландии см. [McCrone, 1992]). Жители этих частей страны не были наделены правами в полной мере, что привело к достаточно острой борьбе с господствующей английской нацией за распространение гражданских прав во всей их полноте на всей территории Великобритании. Концепция Маршалла применима главным образом к Англии. К другим западным странам, не говоря уже о принадлежавших им частях имперских образований, она подходит в гораздо меньшей степени [Mann, 1996; Hewitt, 1996].

Подход Маршалла демонстрирует свою очевидную слабость в отношении неравенств, связанных с гендером и сексуальностью. В действительности Маршалл анализирует распространение гражданства лишь на трудоспособных, белых, взрослых мужчин (об отсутствии до самого последнего времени гражданских прав у многих категорий американцев см. [Rapoport, 1997]). Модель приобретения гражданства женщинами отличалась от таковой у мужчин, что легче всего объяснить бесправным положением женщины на протяжении большей части человеческой истории. По всей видимости, гендер действительно имеет большое значение, поскольку для женщин политические права являлись предварительным условием приобретения основных гражданских прав, а не наоборот, как в случае с мужчинами [Walby,

1997; Rees, 1996, p. 10–11; Richardson 1998]. Следовательно, не существует единого момента формирования национального государства, когда гражданство становится достоянием всего взрослого населения [Walby, 1997, p. 171]. И по сей день геи и лесбиянки остаются неполными гражданами даже на Западе, поскольку не обладают многими политическими и гражданскими правами [Richardson, 1998]. Маршалл не дает объяснения процессу возникновения гражданства, а также игнорирует военные конфликты и связанную с ними мобилизацию гражданского населения [Mann, 1993]. Он пренебрегает той огромной ролью, которую различные формы социальной мобилизации по признаку принадлежности к определенному классу, гендеру, этносу, сексуальным меньшинствам, инвалидам и т.д. сыграли в процессе завоевания гражданских прав «снизу» (о гражданстве как низовой активности см. [Turner, 1986]).

Однако я хотел бы прибегнуть к критике несколько иного рода. Прежде всего гражданство на Западе традиционно воспринималось через национальные риски, с которыми может столкнуться каждый проживающий на данной территории, национальные права, которыми должны обладать все полноправные граждане, а также национальные обязанности, возложенные на всех граждан данного общества. В основе этих представлений лежал определенный взгляд на проблему социальной управляемости — сквозь призму «управления с “социальной точки зрения”» [Rose, 1996, p. 328]. В британском контексте:

кодификаторы вроде Бевериджа и Маршалла предложили собственное видение, в котором защита от превратностей судьбы (как и сами эти превратности) была социальной, обеспечиваемой посредством определенных пособий и страховок, которые считались — по крайней мере формально — «всеобщими», гарантированными всем обладателям унифицированного «социального гражданства» [Rose, 1996, p. 345].

Сосредоточившись на занятости, доходе и классе, Маршалл полагал социальное гражданство конечной стадией социального развития.

Однако глобализация и переоценка категории сообщества привели к крушению власти социального и возникновению того, что Ясмин Соисал называет «постнациональным» гражданством [Soysal, 1994; Rose, 1996]. Она утверждает, что националь-

ное гражданство постепенно уступает место более универсальной модели членства, включенной в концепцию универсальных прав личности, которая все больше теряет связь с конкретной территорией [Soysal, 1994, p. 3; Wauböck, 1994]. Особенно тесно это постнациональное гражданство связано с неуклонным ростом трудовой миграции между разными странами. Оно также сопряжено с возросшей глобальной взаимозависимостью, возможностью совмещения различных форм гражданства и возникновением универалистских норм и концепций прав человека, формализованных в многочисленных международных кодексах и законах (ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ЕС, Совет Европы, Женевские конвенции, Европейская конвенция о защите прав человека и т.д.). В целом нарастает противоречие между всеобщими, единообразными, определенными на глобальном уровне правами и социальными идентичностями, частными и специфичными для каждой территории.

Распространение постнационального гражданства и закрепляемых на глобальном уровне представлений о правах человека берет начало в совокупности новых процессов и институциональных изменений, охвативших многие общества. В современном мире возникает многообразие форм гражданства. К ним относится, во-первых, культурное гражданство, предполагающее право всех социальных групп (этнических, гендерных, сексуальных, возрастных) на полноправное участие в культурной жизни своих обществ [Stevenson, 1997]. Во-вторых, существует гражданство меньшинств, предполагающее права членства в другом обществе, пребывания в нем и приобретения соответствующих прав и обязанностей [Yuval-Davis, 1997]. В-третьих, экологическое гражданство, озабоченное правами и ответственностью гражданина Земли [van Steenberg, 1994]. В-четвертых, космополитическое гражданство, центральным для которого является вопрос о выстраивании отношений с другими гражданами, обществами и культурами в глобальном масштабе [Held, 1995; Хелд, 2007]. В-пятых, потребительское гражданство, сосредоточенное на праве людей получать качественные товары, услуги и информацию как от частного, так и от государственного сектора [Urry, 1995]. Наконец, существует и мобильное гражданство, связанное с правами и обязанностями людей, посещающих различные места и проникающих в иные культуры [Bauman, 1993a].

Каждое такое гражданство указывает на ограниченность предложенной Маршаллом триады гражданских, политических и социальных прав. Последняя строится вокруг статичного гражданства, гражданства прав и обязанностей, которыми наделяются те, кто живет и работает на данной территории в силу своего долгосрочного членства в данном обществе. Альтернативные концепции, напротив, говорят о гражданствах потока с их озабоченностью проблемами трансграничной мобильности, мобильности рисков, путешественников, потребительских товаров и услуг, мигрантов и туристов, а также прав и обязанностей, которыми эти мобильные сущности пользуются. Названные потоки в равной мере создают угрозы и предлагают формы сопротивления часто не отличимым друг от друга социальным, политическим и социальным элементам. Гражданство потока стирает различия между гражданскими, политическими и социальными правами и обязанностями.

Существует еще одна проблема, связанная с предложенной Маршаллом концепцией гражданина в рамках национального государства. В действительности гражданство не предполагает некоей определенной пространственной формы [Pierson, 1996, p. 129]. Ограничиваться социальным/национальным уровнем, как это делает Маршалл, — значит принимать одну из исторических форм гражданства за единственную. В других работах классическим локусом гражданства выступала агора греческого города-государства. Слово «гражданин» происходит от «горожанина», жителя города [Turner, 1993b, p. 177]. Пространственные границы гражданства определяются сутью того, что значит быть гражданином, и сами по себе исторически изменчивы. Они не всегда совпадают с границами национального государства [Pierson, 1996, p. 128–130].

Значение, которое Маршалл придавал границам гражданства в рамках национального государства в 1949 г., можно легко понять. Однако на современные формы гражданства влияют такие процессы, которые, минуя границы национального государства, порождают противоречия между различными концепциями и идеями гражданства. Некоторые права и обязанности приписываются людям и объектам, находящимся за пределами какого-либо конкретного общества и до известной степени «вне» всех обществ в целом [Giddens, 1996]. Маршалловская концепция гражданина чрезмерно государственна, не

выстроена преимущественно вокруг государства и оставляет без внимания экономику и культуру. В следующем параграфе я перейду к вопросу о роли глобальных медиа и изменяющихся форм перемещения и потребления в развитии новых модусов квазиглобального гражданства, возникающего в то время, когда новые «сообщества вкуса, привычки и веры отделяются от национальных контекстов» [Stevenson, 1997, p. 44]. Существуют нарастающие противоречия между национальными правами и обязанностями в духе Маршалла и названными формами гражданства потока.

Маршалл, кроме того, сосредоточивается преимущественно на правах, вытекающих из статуса гражданина, и оставляет в стороне обязанности (в противоположность античным представлениям о гражданстве, делающим больший акцент как раз на обязанностях). В последнее время новые коммунитаристы, развивающие представление об «активном гражданине», пытались восстановить баланс прав и обязательств, подчеркивая в том числе то обстоятельство, что обязанности индивида являются важным источником прав другого индивида внутри сообщества [Etzioni, 1993]. С возрожденной этикой заботы о единой земле, этикой ответственности в любых, в том числе вполне бытовых вопросах (например, какой стиральный порошок покупать) в значительной мере связано то влияние, которым сегодня обладает экологическое движение. Современное гражданство, таким образом, включает в себя некоторые важные обязанности, что становится ясно при взгляде на каждую из вышеперечисленных форм гражданства. Более того, эти обязанности все больше определяют обязательства не только рядовых граждан в их повседневной жизни, но и государств, корпораций и международных организаций. Так, предпринимаются осторожные попытки распространить некоторые гражданские обязанности на все юридические лица, будь то индивидуальные или коллективные [Pierson, 1996, ch. 5].

ГРАЖДАНСТВО И СРЕДА

Теперь я перейду к обсуждению новых форм гражданства, особенно тесно связанных с вопросами окружающей среды, поскольку такая связь показывает ненадежность разделения природы и общества. Я начну с предложенного Тернером определе-

ния гражданства как «набора практик (юридических, политических, экономических и культурных), который характеризует человека как полноправного члена общества и, следовательно, влияет на распределение потока ресурсов, получаемых индивидами и социальным группам» [Turner, 1993a, p. 2]. Это определение показывает, что гражданство — это не только юридическое понятие, но также культурное и социальное; что оно учитывает потоки ресурсов, власти и неравенств; что оно включает социальные практики; и что права и обязанности характеризуют полноценных членов общества, а не атомизированных индивидов.

Однако, принимая во внимание процессы, описанные в предыдущих главах, что значит быть полноценным членом «общества» сегодня? В другом тексте Тернер создает краткий набросок теории прав человека, отмечая значимость принятой ООН Хартии прав человека как краеугольного камня «глобализации» [Turner, 1993b; Robertson, 1990]. В целом же усиление культурной глобализации, рост значения ООН, ЕС, Европейского суда по правам человека, Организации экономического сотрудничества и развития, острота проблемы беженцев и прав аборигенных народов в общемировом масштабе и т.д. указывают на то, что «национальное государство не всегда является наиболее подходящей политической формой реализации гражданских прав» [Turner, 1993b, p. 178].

Данное Тернером определение, кроме того, акцентирует внимание на человеке, подчеркивая, что носителями прав могут быть только люди. Его теория прав человека основана на представлении о необходимости компенсировать человеческую уязвимость. Последняя вызвана теми условиями нужды, болезней и опасностей, в которых существует большая часть человечества. При этом институты современного мира, призванные предоставлять людям защиту, часто сами служат источниками новых угроз для выживания человека. Гражданство не всегда находится под защитой социетальных институтов, так как последние нередко работают на усиление человеческой уязвимости [Beck, 1992b].

Однако эта теория неустойчивости человеческого существования упускает из виду возможность наличия «прав у природы», также весьма уязвимой [Turner, 1993b, p. 184–185]. До недавнего времени само собой разумеющимся на Западе было представление о том, что природа (в том числе животный мир) не имеет прав и вся внечеловеческая природа стоит на службе

человека. Между людьми и природой сложились утилитаристские отношения. Всеобщее этическое сообщество представлялось лишенным смысла [Nash, 1989, p. 17]. Но в последнее время стало распространенным мнение, что по крайней мере некоторые животные обладают правами в силу их исключительной уязвимости и чрезвычайной зависимости от человека (как в случае крупного рогатого скота в Британии!). Нэш указывает на то, что в США понятие *естественных* прав сыграло немалую роль в утверждении «гражданского статуса» животных (об «освобождении природы» см. [Nash, 1989, ch. 6; Нэш, 2001, гл. 6]). В 1980 г. Вурстер объявил: «Теперь пришла пора освободиться и природе» [Worster, 1980, p. 44]. Неспособность обеспечить живые организмы основными правами в наши дни нередко становится поводом для шумных кампаний, требующих предоставить некоторым животным права на самостоятельность или свободу (о панике в СМИ, вызванной эпидемией тюленьей чумы в 1988 г., см. [Anderson, 1997, ch. 5]). В последние годы домашние, некоторые дикие и лабораторные животные начали получать подобные права, за распространение и соблюдение которых ратуют представители нового гражданского общества [Macnaghten, Urry, 1998, p. 66–68]. Петулла в 1980 г. заметил, что «законы, охраняющие редкие и исчезающие виды, выражают веру в то, что указанным существам, обитающим на территории США, гарантированы, в определенном смысле, жизнь и свобода» (цит. по [Nash, 1989, p. 161]).

Обсуждая в 1970-е годы более общую проблему прав неодушевленной природы, Роззак отметил: «Мы наконец приходим к пониманию того, что естественная среда — эксплуатируемый пролетарий, угнетенный негр всеобщей промышленной системы... У природы тоже должны быть свои естественные права» (цит. по [Nash, 1989, p. 13], об экологическом гражданстве см. [Newby, 1996]). В Докладе комиссии Брундтланд, Мировой комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее» отмечается: «Все люди обладают неотъемлемым правом на среду, обеспечивающую их здоровье и благополучие» (цит. по [Batty, Gray, 1996, p. 154]). Различные штаты США признали экологические права граждан. Такое же признание было закреплено в тексте новой Южно-Африканской Конституции [Ibid., p. 153].

Однако роль большинства глобальных институтов в решении экологических проблем неясна, поскольку они созданы на

основе национальных государств, как, например, Генеральная ассамблея ООН, в которую входят делегаты из 192 стран. Такая структура ООН приводит к тому, что вопросы, к решению которых не готовы те или иные национальные государства, попросту игнорируются; она не позволяет в полной мере учитывать интересы таких региональных блоков, как АСЕАН или ЕС, а также важных внутренних регионов, например, Силиконовой долины; она не позволяет представлять мнения других организаций, которые претендуют на защиту глобальных интересов, например, Greenpeace; в большинстве случаев она также способствует уклонению от анализа причин и следствий возникновения глобальных сетей и потоков. Ньюби задается следующим вопросом — понадобится ли в будущем Зеленый Левиафан, который позволит вмешиваться в дела отдельных национальных государств с целью защиты общемирового достояния? Без такого Зеленого Левиафана на уровне глобальной среды все мы оказываемся «недогражданами» [Newby, 1996].

Ван Стеенберген отстаивает необходимость расширения прав в трех направлениях: на будущие поколения людей, на животных и на «естественные объекты» ([van Steenberg, 1994]; обсуждение темы прав человека на природную окружающую среду см. [Batty, Gray, 1996]). Новые обязанности по отношению к животным и объектам меняют статус людей как обладателей особых возможностей и ответственности. Экологическое гражданство, таким образом, включает в себя набор прав (например, на приемлемого качества воду и воздух) и обязанностей (например, не использовать фреон). Такая формулировка, однако, страдает механистичностью. Экологические права и обязанности обладают подрывным потенциалом, угрожающим всей системе ранее считавшихся автономными гражданских, политических и социальных прав. В действительности глобализация рисков демонстрирует искусственность введенных Маршаллом различий, а также структурированность современной социальной жизни недифференцированными формами опыта, которые сочетают и сплавляют вместе различные основания гражданства. Батти и Грей полагают, что если и можно говорить об обязанности защищать среду, то соответствующего ей права на пригодные условия обитания, которое можно было бы считать аналогом обычных гражданских, политических и социальных прав, не существует [Batty, Gray, 1996; Jagtenberg, McKie, 1997, p. 188–190].

Сложность экологических прав и обязанностей можно проиллюстрировать на примере сюжета с британской говядиной в 1980-х и 1990-х годах [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 8; Adam, 1998]. Коровья губчатая энцефалопатия (КГЭ) позволила выявить те коллосальные проблемы, с которыми сталкивается государство при попытке справиться с рисками в мире глобальных потоков в условиях, когда крупные фермеры и корпорации не берут на себя ответственность за результаты, отражающиеся на уровне ледникового времени. Похоже, что незначительные и едва заметные изменения в порядке работы британских скотобоев запустили цепочку событий, которые в результате обошлись британским налогоплательщикам в 4 млрд фунтов стерлингов и поставили под угрозу жизнеспособность ЕС. КГЭ оказалась взрывоопасным свидетельством неспособности национальных государств предсказывать, подавлять и контролировать риски в мире хаотически взаимодействующих гибридов. По утверждению Бека,

политики говорят, что они невиновны: они в лучшем случае регулируют тенденции. Эксперты-ученые говорят, что они лишь создают технологические возможности, но не решают, как их использовать. Бизнесмены говорят, что они просто реагируют на потребительские запросы... Наше общество стало лабораторией, в которой никто не несет ответственности за результат эксперимента [Beck, 1996].

Употребление говядины имеет особенное значение для британской культуры. Ростбиф и йоркширский пудинг отражают распространившиеся на все общество вкусовые пристрастия среднего класса. Ростбиф — блюдо, подаваемое в семейном кругу; он является символом семейной жизни. Считается, что он хорош сам по себе, а его употребление — прерогатива любого британца. Однако в 1980-е годы англичане оказались в лаборатории, где коровы стали плотоядными, а иногда и каннибалами, в то время как о результатах этого лабораторного эксперимента не было никаких надежных сведений [Adam, 1998, ch. 5].

Риски, возникающие в подобных лабораториях, недоступны органам чувств (см. гл. IV наст. изд.). Недоброкачество мяса невозможно почувствовать, поэтому люди оказались в сильнейшей зависимости от экспертных механизмов, призванных давать гарантии, действенные в пределах определенного времени и на определенной территории. Но именно в ситуации

столь неясной проблемы, как КГЭ, никакие гарантии невозможны. Сталкиваясь с подобными гибридами, наука часто не может определить исходные фактические данные о событиях внешнего мира. Получаемое знание не только неполно и недостоверно, но также покоится на таких зыбких социологических основаниях, как практики работников скотобоев. По прошествии более чем десяти лет после регистрации заболевания мы все еще почти ничего не знаем о происхождении КГЭ, природе инфицирующего агента, цепочке его хозяев, способах передачи, а также о его связи с человеческой болезнью Крейцфельда—Якоба (БКЯ). Попытки британского государства защитить права его нынешних и будущих граждан, полагаясь на науку, словно бы та могла предоставить бесспорные данные, оказались в высшей степени сомнительными.

КГЭ также выявила широко распространенную озабоченность «производственными» практиками глобальной пищевой промышленности, лишаящей людей права контролировать наиболее приватные стороны своей жизни. Понимание того, что фермеры при поддержке государства относились к «естественным» травоядным как к плотоядным животным, стало подтверждением «неестественного» характера современного сельского хозяйства, не соблюдающего права животных. БКЯ человека будто бы подтверждает то, что «природа» знает, как ответить на столь откровенное нарушение своих прав. Сага о бешеной корове словно бы показывает нам силу «природы», способной отомстить человеческому роду, когда ее права были им попраны.

Итак, споры вокруг КГЭ демонстрируют сложный характер современного института гражданства. Как национальные государства могут управлять природой и гарантировать соблюдение прав граждан в мире глобальных потоков, где многие риски, ставящие под вопрос те или иные права, заметны лишь на шкале ледникового времени? Хаос КГЭ разразился тогда, когда государство не могло больше полагаться на экспертов-ученых, которые должны были предоставить окончательные и бесспорные сведения о безопасности потребляемых гражданами продуктов. У национальных государств достаточно ограниченное пространство для маневра, чтобы противостоять угрозам своим гражданам, находящимся на их национальных территориях. Не существует глобальной сети, которая могла бы предоставить устойчивые методики научных тестов. Кроме того, риск — не техническая или

научная проблема, он связан с более обширными политическими, социальными и моральными процессами. Внимание публики порождается медийными образами, нередко поставляемыми другими странами и порой способными шокировать публику или даже опозорить национальные государства.

Пока для описания прав и обязанностей гражданства я пользовался языком «рисков». Однако в настоящее время существуют такие угрозы правам, которые отличаются от знакомых нам рисков, таких как вождение автомобиля или проникновение в дом грабителей (по рассматриваемым далее вопросам см.: [Adam, 1998, ch. 2]). Подобные риски являются побочными следствиями разумных во всех иных отношениях действий, так что их приемлемость и возможный вред могут быть просчитаны на локальном уровне. В этом случае существует вполне очевидная связь между действиями, осуществленными в определенное время и в определенном месте, и возникшими результатами. Однако КГЭ — это не столько риск, сколько угроза, исходящая от внутренних свойств глобальной экономики. Оказывающие непосредственное воздействие рыночные силы создали фактор риска, который серьезно нарушает права как людей, так и животных, в том числе исторически и географически удаленных. Такие силы порождают риски, угрожающие жизни людей и животных: в случае КГЭ, британских коров и потребителей британской говядины внутри и за пределами страны. Следовательно, люди подвергаются воздействию масштабных, зачастую непосредственно не наблюдаемых, рукотворных факторов риска, созданных за пределами локального контекста действия. Сегодняшние экономика и общества порождают многочисленные угрозы, воспринимая мир в качестве лаборатории. Таким образом, гражданство тесно связано с осознанием, предупреждением и минимизацией воздействия мощных рисков на права людей, животных и остальной «природы».

ГЛОБАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Теперь я непосредственно обращаюсь к проблеме глобальности, отталкиваясь от другого аспекта рассуждений ван Стеенбергена, а именно: что существует категория глобальных граждан, чьи социально-пространственные практики выдвигают на первый план, гарантируют или же ставят под угрозу различные

права и обязанности [van Steenberg, 1994]. Если расширить его анализ, мы можем выделить по меньшей мере семь типов таких «глобальных граждан» [Falk, 1994].

Во-первых, существуют глобальные капиталисты, которые стремятся объединить мир вокруг интересов все более «денационализирующихся», не знающих границ глобальных корпораций. Капиталисты используют интернационализированные научные достижения, порождающие новые, непредсказуемые угрозы [Martin, Schumann, 1997]. Во-вторых, существуют различные глобальные реформаторы, использующие влиятельные международные организации для ограничения и регулирования глобального капитализма, зачастую привлекая науку к легитимации собственного вмешательства, оправдываемого тем или иным дискурсом прав (к таким организациям относятся ЮНЕСКО, МОТ, Всемирный банк, МВФ, ВОЗ). В-третьих, сотрудники этих организаций — глобальные менеджеры, стремящиеся использовать управленческие, научные и технические решения для сглаживания разнообразных факторов риска.

Далее, существуют агенты глобальных сетей, которых я упоминал в предыдущих главах. Они налаживают и поддерживают рабочие, профессиональные или досуговые сети, которые благодаря воображаемому или виртуальным путешествиям носят трансграничный характер [Castells, 1997]. В-пятых, есть граждане Земли, которые стремятся взять на себя ответственность за планету, исповедуя этику заботы при решении проблем преимущественно локального характера [Sachs, 1993]. В-шестых, есть глобальные космополиты, которые разделяют позицию и идеологию открытости к «иным» культурам, народам и средам, в значительной мере являющуюся следствием высокой интенсивности физических перемещений. К подмножеству этого типа относятся «глобальные знаменитости», такие как принцесса Диана, которых приводят в качестве иллюстрации явления «новой мобильности» и называют культурными хамелеонами [McRae, 1997]. Наконец, наблюдается мощная волна негативной реакции на глобальных зеленых, которая в посткоммунистическую эпоху выбрала «экологов» и поборников «политкорректности» новыми глобальными козлами отпущения, объектами для атак и критики. Формой выражения таких настроений служат антиэкологические демонстрации, использование медийной и физической травли [Rowell, 1996].

Приобретение прав населением Земли в будущем будет зависеть от баланса сил между различными глобальными гибридами и тем, в какой степени любой из них способен достичь глобальной гегемонии. Каждая практика включает в себя одну или несколько трактовок гражданства и открывает дорогу трансформации рисков, прав и обязанностей, т.е. того, что я назвал гражданством потока. Данная идея содержится в предложенной Стивенсоном характеристике изменений гражданства, вызванных «новыми культурными контекстами, создаваемыми перемещением людей и образов в различных измерениях времени и пространства» [Stevenson, 1997, p. 51; Therborn, 1995]. Теперь я постараюсь наметить контуры глобального гражданства в терминах угроз, прав и обязанностей.

Прежде всего появились угрозы, к которым на условно глобальном уровне относятся [Davis, 1990; Beck, 1992b; Бек, 2000; Sachs, 1993; Rotblat, 1997b; Macnaghten, Urry, 1998; Adam, 1998]:

- экологические беды и угрозы здоровью, возникающие вследствие обращения с планетой как с научной лабораторией и «глобальных» изменений окружающей среды;

- культурная гомогенизация, угрожающая разрушением отдельных элементов местных культур (так называемая кокаколонизация культуры);

- распространение заболеваний, переносимых через границы мигрантами (СПИД);

- периодические обвалы мировых рынков, особенно рынков сельскохозяйственной продукции;

- финансовые крахи и их пагубное влияние на экономическую и социальную жизнь определенных регионов, в особенности развивающегося мира;

- умножение числа крайне нестабильных, неуправляемых и неконтролируемых «диких зон» (таких как бывшая Югославия, Сомали или бедные городские кварталы в США);

- зависимость людей от систем экспертной оценки (в вопросах путешествий, экологической защиты, медицинского обслуживания, безопасности еды и т.д.), которым они не могут доверять, поскольку такие системы противоречат повседневному социальному опыту и формам обыденного знания.

Что касается участия в неформальном глобальном сообществе, то его характеризуют следующие права [Ohmae, 1990; Омэ, 1998; Bauman, 1993a; Soysal, 1994; Bauböck, 1994; Held, 1995; Хелд, 2007;

Kaplan, 1996; Pierson, 1996; Rotblat, 1997a, 1997b; Yuval-Davis, 1997; McRae, 1997; Castells, 1997; Stevenson, 1997; Стивенсон, 2002]:

○ мигрировать из одного общества в другое и оставаться в нем по крайней мере на какое-то время, пользуясь сопоставимым с местным населением объемом прав; возвращаться без утраты гражданского статуса и какого-либо поражения в правах;

○ переносить с собой свою культуру и встречать в любом другом месте гибридную культуру, содержащую по крайней мере некоторые элементы собственной;

○ полноценное культурное участие всех социальных групп в глобальном обществе (то есть право на получение информации, представительство, знание и коммуникацию);

○ приобретать в любой точке планеты продукты, товары и символы иных культур, а затем переносить их в свою собственную, подверженную постепенным изменениям культуру;

○ формировать общественные движения вместе с гражданами других стран с целью противостояния определенным государствам (например, Франции и ее ядерным испытаниям), группе государств (странам Севера), корпорациям (News Corporation), общим угрозам и т.д.; такие движения часто используют брендинг, рекламу и коммерциализацию и не всегда прогрессивны, даже будучи оппозиционными;

○ перемещаться по территории большинства стран планеты в личных целях, т.е. «потреблять» все эти места и среды (в том числе транзитные); с отменой многих формальных препятствий для личных поездок современные граждане готовы к потреблению каких угодно мест (особенно обладающих всемирным значением, таких как объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО);

○ жить в средах, относительно свободных от рисков для здоровья и безопасности, вызванных как местными, так и удаленными причинами; непосредственно ощущать качество каждой среды, а не полагаться на экспертные системы, часто внушающие доверия; располагать инструментами познания этих сред посредством мультимедийных источников информации, осмысления и рефлексии.

Обязанности в рамках глобального сообщества включают в себя ответственность за:

○ установление состояния планеты как посредством национальных, так и в первую очередь интернационализированных источников информации (о мире без границ, в котором государства все меньше контролируют потоки информации [Ohmae, 1990]);

○ демонстрацию космополитического отношения к другим средам, культурам и народам. Такой космополитизм может включать потребление различных сред по всему миру или, напротив, отказ от такового, объясняемый заботой об их общедоступности (о том, как «мыслить глобально», вместо того чтобы «мыслить малыми масштабами», см. [Bell, Valentine, 1997]);

○ участие в различных практиках, имеющих отношение к культуре, окружающей среде и другим сферам жизни, которые согласуются с различными представлениями об экологически рациональном существовании; соблюдение этики туриста (о «мире как туристическом клондайке» см. Shiva, 1989; Wood, House, 1991; Bauman, 1993a, p. 241));

○ восприятие образов, символов и нарративов, адресованных людям как принципиально несхожим гражданам земного шара, а не представителям определенной нации, этнической группы, гендера, класса, поколения (например, используемый компанией Benetton слоган «Все цвета мира»; см. [Szerszynski, Toogood, 1999]);

○ убеждение других руководствоваться в своих поступках представлением о том, что они являются частью единой планеты, испытывающей общие страдания, в противоположность идее о сумме индивидуальных интересов; распространение таких взглядов потребует использования одновременно информационных и визуальных медиа [Hansen, 1993a; 1993b; Rotblat, 1997b];

○ действие в глобальных общих интересах, а не в интересах локальных или национальных [Turner, 1993b, p. 177].

Я указал на несколько угроз и выделил ряд прав и обязанностей глобального гражданства. Предложенные формулировки, разумеется, схематичны и лишь намечают возможные компоненты, в особенности некоторые связи между космополитизмом и гражданством [Stevenson, 1997, p. 44]. Очевидно, что разные социальные группы по-разному соотносятся с теми или иными модусами гражданства. Я начну с женщин, которые всегда с некоторой задержкой получали гражданские права и обязанности в рамках национального государства. Их исключенность носит систематический характер и обусловлена различными формами власти мужчин в национальном проекте (например, через представление о мужчинах как о вносящих основной вклад в «семейный бюджет»). Права женщин в большинстве обществ оспаривались господствующей религией, которая сопротив-

лялась выходу женщин за пределы домашнего хозяйства в публичные сферы деятельности. Религии обычно подчеркивали роль женщин как родительниц и воспитательниц детей. Женщины по большей части были отстранены от военных аспектов национального гражданства — лишь в недавнее время в ряде стран женщины стали допускать к службе в действующих войсках. Представляется также, что женщины более склонны к пацифизму и больше озабочены невоенными аспектами жизни своих обществ [Enloe, 1989; Walby, 1997, ch. 9, 10]. Как бестрепетно заявила одна пацифистка в «Трех гинейх» Вирджинии Вульф, «у меня, как женщины, нет страны. Как женщине, мне не нужно никакой страны. У меня, как у женщины, есть весь мир» [Woolf, 1938, p. 109]. Некоторые женщины больше соответствуют типу кочевников Земли, так как более склонны выступать против войн (пример войны в Персидском заливе см. [Shaw, 1994, p. 127]), видеть опасность в маскулинной демонстрации национального могущества [Yuval-Davis, 1997], проявлять заинтересованность в отношении защиты природы и экологических вопросов [Anderson, 1997, p. 174], разделять и распространять внациональные представления о гражданстве [Shiva, 1989; Billig, 1995; Braidotti, 1994, p. 240; Kaplan, 1996; Walby, 1997].

Некоторые ученые также приступили к разработке концепции глобального гражданства. Так, нобелевский лауреат Джозеф Ротблат утверждает, что нам необходимо укреплять лояльность «человечеству», а не нации [Rotblat, 1997a, p. x–xi]. Огромная численность населения Земли не служит здесь препятствием; США с их более чем 300-миллионным населением и колоссальным этническим разнообразием удаётся, тем не менее, поддерживать чувство национальной принадлежности. Ротблат настаивает на том, что именно взаимозависимость разных групп населения планеты является ключом к формированию лояльности в отношении всего «человечества», а не национальных идентичностей:

Фантастический прогресс в сфере коммуникации и транспорта превратил мир в тесно взаимосвязанное сообщество, все члены которого и их благосостояние зависят друг от друга. Сегодня мы можем без каких бы то ни было задержек наблюдать то, что происходит в любой другой части света, и в случае необходимости прийти на помощь... Мы должны использовать множество новых каналов коммуникации, объединяясь друг с другом и формируя по-настоящему глобальное сообщество. Мы должны стать гражданами мира [Rotblat, 1997a, p. x–xi].

Ротблат утверждает, что национальные государства должны отказаться от используемой ныне концепции суверенитета. Ее следует заменить составным понятием, которое включает автономию в строго определенных сферах и подчинение организациям вышестоящего уровня, действующим во всех остальных случаях (об аналогичном тезисе применительно к ЕС см. [Leonard, 1998]). В то же время национальное гражданство должно основываться лишь на постоянном *местопребывании*. Национальным государствам следует отказаться от таких «естественных» оснований гражданства, как расовая, этническая или религиозная принадлежность [Rotblat, 1997a, p. 8].

Другая тенденция, которая способствует развитию глобального гражданства, — это «усиление той роли, которую сообщество, создаваемые поверх национальных границ, играют в жизни обычных людей» [Ibid., p. 9]. В определенной степени ученые (и другие группы сотрудников академических учреждений) могут считаться «квази-нацией» с собственной системой глобально признаваемых наград (Нобелевская и другие премии). По мере развития современных коммуникаций эти квази-нации приобретают все большее значение и распространение. В целом электронные коммуникации уже «помогают географически рассеянным группам людей формировать тесные связи... Электронные сообщества не имеют территориальной привязки» [Ibid., p. 16]. Такие коммуникации позволяют снизить или вовсе свести к нулю значение прежних форм идентичности, основанных на территориальной принадлежности (см. гл. VI наст. изд.). Некоторые ученые и в самом деле убеждены, что глобальная деревня заменит национальное государство, когда электронная коммуникация вытеснит письменную, а «земля как целое» придет на смену «территориальным границам».

Другие ученые размышляли над предполагаемыми последствиями космических путешествий. Космонавт Уильям Андерс произнес такие ставшие знаменитыми слова:

Земля предстала крошечным голубовато-зеленым шариком, милой фигуркой, хрупкой и незначительной... Отчий дом человечества не казался большим, бескрайним или незыблемым... Скорее, он напоминал изящную, непрочную вещицу, которую следует оберегать и защищать, надлежащим образом заботясь о ней. Воссоздавая ее в памяти, я не могу припомнить национальных границ, ничего, что делило бы Землю на отдельные страны, окрашенные в разные цве-

та, как на школьном глобусе, — разделенном на части человеком [sic] и уж точно не природой (цит. по [Menon, 1997, p. 28], см. также [Rotblat, 1997b; Cosgrove, 1994]).

Одним из интересных следствий космических полетов, связанных с формированием представления о хрупкой природе каждой планеты, стал принятый в 1979 г. договор, которым Луна признавалась общим достоянием человечества. В том же году в действие вступил Договор об Антарктике, придавший ей статус зоны интересов всего человечества, используемой исключительно в мирных целях. Другими примерами из той же эпохи стала Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия (1975 г.) и Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.) [Menon, 1997, p. 32–33]. Менон утверждает, что современная наука в симбиозе с технологиями «показала, что Земля — это одинокий и хрупкий космический корабль, единственный дом для всего человечества, пусть и расчерченный на части, обусловленные национальностями, религиями, цветом, сообществами или этническими группами; наука превратила мир в небольшое место, предоставляющее богатые возможности для перемещения идей, информации, людей, товаров и услуг; она доказала фундаментальную и сущностную нераздельность всех живых систем» [Ibid., p. 35–36]. Вацлав Гавел, рассуждая в более пространной манере, говорит о том, что «возможность лучшего будущего связана с чем-то вроде международного сообщества граждан... далекого от элитарных игр традиционной политики... стремящегося сделать реальной политической силой... феномен человеческой совести» (цит. по [Rapoport, 1997, p. 97]). Данный тезис отсылает к мысли Мартина Элброу о том, что глобальность подразумевает новую форму «перформативного гражданства», создаваемого снизу и предполагающего обязанности, принимаемые по зову совести. Такое гражданство не может быть навязано национальными законодательно учрежденными органами [Albrow, 1996, p. 178].

Сколько-нибудь точных эмпирических данных о том, насколько значительна та роль, которую в настоящее время играет данный тип гражданства, немного. При проведении Всемирного опроса о ценностях (World Value Survey) в 1990 г. равным выборкам граждан из 20 стран задавали вопрос о том, отождествляют ли они себя с человечеством в целом, со своими странами или же с конкретной местностью и городом, в которых в настоящее

время проживают [Mlinar, 1997], в большинстве стран половина опрошенных признали себя «локалистами». Интерес здесь представляет соотношение между так называемыми космополитами и националистами. Оно оказалось достаточно низким (примерно 1 к 3) в большинстве Скандинавских стран, а также в странах бывшей Восточной Европы. Однако в Западной Европе оно приближалось к показателю 1 к 1,5–2. В Бельгии, Италии и Германии количество националистов и космополитов было почти равным. Это указывает на то, что значительное число людей считает себя гражданами транснациональных общностей.

Если говорить, в частности, об экологии, то многие правила, поощряющие то или иное поведение людей, связаны с общим представлением о некоем неформальном глобальном гражданстве, которое само является своего рода культурой. И подобно тому, как национальные культуры нуждаются в культурных ресурсах — символах, нарративах, ритуалах, которые создают чувство общей судьбы, потребность в них испытывает и культура космополитизма и глобальной ответственности. Переход от озабоченности локальными и непосредственными проблемами к глобальным требует производства, оборота и потребления культурных ресурсов, а также чувства ледникового времени, необходимого для формирования «воображаемого сообщества» на глобальном уровне и смещения последнего в область конкретных действий. Благодаря глобальным медиа люди могут со временем начать воспринимать себя в качестве членов единого «сообщества» и даже, возможно, распространить некоторые элементы своего правового статуса на животных как представителей внечеловеческой природы [Wark, 1994]. Бек утверждает: «В случае ядерного и химического заражения мы сталкиваемся с “концом другого”, концом всех наших строго культивировавшихся возможностей дистанцирования друг от друга, скрывавшихся за категорией заражения» [Beck, 1992a, p. 109].

Пагуошское движение ученых придает большое значение глобальным медиа, но не потому что они распространяют полезную информацию по всему миру. Скорее, культурная работа осуществляется через медийные образы, способные вызвать «эмоциональную реакцию на отображаемые мировые события», повысить осведомленность о региональной и глобальной взаимозависимости и оказать давление на недобросовестные правительства с целью удержать их от реализации тех или иных, зачастую губительных, шагов [Rotblat, 1997a, p. 14].

Гражданство всегда требовало коммуникации и распределения символических ресурсов [Murdock, 1992, p. 20–21]. Печать, особенно газеты, в XIX в. оказала огромное влияние на возникновение воображаемых сообществ европейских наций и становление национального государства. В XX в. особую роль в распространении представления о национальном гражданстве стало играть государственное радиовещание. Как отмечает Мердок, «если коммерческое радиовещание относилось к слушателям как потребителям, это государственной службы предполагало отношение к ним как к гражданам национального государства. Последнее преследовало цель повсеместного распространения сложившихся культурных институтов» [Ibid., p. 26–27]. Обращаясь к слушателям как к семьям, собравшимся вокруг радиоприемника, оно скрепляло устойчивые воображаемые связи между домом и страной, отцом и отечеством.

Так, радиовещание Би-би-си в Британии межвоенного периода способствовало развитию идеологии английскости, носившей все более отчетливые национальные черты. Холл утверждает, что BBC стала «инструментом, аппаратом, “машиной”, которая создала нацию. Она произвела именно ту нацию, к которой обращалась, — то есть выстроила аудиторию так, как ее себе представляла» [Hall, 1993, p. 32]. В процессе создания Национальной радиовещательной службы, BBC «вытесняла или подавляла частные культурные формы, порожденные трудом, этничностью или местными традициями», если они не встраивались в проект построения нации [Murdock, 1992, p. 29].

Люди, места и образы могут воплощать идею нации двумя основными способами [Billig, 1995, p. 98]. Во-первых, через изображение, когда определенные слова, образы или явления содержат основные черты или существенные характеристики данной нации. Последнюю в этом контексте часто символизируют или изображают различные ландшафты [Lowenthal, 1994]. Во-вторых, через представительское выступление, когда некто или некий институт могут говорить от имени всей нации. Часто именно это имеют в виду, говоря о правительствах, что они представляют нацию, когда высказывают, действуют или вступают в спор от ее имени. Очевидно, эти два модуса репрезентации тесно друг с другом связаны: говорить от имени нации — зачастую значит говорить, обращаясь к ней и описывая ее сущностные свойства.

Далее я рассмотрю «глобальные» аналоги двух названных способов репрезентации нации. Как может быть изображен земной шар и что значит говорить от его имени? Какую роль в этих двух представлениях земного шара играют средства массовой информации? Можно ли в каком-то смысле говорить о возникновении глобальной «публичной сферы» [Keane, 1991; Кин, 1994; Cohen, 1996; Thompson, 1995].

Публичная сфера, согласно концепции Хабермаса, предполагает отсутствие ограничений для любых форм дискуссий, широкий доступ к публичным дискуссионным площадкам, свободу выражения и обсуждения, а также рациональность утверждений и аргументации [Cohen, 1996; Cottle, 1993]. В ранних своих работах Хабермас особенно подчеркивал ту опасность, которую СМИ представляют для публичной сферы, поскольку они уничтожают возможность существования критически настроенной мыслящей аудитории [Habermas, [1962] 1989].

В более поздних работах, однако, Хабермас приходит к заключению, что радио и телевидение в действительности играли роль «средств информации публичной сферы», будучи сами зависимыми от ресурсов «жизненного мира» [Habermas, 1974, p. 49]. В частности, он утверждает, что в массмедиа «свободная коммуникация возникает из провинциальности ограниченных в пространстве и времени контекстов и открывает дорогу возникновению публичной сферы посредством установления абстрактной одновременности виртуально наличной сети коммуникационных контентов, весьма удаленных друг от друга во времени и пространстве» [Habermas, 1987, p. 390]. Медиа здесь обладают «двусмысленным потенциалом», порождая множество уравнивающих друг друга тенденций к коммодификации, централизации и гомогенизации, особенное внимание которым в своих исследованиях медиа уделяли теоретики франкфуртской школы [Habermas, 1987, p. 390; Cohen, 1996; Cohen, Arato, 1992; Коэн, Арато, 2003]. Хабермас подчеркивает смешанный характер публичной сферы, помимо прочего включающей в себя разнообразные массмедиа, обеспечивающие децентрализацию, конкуренцию сообщений, влияние журналистской этики и сопротивление прямой манипуляции со стороны медиа [Habermas, 1992; Cohen, 1996].

В дальнейшем, однако, я хочу показать, что в действительности массмедиа существенно меняют публичную сферу, пре-

вращая ее в некую «публичную сцену». Медиа влияют на сами возможности взаимодействия и диалога, преобразуют публичную сферу при помощи крайне опосредованных форм квазивзаимодействия, порождают новые способы самовосприятия и идентичности и принципиально новые виды перформативности (см. [Szerszynski, Toogood, 1999; Gitlin, 1980; Meyrowitz, 1985]). Главенствующую роль на этой глобальной публичной сцене играют различные образы, а также непосредственное общение и прямые информационные потоки.

На этой публичной сцене присутствуют образы событий, зрелищ и индивидуальных выступлений. На ней находится множество лиц, которые попадают в дома людей, вызывая у последних чувство личного знакомства с этими персонами [Scannell, 1996, p. 165]. Телевидение персонализирует дискурс, отдавая предпочтение неформальным и закулисным стилям общения и поведения [Meyrowitz, 1985, p. 106]. Формальный политический язык становится свободным и непринужденным. Телевидение делает публичным то, что прежде было приватным. До радио- и телевидения «публичная жизнь была тем, что “меня не касалось”», будучи недоступной для посторонних.

Образы играют такую важную роль, поскольку многие источники полезной информации перестали пользоваться доверием. Медийные образы действительно могут обеспечивать более устойчивыми формами значения и интерпретации в глобализирующейся культуре, в которой, как мы уже говорили, «видеть — значит верить», особенно если речь идет об образах, повторяющихся снова и снова (о телевидении и образах см. [Morley, Robins, 1995, p. 38–39]). Образы могут объединять в себе разные частные формы опыта, предоставляя нам мощный ресурс герменевтической интерпретации, необходимой для осмысления того, что в противном случае осталось бы чередой разрозненных и внешне между собой никак не связанных событий и явлений. Образы, по всей видимости, важны еще и потому, что, согласно Рамоне, «цель состоит не в том, чтобы дать нам понять ситуацию, но вовлечь нас в то или иное событие» (цит. по [Morley, Robins, 1995, p. 195]). Избыток информации может быть нежелательным, поскольку влечет за собой информационную перегрузку [Keane, 1991, p. 182–186]. Морли и Робинс обращаются к теме «желания не знать», связанного с тем, что размышление порождает беспокойство. Или более прозаически: «быть информированным —

утомительно» (Рамоне, цит. по [Morley, Robins, 1995, p. 194]). Люди стремятся в лучшем случае к тому, чтобы быть небольшой частью воображаемого сообщества, озабоченного состоянием амазонской сельвы, войной в Боснии, голодом в Эфиопии, и не желают углубляться в природу подобных событий или разбираться в том, как их на самом деле можно устранить. Образы запускают кумулятивный процесс того, что называют «культивацией», т.е. более или менее продолжительного воздействия на людей различных согласующихся и обладающих притягательной силой символических потоков [Anderson, 1997, p. 26].

Значение массмедиа, таким образом, связано с тем, что они публично предъявляют то, что в противном случае могло бы остаться тайным. Все индивиды и общественные институты в любой момент могут оказаться на сцене и стать предметом публичной демонстрации. Как говорит Мейровиц, электронные средства информации не оставляют времени на закулисную подготовку. Сохранить в секрете и оставить приватным удается немного. Практически ничто не может долго удерживаться в тени, вдали от любопытных глаз все менее скованных национальными границами медиа. Трансформация публичной сферы в публичную сцену стирает различия между ранее автономными сферами приватного и публичного [Cohen, Arato, 1992; Коэн, Арато, 2003].

Мейровиц описывает притягательность публичной демонстрации как процесса более увлекательного, чем то, что выставляется напоказ [Meurowitz, 1985, p. 311–320]. Акт публичной демонстрации вызывает желание повторить его, подпитывая жажду разоблачения, уличения, создания очередного скандала в механизме глобального распространения информации. Разумеется, объектом этой системы обличения преступлений, совершаемых властью имущими, может оказаться любой человек, равно как и любой институт. Никто в действительности не обладает безусловным иммунитетом от этой культуры позора, и в последнюю очередь рассчитывать на него могут влиятельные персоны и институции. Человеческое «доброе имя» (случай Клинтона), государственный «бренд» (Франция и проводившиеся ею ядерные испытания) или корпоративная «репутация» (участие британских банков в махинациях с пенсионными средствами) — все это становится крайне уязвимым символическим капиталом. В течение одной недели в компаниях Rio Tinto, Shell,

P & O, Premier Oil, Nestlé и ICI были проведены общие собрания акционеров, к которым группы недовольных привлекли внимание международных СМИ с целью разоблачения предполагаемых махинаций и злодеяний компаний (часто совершенных в странах, весьма далеких от мест проведения собраний). Бренды подвергаются угрозе разоблачения и позора и последующей стремительной эрозии. Существует право глобального надзора со стороны медиа, особенно в определенные ключевые моменты (такие как широкие публичные собрания и дебаты; см. [Stevenson, 1997, p. 46]). Информация о разразившемся скандале мгновенно распространяется по всему земному шару. Она несет угрозу «репутации», тогда как последняя функционирует как символический капитал или сила, преодолевающая границы все с большей легкостью вплоть до своего исчезновения [Thompson, 1997]. Пример компании Nike, сведения о «нищенских зарплатах» в которой нанесли серьезный удар по бренду, показывает, что «публичное порицание и давление потребителей могут оказывать решающее воздействие на крупнейших производителей» [Dionne, 1998].

Медиасобытия также обнажают свою визуальную постановочность, вынося на публичную сцену своих шоу буквально все. Элброу отмечает значимость глобальных событий, в которых мир смотрит сам на себя, событий, помещенных в контекст мировой сцены. Среди примеров можно упомянуть всемирную трансляцию концерта Live Aid, освобождение Нельсона Манделы из тюремного заключения, драматическую смерть и последующие похороны принцессы Дианы, Олимпийские игры, миллениум и т.д. [Albrow, 1996, p. 146; Anderson, 1997, p. 172–173]. В каждом из этих случаев в глобальное обращение были пущены яркие образы, в процессе дальнейшего потребления и распознавания ставшие основой глобальной гражданской иконографии. Можно сказать, что подобные образы одновременно визуально отражают земной шар и адресуются к нему.

Конечно, разнообразные визуальные образы сопровождаются письменным или устным текстом, который помещает их в определенный контекст. В электронную эпоху между спикером и аудиторией устанавливается множество различных форматов отношений. Так, текст может исполнять «сложный дейксис при помощи коротких слов», позволяющий достичь воображаемого контакта между говорящим и конкретной аудиторией [Billig,

1995, p. 106]. К таким коротким словам относятся «я», «вы», «мы», «они», «здесь», «сейчас», «это», «то». Все они используются дейктически, отсылая к различным контекстам высказывания. Когда Клинтон говорил об «этой величайшей стране в истории человечества», слово «эта» пробуждало чувство места национальной принадлежности — той самой нации, которая отзывается на слово «эта» в клинтоновской речи, мгновенно распознавая в нем США [Ibid., p. 107]. Этот дейксис понятен любому американцу, уверенному в том, что США — «величайшая страна в истории человечества». «Мы» обычно означает не просто говорящего и его непосредственную аудиторию, но и воображаемую нацию как сосредоточение привычных обязательств и связей [Stevenson, 1997, p. 45].

Но может ли данный дейксис отсылать не только к нации, но и к более широким воображаемым сообществам, выходящим за пределы национальных границ (отрицательный ответ см. [Ibid., 1997])? Биллиг цитирует Манделу, апеллирующего к «народу Южной Африки и миру, который наблюдает» [Billig, 1995, p. 107]. Слово «мы» в его речах почти всегда отсылает к тем людям за пределами Южной Африки, которые следят за ситуацией через глобальные СМИ и принимают коллективное участие в возрождении страны. Когда Мандела говорит «мы один народ», он имеет в виду как жителей ЮАР, так и весь остальной мир. Подобную дейктическую отсылку к коллективному «мы» использовали телекомментаторы церемонии похорон принцессы Дианы, в действительности адресуясь к тем, по общим оценкам, 2,5 млрд людей, которые наблюдали за этим событием по всему миру.

Теперь я вкратце проанализирую некоторые исследования масштаба и воздействия различных «глобальных образов». Какие имеются подтверждения существования такого явления, как «банальный глобализм», в определении Биллига? Какие изобразительные и устные способы репрезентации земного шара возможны? Какие основные формы она принимает? Эти вопросы были исследованы посредством регистрации всех визуальных образов, циркулирующих на разных британских телеканалах в течение суток [Toogood, 1998; Szerszynski, Toogood, 1999]. На таком суточном временном горизонте были выявлены следующие типы «глобальных образов», предъявляемых как в рекламе, так и в обычной сетке вещания. Каждая из отмеченных категорий образов встречается во множестве разных контекстов:

○ образы земли, в том числе схематические изображения голубой планеты, а также футбола как знаковой для всего земного шара игры, символически объединяющей глобальных граждан планеты,

○ масштабные, часто сделанные с воздуха изображения различных сред (пустыни, океана, тропического леса), которые призваны воплощать образ земного шара (и угрозы ему), а не конкретных стран,

○ образы дикой жизни — особенно символических животных (львов), охраняемых видов (тюленей), а также видов-индикаторов, свидетельствующих об общем состоянии окружающей среды (орлы),

○ образы множества людей, призванные продемонстрировать, что представители практически всех культур земного шара могут испытывать счастье, находясь в одном месте (например, на спортивном стадионе) или потребляя один и тот же глобальный продукт (кока-кола),

○ образы сравнительно экзотических мест и народов (пляжей, местных исполнителей традиционных танцев, лыжных склонов), часто снятые в необычной перспективе, внушающей представление о безграничных возможностях глобальной мобильности, коммуникации и космополитизма,

○ образы глобальных игроков, прославленных мировыми медиа, чьи поступки (а в некоторых случаях и проступки) беспрестанно транслируются по всему миру (О.Дж. Симпсон, Мадонна, королева Елизавета II),

○ образы символических икон нашего времени, своим внешним видом и стилем в одежде демонстрирующих глобальную ответственность, — их поступки и слова воспринимаются как совершаемые и произносимые от лица всей планеты (Мандела, принцесса Диана как «королева сердец», Кен Саро-Вива),

○ образы людей, в своей деятельности выступающих от имени глобального сообщества, что воплощается в комбинированных изображениях различных культур, мест или людей, испытывающих нужду, голод, болезни и т.д. (Красный Крест, добровольцы ООН, спецпосланники),

○ образы корпоративных акций, проводимых во имя всей планеты и ее долгосрочных перспектив (водопроводные компании, осуществляющие очистку среды, фармацевтические компании, вкладывающие миллиарды в новые медицинские исследования),

○ образы глобального репортажа, передаваемого в данный момент в прямом эфире с участием культовых фигур, рассуждающих, комментирующих и интерпретирующих то, что происходит с планетой (Кейт Эйди [BBC], Кристиан Аманпур [CNN], Джон Пилгер [ITV]).

Повсеместное распространение названных образов выявляет определенный набор характеристик современного гражданства. Во-первых, оно неотделимо от множества форм медийной репрезентации земного шара, в свою очередь, связанной с различными типами космополитизма и мобильности. В этих образах подчеркивается, что любого рода ограничения свободной мобильности и доступа к глобальному рынку являются нарушениями чьего-то права [Stevenson, 1997, p. 51]. Во-вторых, глобальные образы служат одновременно изображению земного шара и трансляции некоей позиции от его имени; в некоторых случаях один и тот же медийный сюжет может включать оба аспекта. Принцесса Диана в определенном смысле была символом всего земного шара, особенно с точки зрения своей космополитичности, и в то же время обладала авторитетом, позволяющим ей говорить от имени всей планеты. В-третьих, описанные образы конститутивны для современной культуры, которая больше, чем когда-либо, озабочена вопросами гражданства [Ibid., p. 56–57]. Глобальное гражданство теснейшим образом связано с различными культурами и режимами культурного доступа и равноправия. Наконец, многие глобальные репрезентации встроены в многообразные формы рекламы, показывая с их помощью, что глобальные сети и потоки нередко предполагают любопытные гибриды некогда автономных сфер публичного и приватного. Граница между последними становится все более зыбкой, равно как свою проблематичность демонстрирует разделение вопросов гражданства и современного консюмеризма, к которым я обращаюсь несколько позднее.

Гражданство и потребительство на протяжении длительного времени были отчасти взаимоисключающими практиками и дискурсами. Гражданство имело отношение к понятиям служения, народа, государства, тогда как консюмеризм ассоциировался с приватностью, рынком, покупателем. Однако сегодня эти категории все чаще совмещаются, так что провести четкую границу между «публичным» гражданством и «приватным» консюмеризмом не всегда представляется возможным. Подобный

водораздел был разрушен под действием различных процессов: разработки системы защиты потребительских прав при переходе к постфордистскому способу производства/потребления; роста значения качества «оказания услуги» во многих секторах экономики; увеличения числа «услуг», признаваемых важными для формирования гражданства потока; изменений в природе государства — от прямого обеспечения к регулированию обмена товарами и услугами, обеспечиваемому множеством частных, волонтерских, квазипубличных и государственных агентств (см. гл. VIII наст. изд.). Стивенсон утверждает, что

гражданский статус человека все чаще определяется через способность приобретать товары на глобальном рынке: вследствие этого гражданство оказывается связанным не столько с формализованными правами и обязанностями, сколько с потреблением экзотических продуктов, голливудского кино, компакт-дисков с записями исполнителей брит-попа или австралийского вина. Лишиться доступа к коммерческим товарам в современных западных обществах означает лишиться гражданства (полноправного членства) [Stevenson, 1997, p. 44].

Стирание этих различий влечет за собой существеннейший переход от публичного гражданства, обычно предоставляемого национальным государством на основе принудительного налогообложения и страхования, к «потребительскому гражданству», обеспечиваемому многими институтами, глобальными организациями, национальными государствами, корпорациями, НПО, потребительскими организациями, медиа, волонтерскими группами и т.д. Государству отводится роль регулятора, осуществляющего надзор за качеством и соблюдением общезначительных стандартов.

Реклама созданий и раскручивание брендов — ключевые элементы современного гражданства. Происходит стирание различий между публичной информацией и частной рекламой, между образованием и развлечением (отсюда феномен «эдьютейнмента»), а также, что важнее, между текстуальной информацией и визуальной образностью. Отчасти современное гражданство конституируется объектами и услугами, которые могут быть приобретены как внутри, так и за пределами границ национального государства. Во второй главе я отмечал значимость консюмеризма и «туристического шопинга» для развития гражданских прав в поздние годы существования Восточной Европы.

Мейер также обращается к вопросу о том, как брендовые продукты и реклама дают людям возможность мыслить себя глобальными [Meijer, 1998]. Она даже выдвигает идею, что кока-кола является «выражением нового способа жизни и понимания глобальных культурных ценностей» [Ibid., p. 239]. Бёрджес в сходном ключе описывает новые формы культуры, вмещающие в обязанность покупку тех или иных «глобальных» товаров [Burgess, 1990, p. 144]. (О глобальном феномене фестиваля «Мир музыки, искусства и танца», WOMAD, см. [Albrow, 1996, p. 147]). Люди могут порой воображать себя членами (или сторонниками) различных организаций через приобретение определенных товаров, ношение футболок, прослушивание компакт-дисков, посещение тех или иных веб-страниц, приобретение видеозаписей культовых персон и т.п. Объекты такого рода дарят ощущение своего рода компенсаторного «членства в сети» или потребительского гражданства.

Консюмеризм, таким образом, связан с изменением самого понимания «членства» в организациях в зарождающуюся глобальную эпоху. Членство традиционно предполагало вступление в организацию, влекущее за собой предоставление различных прав и обязанностей. Оно было основано на относительно прозрачной и формализованной иерархии. Классическим примером этой модели являются профсоюзы. Однако сегодня возникло множество новых «организаций», гораздо более медиатизированных и связанных с сетевым принципом построения. Вероятно, наиболее ярким примером протестной организации, достигшей значительных успехов в продуцировании и управлении собственной медийной репрезентацией, является Greenpeace [Hansen, 1993a, p. 157]. В случае протеста против затопления платформы «Брент Спар»

коммуникация сыграла первостепенную роль. У протестующих были спутниковые телефоны и один «Макинтош», посредством которых фотографии и видео передавались в медиацентр во Франкфурте. Greenpeace привлекла собственного фотографа и оператора, которые обеспечивали размещение материалов в газетах и на телевидении по всему миру [Pilkington et al., 1995, p. 4; Macnaghten, Urry, 1998, p. 68–72].

Особенностью использованного Greenpeace образа стало то, что они свидетельствовали об уничтожении моря, причем по-

следнее олицетворяло собой природу всей планеты. Участники акций Greenpeace, забравшиеся на платформу «Брент Спар», размахивали руками, обращаясь ко всему миру на глазах у аудитории глобальных СМИ (которым Greenpeace предоставила возможность использования своих информационных ресурсов). Многие транснациональные сети вовлечены в распространение подобных свидетельств по всему земному шару [Keck, Sikkink, 1998, p. 18–20]. Хьюго Янг так охарактеризовал долгосрочные последствия тех уступок, на которые в конце концов согласилась компания Shell: «Есть бизнес, есть правительство и есть те, кого Greenpeace назвала бы гражданами мира, чьи интересы в разоблачении опасного сговора первых двух она представляет» [Young, 1995; Rheingold, 1994, p. 265; Castells, 1997].

В стремлении говорить от имени всех граждан мира Greenpeace преуспела в формировании образцовой индивидуальности бренда. В распространении свидетельств и образов принимают участие также и другие транснациональные сети, которые, если не брать во внимание случаи потребительского бойкота, редко прибегают к массовой мобилизации [Keck, Sikkink, 1998, p. 19]. Активисты-экологи могут считать себя *гражданами* Greenpeace или других организаций, распространяющих свидетельства, а не гражданами конкретных национальных государств, коль скоро их права и обязанности являются производными от их культурной идентификации с организацией, и в особенности ее брендинга, а не от национальных обществ, которым они принадлежат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Язык прав и обязанностей развивался в течение нескольких столетий, послужив фундаментом для (в целом) прогрессивного распространения гражданства на разнообразные новые группы населения. Хотя названное распространение происходило в постоянной борьбе, было неравномерным, несправедливым и описывалось в крайне индивидуалистических терминах, в конечном счете оно принесло свои плоды, обеспечив объединение народов в «общества», регулирующие предоставление прав и обязанностей [Batty, Gray, 1996, p. 162]. Я уже отмечал, каких планетарных масштабов достигло требование гражданских прав в последние годы — национальное гражданство стало ключе-

вым элементом глобального общества. Отстаивать право — значит заявлять, что до тех пор, пока не будет провозглашено иное, имеющее большую юридическую силу право, национальное государство обеспечивает безусловное его соблюдение в отношении всех представителей соответствующей социальной категории.

В предыдущем параграфе я рассмотрел некоторые следствия означенной позиции, проанализировав, в частности, права, которые не могут быть обеспечены в рамках национальных государств и каждым из них в отдельности, но лишь в рамках предполагаемого глобального общества. Вместе с тем национально-государственная организация мира представляет серьезнейшую проблему для прав такого рода, равно как и для отдельных обязанностей, так как потенциальные глобальные граждане нередко не могут доверять своим национальным государствам, обладая при этом обостренным чувством глобальной ответственности.

В целом новые факторы риска, права и обязанности выходят за пределы общепринятой, т.е. национальной, концепции гражданства, а тот социально-пространственный контекст, в котором люди могут осознавать себя соотечественниками, смещается от нации к планете как целому. В частности, я рассмотрел некоторые свойства массмедиа, которые предопределяют названное смещение чувства идентичности, лояльности и преданности. Я не утверждаю, однако, что «национальные» формы гражданства попросту исчезнут, или что консюмеризация гражданства, понимаемая как социальное равенство, — это всё, к чему мы должны стремиться, или что глобальное гражданство — не более чем хрупкий цветок, цветение которого кратковременно.

Тем, кто скептически воспримет мое рассуждение, стоило бы снова обратиться к Маршаллу, который утверждал, что «общий стиль жизни» является необходимым условием гражданства. Вкусовые и стилевые различия не должны, по его словам, быть «слишком глубокими», затрагивая лишь население, «принадлежащее к единой цивилизации» [Hindess, 1993, p. 27]. Таким образом, парадокс состоит в том, что определенные аспекты глобальной гомогенизации, консюмеризма и космополитизма являются необходимыми условиями для предотвращения чрезмерного углубления социальных различий в современном мире и для сохранения того или иного типа гражданства. В ситуации крайней неоднородности большинства национальных обществ

и особенно их столиц [Therborn, 1995] необходимым, хотя и парадоксальным, условием для тех странных форм, которые приобретает современное гражданство, может выступать некое «объединение в рамках единой цивилизации», обеспечиваемое глобальными массмедиа.

VIII. Социологии

Современное буржуазное общество, с его буржуазными отношениями производства и обмена, буржуазными отношениями собственности, создавшее как бы по волшебству столь могущественные средства производства и обмена, походит на волшебника, который не в состоянии более справиться с подземными силами, вызванными его заклинаниями.

Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Манифест коммунистической партии [Marx, Engels, [1848]; 1964, S. 58; Маркс, Энгельс, 1995б, с. 429]

САДОВНИКИ И ЛЕСНИКИ

В этой книге я развивал три основные идеи. Во-первых, я показал, что социология чаще всего игнорирует мобильность людей. Учет повседневных практик личной мобильности (пусть и опосредуемой технологически) приводит к трансформации соответствующих метафор и социологических понятий. Социологические процессы требуют переосмысления вследствие того, что сегодня они включают в себя множество мобильностей, новые пространства и темпоральности. Во-вторых, концепции человеческой мобильности могут быть перенесены (метафорически или буквально) на мобильность других объектов — идей, образов, технологий, денег, отходов и т.д. В каждом отдельном случае мы имеем дело с гибридами, перемещающимися по различным каналам. Образующиеся в результате сети объединяют как «физические», так и «человеческие» объекты, сложные мобильные комбинации которых придают им силу. В-третьих, я коснулся некоторых следствий возникновения названных мобильных гибридов, оказывающих разрушительное действие на природу самовоспроизводящегося «общества», а значит, и на социологию как дисциплину, исторически связанную с социальной сферой — альфой и омегой социологии.

Эту главу я начну с беглого обзора известной баумановской метафоры разбиения садов, использованной им для описания современных обществ, основанных на заботливом государ-

ственном попечении [Bauman, 1987; Бауман, 2003; Netherington, 1997a, ch. 4]. Бауман выдвигает тезис, согласно которому государство-садовник пришло на смену более ранним формам государства, описываемым через другую метафору — метафору лесничего. Государство-лесничий не утруждало себя приданием обществу окончательной формы и не интересовалось частными деталями его жизни. Государство-садовник, напротив, уделяет исключительное внимание порядку, регулярности и стройности того, что следует выращивать, а что искоренять. В государстве-садовнике первостепенную роль играли законодатели, способные рационально определить, что поддерживает и что препятствует установлению порядка. Социальные науки служили одним из элементов такого рационального подхода к обществу, облегчая экономию социетальных ресурсов, выявляя растения, нуждающиеся в культивации, и определяя точные условия роста определенных культур.

Новый глобальный порядок предполагает возвращение к государству-лесничему и отказ от модели государства-садовника. Лесничий занимается регуляцией мобильностей, обеспечивая достаточный размер охотничьих угодий, но не уделяя внимания условиям обитания каждого конкретного вида животных на каждой отдельной территории. Животные перемещаются по участку и выходят за его пределы подобно странствующим гибридам, которые с легкостью пересекают национальные границы в современном мире. Государства все реже демонстрируют способность и желание возделывать собственные общества, они готовы заботиться лишь о состоянии своих угодий, гарантируя определенные размеры угодий на охотничий период.

Бывшие страны Восточной Европы представляли собой общества с исключительно высоким уровнем развития «садоводства». Однако они не были способны к динамичному развитию и потому попали в окружение стад «животных» (потребительских товаров, образов, западных идей и т.п.), которые все легче проникали на сверхбережно обихаживаемую этими государствами территорию. Население стало преследовать животных, безжалостно вытапывая заботливо оберегаемые растения (своего рода новое прочтение «Скотного двора» Оруэлла).

В данной, заключительной главе я намерен выдвинуть несколько аргументов в пользу того, что метафора лесничества в отличие от садовничества лучше подходит для описания совре-

менных общественных тенденций. Я выступаю за социологию, способную предложить прочные теоретические и исследовательские основания наступающей постсоциетальной, постсадовнической эпохе. Мои рассуждения строятся вокруг тех четырех ключевых сфер, применительно к которым метафора лесничества представляется наиболее уместной, — «гражданское общество», «государство», «природа» и «глобальное».

Для начала я попытаюсь продемонстрировать, как социальные неравенства выглядят в пространственной и темпоральной перспективе, а не только в контексте метафоры сада. Я обращаюсь к процессу развития *гражданского общества*, связанного с «автомобильностью», при которой важнейшее значение приобрела возможность свободно перемещаться, ускользая от действующих констант социального времени и пространства. При этом какое-то регулирование автомобильности есть, конечно, но установить направление или время движения стад автомобилей невозможно. В следующем параграфе я проанализирую изменения в характере национальных и иных *государств*, вызванные тем, что центральным вопросом для них становится регулирование потоков и сетей гражданского общества. Регулируя массовые перемещения стад по своей территории, государства превращаются из садовников в лесников. В дальнейшем я покажу, что садовничество зиждилось на строгом разделении садовника и сада, отчасти сходном с историческим противопоставлением природы и общества или социологии и естественных наук. Я выступаю против подобного разделения и рассматриваю воздействие «социально-природных» гибридов на современное гражданство сквозь призму теории возможностей. Затем я вернусь к стадам взаимодействующих, упорядоченных и чрезвычайно мобильных гибридов, курсирующих по *планете*. Я также вкратце остановлюсь на вопросе о том, могут ли понятия хаоса и сложности быть полезны в разработке «социологии за пределами обществ», т.е. социологии, отвечающей метафоре лесничества, а не садовничества. В заключение приводятся доводы в пользу мобильной социологии.

МОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ ОБЩЕСТВА

Теперь я вернусь к автомобилю и постараюсь показать, что автомобильность привела к поразительным изменениям в ха-

рактуре гражданского общества и что лишь анализ значения подобной мобильности может позволить начать исследовать современную социальную жизнь. Разумеется, я допускаю некоторое упрощение, ограничиваясь здесь проблемами, связанными с автомобилем, однако делаю это отчасти потому, что такой анализ может послужить моделью для исследования мобильности как таковой (см. гл. III наст. изд.).

Как мы ранее установили, автомобильность является комплексом взаимосвязанных машин, социальных практик и способов проживания, характеризующих не некое постоянное жилище, но мобильную полуприватную капсулу. Гибрид, которым является водитель автомобиля, находится дома значительное время, предпринимая масштабные перемещения и преодолевая значительные расстояния, дабы произвести серию действий в чрезвычайно фрагментированном временном континууме. Многочисленные поездки предполагают множество функций, сопряженных со сложным мониторингом. Автомобильность ставит мгновенное время и новые формы пространства в центр организации социальной жизни. Люди живут и социально взаимодействуют в процессе перемещения в своих автомобилях. Автомобиль поэтому служит не просто продолжением индивида; автомобильность в силу своего преобразующего воздействия на режимы социальности не является простым актом потребления. Социальная жизнь всегда была связана с различными формами мобильности, однако машина изменила их, породив особый комплекс гибкости и ограничения. Гражданское общество, таким образом, оказалось, скорее, неким «гражданским обществом автомобильности», гражданским обществом квази-объектов или «водителей автомобиля», нежели отдельных человеческих существ, сохраняющих автономию в отношении своих машин. В результате пропуском в публичную сферу людям служит собственная мобильность.

Автомобильность является источником свободы, «свободы дороги». Гражданское общество присвоило дороги и средства передвижения, бывшие прежде достоянием элит, превратив их в современные системы массовых перевозок. Гибкость автомобиля позволяет водителю совершать стремительные путешествия в любое время и в любом направлении, используя сложную дорожную сеть западных обществ, которая связывает большую часть домов и мест работы и отдыха. Автомобили, та-

ким образом, расширяют список мест для посещения и форм человеческой активности. Значительная часть того, что сегодня вкладывается в понятие «социальной жизни», едва ли было бы возможно без надлежащей гибкости автомобиля и круглосуточного доступа к нему. В любой момент можно отправиться на работу или покинуть ее, навестить друзей или увидеться с семьей. Можно сесть за руль поздно вечером, не сверяясь с расписанием, путешествовать, беспечно забыв о времени. Люди едут куда пожелают по намеченным ими самими маршрутам, неожиданно открывая для себя незнакомые места, останавливаясь на неопределенное время и продолжая движение когда захочется.

Вождение автомобиля, кроме того, само по себе является источником удовольствия и одной из характеристик сегодняшнего гражданина. Вождение автомобиля — это особая цель и набор самостоятельных навыков и умений, позволяющих испытать упоение маневренностью, сноровкой, контролем и возбуждением. Не водить и не иметь машины — значит не обладать полноправным членством в западных обществах. Исследования 1970-х годов показали, что подавляющее число работников проявляло больше мастерства в управлении автомобилем в дороге до и после работы, нежели при исполнении своих служебных обязанностей в рабочее время [Blackburn, Mann, 1979]. Автомобиль никогда не был лишь средством передвижения. Иметь автомобиль и уметь водить его — исключительно важные права, реализуемые при участии мощных автомобильных компаний. Государства занимаются лицензированием и обеспечивают инфраструктуру, предъявляют определенные требования к тем, кто может ездить на машине, но не вмешиваются в вопрос о том, куда или когда им ехать.

Природа подобного «проживания» изменилась, из «жизни-в-дороге» превратившись в «жизнь-внутри-автомобиля». Модель жизни-в-дороге сформировалась в Северной Америке и Европе межвоенного периода, а в наши дни характерна для ряда африканских и азиатских стран. Водитель здесь сам оказывается частью той среды, которую он преодолевает на автомобиле, а технологии изоляции пока отсутствуют или не применяются. Водитель живет-в-дороге и не отделен от всех связанных с этим ощущений. В противоположность этому современный западный водитель живет-внутри-машины, вследствие чего он пользуется гораздо большей степенью безопасности, а риски,

которым он подвергался ранее, экстернализованы и перенесены на тех, кто находится за пределами автомобиля. Живущие в автомобиле избавлены не только от внешних запахов и звуков, но также сохраняют возможность поддерживать связь с определенной средой, в которой происходят те или иные социальные взаимодействия. Водитель управляет социальной обстановкой в своем автомобиле подобно тому, как владельцы домов контролируют своих гостей. Машина стала «домом вдали от дома», местом для бизнеса, любовных приключений, семейных отношений, дружбы, преступлений и т.д. В отличие от «общественного» транспорта, машина обеспечивает жизнь, близкую к домашней. Водитель окружен системами управления, которые позволяют симулировать домашнюю среду, создавать дом вне дома, который гибко и с некоторой долей риска перемещается по незнакомым средам.

Вместе с тем автомобильность склоняет людей к крайней пластичности. Она неразрывно связана с режимом мгновенного времени, требующего сбалансированности и разнохарактерного, непрямого и неопределенного регулирования (в «Автокатастрофе» Дж.Г. Баллард описывает инфантильный мир, в котором любое требование должно быть немедленно удовлетворено [Ballard, 1995; Баллард, 2002]). Такое мгновенное время контрастирует с официально регулируемой посредством расписаний мобильностью, которая сопровождала строительство железных дорог в середине XIX в. (и которая нашла свое продолжение во множестве других графиков движения [Lash, Urry, 1994, p. 228–229]). Таким было модернистское часовое время, основанное на режиме работы публичных институций (свойственное, скорее, садовничеству, нежели лесничеству). Автомобильность, напротив, предполагает более индивидуалистический распорядок, персональное расписание, состоящее из множества мгновений и отрезков времени. Возникает рефлексивный мониторинг, направленный не на социальное, но на самого себя. Люди пытаются поддерживать «связные, хотя и непрерывно пересматриваемые биографические нарративы... в контексте многократного выбора, фильтруемого абстрактными системами» (что порождено в том числе и автомобильностью [Giddens, 1991, p. 6]). Объективное часовое время железнодорожных расписаний эпохи Модерна замещается персональными, субъективными темпоральностями, возникшими в результате перемещения людей за руль автомоби-

ля (при его наличии), в котором и посредством которого и осуществляется их проживание. В развитых обществах автомобильность понуждает практически каждого человека оперировать крошечными отрезками времени, ибо только это позволяет поддерживать целостность запутанных, хрупких и непредсказуемых паттернов социальной жизни, которые лежат в основе самостоятельно создаваемых нарративов рефлексивного «я».

Свобода автомобиля подчиняет своей власти всех членов гражданского общества. Нехватка времени, связанная с большими расстояниями, которые все чаще «приходится» преодолевать, ведет к тому, что автомобиль остается единственным пригодным средством предельно пластифицированной мобильности. Пешие перемещения, езда на велосипеде, поездки на автобусе, парходные прогулки или железнодорожные путешествия могут быть выброшены на помойку истории в силу того, что являются значительно менее эффективными способами передвижения по планете [Graham, Marvin, 1996, p. 296–297].

Необходимо отметить еще три аспекта гражданского общества автомобильности. Во-первых, гибрид водителя автомобиля в обычных обстоятельствах практически незаметен [Michael, 1998]. Имеет место заботливое, тщательное цивилизованное управление транспортным средством, требующее значительных технических и координационных навыков. В ситуации же «лихачества» актуализируется иной набор сценариев — агрессии, соперничества и скорости. Вместе с тем эти сценарии составляют неотъемлемую часть автомобильности. Майк Майкл предпринимает анализ полисемичной природы автомобильности, принуждающей людей проявлять осторожность, внимательность, дисциплинированность (синдром Вольво), равно как наслаждаться скоростью, опасностью и испытывать восторг (синдром высшей передачи). Здесь одновременно задействовано множество сценариев и различных типов вождения — осторожного и состязательного, которые оба являются элементами гибрида водителя, а значит, и автомобильного гражданского общества в целом [Michael, 1998, p. 133]. Применительно к лихачеству Майкл отмечает, что:

...в действительности для этого необходимо быть даже более искусным, привести тело и машину в технически более тонкое сопряжение в сравнении с тем, к которому стремится рядовой дисциплинированный водитель... Чтобы «выйти из-под контроля общества», нужно достичь более глубокого технологического контроля [Michael, 1998, p. 133].

Майкл использует термин «гипергибридизация» применительно к людям, которые помрачены или поглощены технологией, и наоборот. По мнению представителей объединений автомобилистов, опасные гибриды такого рода должны быть нейтрализованы посредством воздействия не столько на технологию, сколько на саму патологию человека.

Во-вторых, автомобильность связана с протестами. С 1970-х годов автомобиль стал рассматриваться как источник большего, нежели поезд, загрязнения [Liniado, 1996, p. 28]. В совсем недавнее время «прорезающие» ландшафт новые дороги вызвали сильнейшее неодобрение, в том числе со стороны многих «водителей». Автомобильность порождает сопротивление гражданского общества. Отчасти это объясняется тем, что новые дороги мгновенно разрушают существующие *taskscape*s, и никакая регенерация ландшафта не способна возместить поспешную утрату. Кроме того, дороги обеспечивают такое передвижение по ландшафту, которое не требует никаких *усилий* и потому считается менее ценным в сравнении с пешей прогулкой, восхождением или велосипедным освоением среды. Таким образом, даже «любя» свой автомобиль, можно не любить, сопротивляться и возмущаться системой, частью которой он является. Гражданское общество существенно видоизменяется в процессе споров о власти, пределах и воздействии автомобильности. Одни и те же люди могут быть страстными водителями и вместе с тем активными противниками прокладки новых дорог. К 1994 г. в Британии существовало около 250 групп, протестовавших против строительства дорог в королевстве, и это движение оказало сильнейшее влияние на гражданское общество. Арсенал прямых действий становился более разнообразным по мере приобретения активистами опыта и знаний, в использовании ими таких технологий, как массовое нарушение границ частной собственности, незаконное вселение в здания и лагеря возле деревьев, которым угрожают программы дорожного строительства и прокладка туннелей. Активисты также совершенствовались в использовании новых технологий, в том числе мобильных телефонов, видеокамер и Интернета. Все это открыло дорогу почти мгновенному распространению информации в медиа, в том числе сведений об акциях для привлечения все большего числа активистов, колесящих по стране вдоль и поперек, чтобы выра-

зять свое несогласие с намечаемыми строительными работами [Macnaghten, Urry, 1998, ch. 2; McKay, 1998].

В-третьих, значительные участки поверхности земного шара сегодня заняты исключительно автомобильной инфраструктурой — именно они являются образцовыми местами сверхмодерна [Augé, 1995]. В Лондоне под нее отведено около четверти всей территории города, а в Лос-Анджелесе — почти половина. Общественные пространства, порожденные урбанизацией, оказались в известном смысле поглощены автомобильностью. Эти автосоны демонстрируют свое явное пространственное и временное господство над окружающими средами, оказывая воздействие на все, что может быть увидено, услышано, уловлено обонянием или почувствовано на вкус (пространственные и временные пределы действия каждого из этих чувств различны). Названные автосреды или места не являются ни городскими, ни деревенскими, ни локальными, ни космополитическими. Это места чистой мобильности, в которых водители, «проживающие-внутри-автомобилей», отделены от всего остального.

Итак, автомобильность создает гражданское общество циркулирующих стад гибридных «водителей», которые проникают в публичное пространство за счет своей мобильности, проживая-внутри-автомобилей и исключая тех, кто не владеет машиной или не имеет водительских прав. Такое гражданское общество автомобильности преобразует общественные пространства в публичные дороги, где гибриды пешехода и велосипедиста уже в известной мере не считаются частью публики. Только те, кто пусть и медленно, но передвигается на машинах, автобусах и грузовиках, являются *публикой* в системе, в которой публичные пространства были благодаря представлениям об индивидуальном выборе и личной гибкости изъяты демократическим путем, а затем преобразованы в общественные дороги. Гражданское общество автомобильности, или право произвольного передвижения в любом направлении и в любое время, предполагает трансформацию публичного пространства в общественные дороги.

В этой книге я уже касался вопроса о том, как различные мобильности преобразуют социальную жизнь. Последние, в частности, фрагментируют нации вследствие возникновения или возрождения локальных, региональных, субнациональных, сетевых, диаспоральных, глобальных экономик, идентичностей и

гражданств. В своем широкомасштабном обзоре экономических изменений, сопровождающих подобные трансформации, Скотт утверждает, что «не существует больше территориального совпадения между государством как политической формой, потоком экономических транзакций и культурными и групповыми границами “обществ”» [Scott, 1997, p. 253]. Особое значение приобретает рост инвестиций, экологических рисков, налоговых поступлений и информации, избегающих контроля со стороны национальных государств, поскольку их движение более не совпадает с национальными границами. Все они пересекают границы государств практически моментально. В случае Интернета почти невозможно установить место происхождения тех или иных транзакций. Клиент часто не догадывается о том, кто выступает поставщиком услуг и где он находится. Если попытаться выразить эту мысль более наглядно, то можно сказать, что в киберпространстве все еще нет налоговых властей.

Описанные изменения влияют на анализ общественных классов, который исторически уходит корнями в данные и гипотезы, принадлежащие «золотому веку» организованного, национального капитализма. До начала 1970-х годов в странах Северо-Атлантического региона разумными считались исследования того, что можно считать «национальными» классами. Но сегодня условия существенно поменялись. Перемены, которые приводят к распаду национальных государств или их объединению в наднациональные общности, еще больше «ставят под вопрос [историческую] связь классовых структур и национальных государств» [Breen, Rottman, 1998, p. 16]. Применительно к капиталистическому классу Скотт отмечает, что «национальные классы капиталистов все больше фрагментируются глобализированными потоками капитала и инвестиций, в которые они вовлекаются» [Scott, 1997, p. 312]. Некоторые авторы идут дальше, утверждая, что в результате мы получим «транснациональные классы капиталистов», что приведет к утрате связи с национальными классовыми условиями и к своего рода глобальной солидарности и сплоченности [Sklaire, 1995; Scott, 1997, p. 312–313]. Если такая перспектива еще достаточно отдаленна, то уже сегодня наблюдается общий рост многих значимых профессий, *taskscape* которых отчасти глобальны и про которые можно сказать, что они расположены во многих местах, перемещаются по самым разнообразным каналам. Райх утверждает,

что «барьеры на пути трансграничных потоков знаний, денег, материальных товаров рушатся; группы представителей самых разных наций присоединяются к глобальным сетям» (см. [Reich, 1991, p. 172; Luke, 1996]; гл. VII наст. изд. об ученых).

С подобной денационализацией менеджмента и многих профессий сопряжена заметная денационализация знаний, а также культурных и информационных детерминант того или иного класса. Мы убедились, как информация стала мгновенно и одновременно доступной буквально повсюду и как знание подверглось «детерриториализации» и превращению в мобильные биты информации [Delanty 1998]. Показатели статуса в отдельно взятом «обществе» в той же степени связаны с названными глобальными информационными потоками, что и с логикой статусов, свойственной каждому из этих обществ.

В центре исторического понимания национального государства стояла отдельная, неизменная и самодостаточная национальная идентичность, гражданское общество, сформированное вокруг единой нации. Именно этим гарантировалось существование гармоничного, сплоченного национального государства, способного разметить окружающее его пространство, четко отделив людей и институты внутри него от тех, что снаружи. Смит заключает:

Национальные государства обладают границами, столицами, флагами, гимнами, паспортами, валютами, военными парадами, национальными музеями, посольствами и, как правило, представительством в ООН. У них также есть одно правительство для всей территории национального государства, единая образовательная система, единая экономика и система занятости, а также обычно один набор прав для всех граждан [Smith, 1986, p. 228].

В этой книге мы уже не раз сталкивались с тем, что мобильности — как внутри страны (связанные преимущественно с автомобильностью), так и за пределами национальных границ (через разнообразные формы мобильности и гражданства) — лишают указанное представление об отдельной, неизменной и самодостаточной национальной идентичности всякой убедительности. В следующем параграфе я проанализирую все более активные попытки государств регулировать различные мобильности, преобразующие гражданские общества и природу национальных государств.

РЕГУЛИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОСТЕЙ

Социальные неравенства часто носят пространственный характер, возникая вследствие крайне неравномерного доступа к различным видам мобильности или столь же неравномерного воздействия последних. В этом параграфе я продемонстрирую, как государства устанавливают связь с различными видами мобильности, и, в частности, попытаюсь ответить на вопрос, могут ли национальные или наднациональные государства смягчать последствия мобильностей, нередко носящие пагубный характер. Смещение физической мобильности из автобусов и поездов в автомобили свидетельствует и о сдвиге в природе государств, общую характеристику которого я попытаюсь здесь предложить. Развитие автомобильности в XX в. сопровождалось значительным падением прямого производства, контроля и хронометрирования физической мобильности; вместе с тем оно привело к появлению совершенно новых форм социальной регуляции мобильностей. Современные государства заняты лицензированием, тестированием, контролем за соблюдением правил, налогообложением, разработкой, управлением и поддержкой водителей, дорог и автомобилей.

Разнообразные новые мобильности вызывают сопутствующие изменения в характере современных государств, которые больше не способны возделывать мир как сад, но лишь играют в нем роль лесничих. По утверждению Делёза и Гваттари,

государство всегда взаимодействовало с внешним, оно немислимо вне этого взаимодействия. Закон государства — это не закон «Все или Ничего»... но закон внутреннего и внешнего. Государство — это суверен. Однако суверен властвует только над тем, что может быть интериоризировано, локально присвоено [Deleuze, Guattari, 1986, p. 15–16].

Внешнее несводимо лишь к проводимой государствами политике на международной арене. Вне государств находятся как мощные глобальные институции, так и те образования, которые относят к категории неопримитивных, племенных обществ. Вместе первые и вторые формируют «поле непрерывного взаимодействия... ускользающую от государств или протививостоящую им внеположность» [Deleuze, Guattari, 1986, p. 17].

Согласно Делёзу и Гваттари, государства пребывают в постоянном поиске способов регулирования тех пространств, что ле-

жат за их пределами, в особенности тех многочисленных форм мобильности, которые перемещаются по этим пространствам и пронизывают их:

...одна из главных задач государства — расчертить то пространство, над которым оно господствует... Жизненно важный интерес любого государства состоит не только в победе над номадизмом, но и в установлении контроля над миграциями, т.е. в выстраивании зоны прав, распространяемой на все «внешнее», на все потоки, проходящие через ойкумену. Если ему это удастся, государство не отказывается от перехватывания всевозможных потоков, народов, товаров, денег или капитала и т.д. Государство никогда не самоустраняется от разбора, пересборки и преобразования движения или от контроля над скоростью [Deleuze, Guattari, 1986, p. 59–60].

Они рассуждают о Китае XIV в., который, несмотря на высокий уровень корабельного дела и навигационных технологий, «не смог предложить ничего, кроме политики иммобильности и масштабных торговых ограничений» ([Deleuze, Guattari, 1986, p. 61]; события 1989 г. могли также проистекать из подобной иммобильности).

Французские исследователи приходят к выводу, что в сравнительно недавнее время западные общества пришли к отказу от социальных отношений, основанных на территории и государстве, т.е. от дисциплинарных обществ Фуко. Общей тенденцией становится движение в сторону обществ контроля, социальных отношений, в основе которых лежат количества и детерриториализация. Современные государства вынуждены воздействовать на «мобильного обитателя, движимого в гладком пространстве, в противоположность неподвижному в расчерченном пространстве» [Ibid., p. 66]. Гладкие и детерриториализированные пространства, парадигмальным воплощением которых служит чистое число, создают для государств немало новых вызовов. Гладкий и детерриториализированный характер названных потоков в значительной мере стал следствием компьютерной оцифровки: «значение имеет не граница, но компьютер, который отслеживает положение каждого индивида» (цит. по [Thrift, 1996, p. 291]).

Таким образом, государства стремятся расчертить пространство вокруг себя, в то время как множество беспрепятственно движущихся глобальных цифровых потоков оказывают им точечное сопротивление. Описать это можно, обратившись к более

традиционному определению государства, а именно определению, включающему набор централизованных и взаимосвязанных общественных институтов в сфере законотворчества, правоприменения, контроля над реализацией законов и обеспечения правовой инфраструктуры их соблюдения. Эти институты покоятся на государственной монополии на легитимное насилие в пределах конкретной территории, обеспечивающей реальные гарантии соблюдения законов в большинстве случаев. В конечном счете власть государства зиждется именно на этой угрозе законного применения силы. Власть сводится к способности создать и провести в жизнь законы, собрать значительные денежные суммы через механизм общего налогообложения и перераспределить их посредством разнообразных пособий, обеспечить занятость больших масс людей и оказывать целый ряд единообразных услуг населению, владеть землей и использовать ее для собственных нужд, применять различные инструменты экономической политики и выступать «социальным регулятором», располагающим множеством техник принуждения и идеологического воздействия. Никакие частные институты, даже самые мощные корпорации, не обладают сравнимым *диапазоном* возможностей.

Некоторые исследователи стали отстаивать ту точку зрения, что национальные государства больше не обладают тем особым набором внутренних возможностей, который позволял бы им смягчать пагубные воздействия глобальных потоков и сетей. Вместе с тем ряд ученых выступают против этого тезиса. Обратимся для начала к последнему, «антиглобалистскому» взгляду на вещи.

Глобальные скептики утверждают, что проблема глобализации сильно преувеличена и что у обществ и правительств остаются возможности контролировать международные процессы. Херст и Томпсон настаивают на том, что нынешняя международная экономика, вопреки распространенному мнению, не так сильно отличается от экономики периода 1870–1914 гг. и в некоторых отношениях даже менее открыта [Hirst, Thompson, 1996; Weiss, 1998]. Они утверждают также, что большинство крупных компаний функционирует в рамках конкретных обществ (например, Ford — в США, Sony — в Японии), а компаний в полной мере международных не так много. Большинство инвестиций совершаются между богатыми странами, главным образом в

треугольнике Европа — Япония — Северная Америка, практически не затрагивая большую часть планеты. Исследователи отмечают, что у правительств есть возможность вмешиваться и влиять на условия жизни своих граждан, поскольку став международной, экономика все же не стала глобализированной. Данной точке зрения можно противопоставить три критических замечания. Херст и Томпсон пытаются представить глобализацию в крайней и наименее правдоподобной форме; они чрезмерно сосредоточены на экономических аспектах глобализации и упускают из виду многие иные глобальные процессы; они также в полной мере не учитывают, что некоторым из рассматриваемых ими явлений в течение ближайших десятилетий предстоит долгий путь в направлении большей глобализованности.

Вместе с тем такого рода скептики глобализации указывают на несколько важных черт современных государств. По мнению Линды Вайс, то, что мы наблюдаем сегодня, нельзя назвать слиянием государств в некое единообразное, лишенное централизованного управления образование [Weiss, 1998, ch. 7]. Имеет место, скорее, рост разнообразия как следствие различной степени готовности государств к работе с глобальными потоками. К тому же государства могут выступать проводниками названных потоков, а не просто объектами их воздействия. Государства все чаще действуют как катализаторы сетей различных стран на региональном или международном уровне, т.е. функционируют в качестве определенного класса агентств в рамках сложной системы [Hirst, Thompson, 1996, ch. 8; Pierson, 1996]. Не стоит забывать и о том, что по-прежнему существует множество международных конференций и событий, на которых государства от собственного имени участвуют в подписании международных соглашений (таких, например, как саммит Земли в Рио-Жанейро в 1992 г.).

Такой обнадеживающий взгляд на сохраняющие силу национальные государства может, однако, подвергнуться существенному пересмотру в свете принятия Многостороннего соглашения по инвестициям (Multilateral Agreement on Investment — далее МСИ). Данное соглашение содержит набор новых инвестиционных правил, значительно повышающих мобильность капитала и сужающих возможности государств по вмешательству в те или иные процессы. К числу таких правил относятся принципы недопущения дискриминации иностранных инве-

сторгов, запрет на ограничения для входа на рынок и на особые условия. Как заявил генеральный директор ВТО, заключая МСИ, «мы создаем конституцию единой глобальной экономики» [Rowan, 1998]. Критики МСИ утверждают, что данное соглашение породит новый класс привилегированных суперграждан, которыми станут 40 тыс. транснациональных корпораций, большей частью избавленных от каких бы то ни было обязательств перед местной рабочей силой и средами. Кларк и Барлоу говорят о МСИ как о «Хартии прав и свобод транснациональных корпораций против граждан и Земли» [Clarke, Barlow, 1997, p. 8].

Итак, сдвиг в направлении глобальных сетей и потоков изменяет пространство за пределами каждого отдельного государства. Именно это пространство государства принуждены расчерчивать и прилагать все больше усилий по «социальному регулированию». Подобное регулирование стало одновременно необходимым и возможным благодаря новым компьютеризированным методам сбора информации, ее извлечения и распространения. Государства все больше завладевают особыми информационными потоками, в частности, базами данных, которые позволяют использовать и отслеживать показатели эффективности в самых разных географических зонах, внутри и за пределами границ национального государства. В таких базах данных содержится информация едва ли не о каждом экономическом или социальном институте. Стало возможным оценить эффективность большинства аспектов жизни, связанных с проживанием в той или иной стране или ее посещением. Такие информационные потоки возникают в том обществе, которое Майкл Пауэр называет «обществом аудита» [Power, 1994]. Организации должны доказывать свою прозрачность перед обществом (и потребителями) посредством непрерывного аудита и обеспечения доступа к собранным по его итогам данным. В попытке выяснить, что люди на самом деле чувствуют и думают по поводу различных аспектов своей жизни, в последнее время проводится все больше исследований и опросов. Культура опросов сама стала частью сдвига в природе государств, от прямого оказания услуг переходящих к регулированию товаров и услуг, предоставляемых государственными организациями, частногосударственными партнерствами, волонтерскими организациями, частным сектором и т.д.

Британию, вероятно, можно считать первопроходцем в «социальном регулировании» (отчасти следуя модели, используемой США). В 1980-х годах правительства консерваторов, избранных в качестве несомненных «дерегуляторов», ввели множество новых форм регулирования [Pierson, 1996, p. 107; THES, 1997]. Происходила «ререгуляция» приватизированных отраслей промышленности (Управление по контролю за газоснабжением и газовая отрасль), окружающей среды (Директива ЕС по качеству воды для купания), образования (Управление стандартами в образовании и инспектирования школ OFSTED), железных дорог (Управление железных дорог), прессы (Совет по рассмотрению жалоб на прессу), профсоюзов (Управление по сертификации профсоюзов и ассоциации наемных работников) и т.д. (см. публикации лондонского Центра по изучению регулируемых отраслей промышленности — Centre for the Study of Regulated Industries).

Некоторые применяемые национальными государствами Европы меры регулирования принимаются от имени Евросоюза. ЕС выступает своего рода моделью формирующегося регулятивного государства [Majone, 1994; 1996]. Это небольшое государство, использующее немногочисленный штат бюрократии и распоряжающееся довольно скромным бюджетом (если не учитывать Общую сельскохозяйственную политику, являющуюся наследием предыдущей эпохи). Данная модель была выстроена вокруг задачи стимулирования различных мобильностей в рамках общего рынка, ее цель состоит в обеспечении гарантий сохранения мира в послевоенной Европе. Евросоюз был призван развивать четыре свободы передвижения — передвижения товаров, услуг, труда и капитала, а также вмешиваться в политику национальных государств, устраняя барьеры для мобильности, торговли и конкуренции. Евросоюз также пытался реализовать собственную «социальную» повестку, особенно после Маастрихтского договора 1992 г. в той его части, которая касается вопросов экологии, здравоохранения, безопасности, промышленности и политики равных возможностей. Существует принцип примата норм европейского законодательства над законодательством национальным в случае прямого противоречия между ними, поэтому действия отдельных правительств могут быть признаны незаконными, хотя главной заботой ЕС по-прежнему остается укрепление «общего рынка» [Adam, 1998, p. 112–113].

Европейский союз — это «регулятивное государство», преимущественно занятое мониторингом и корректировкой политических установок и практических шагов отдельных, входящих в него национальных государств. Заключаемые в его рамках соглашения и издаваемые им директивы обладают исключительным весом. Они влекут за собой как необходимость приведения отдельными правительствами своих законов в соответствие с принятыми договорами, так и возможность непосредственного обращения отдельных граждан ЕС в Европейский суд, когда есть основания полагать, что национальные правительства уклоняются от исполнения соответствующих обязательств [Walby, 1999]. Такого рода законы легки в принятии, поскольку все затраты на их проведение в жизнь перекладываются на национальные правительства.

Примером заметного влияния подобного регулирования стало расширение политики равных возможностей, которая опирается на ст. 119 Римского договора, заложившую более прочные юридические основания, нежели соответствующие законодательства стран — участниц соглашения [Walby, 1999]. Евросоюз отстаивает фундаментальный характер права на социальную защиту, в особенности защиту рабочих-мигрантов и их семей при пересечении границ стран ЕС [Meehan, 1991]. Следуя постановлению Европейского агентства по окружающей среде от 1990 г., ЕС предпринимает большие усилия в целях обеспечения экологической безопасности. Более 80% нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды Великобритании в той или степени заимствованы из законодательства Евросоюза [Lowe, Ward, 1998]. Уорд обращает внимание на то влияние, которое Директива ЕС по качеству воды для купания оказала на нормативы определения чистой и грязной воды. Она позволяет НПО, таким как британская организация «Серферы за чистую воду» (Surfers Against Sewage), повышать уровень собственной осведомленности и более гибко планировать акции [Ward, 1996]. Регулярная публикация точных официальных данных о том, на каких именно пляжах не соблюдаются установленные стандартами нормативы, дает в руки НПО медийный инструмент высказывания критики в адрес правительства и водопроводных компаний, о чем говорилось в седьмой главе. К другим областям, испытавшим серьезное воздействие со стороны регулятивной политики ЕС, относятся безопасность потребитель-

ских товаров, тестирование лекарственных препаратов, финансовые услуги и конкуренция. Данные опросов показывают, что несмотря на то что Евросоюз в целом не пользуется особенной популярностью, около 60% респондентов убеждены: ему следует заниматься теми вопросами, с которыми не могут справиться национальные правительства. Следовательно, «граждане Европы хотят, чтобы “проблемы без границ” решались на общеевропейском уровне» [Leonard, 1998, p. 46; Lowe, Ward, 1998, p. 22].

Таким образом, в будущем государства, как сегодня ЕС, не будут собирать слишком много налогов и расходовать их на внутреннее экономическое и социальное обеспечение. Вместо этого они вслед за Евросоюзом начнут все больше выступать в качестве правовых, экономических и социальных регуляторов, или лесничих, в отношении тех сфер деятельности и тех мобильностей, которые преимущественно обеспечиваются или порождаются частным, волонтерским или третьим секторами. Осуществление подобных регулятивных функций стало возможным лишь с появлением обширных, непрерывно поддерживаемых компьютерных баз данных, содержащих сведения о населении, организациях и предприятиях, что предполагает постоянный аудит. Социальное регулирование требует все более тщательного мониторинга и надзора. Оно также предполагает рост медиатизации, необходимой для того, чтобы факты сбоев в системе регулирования вскрывались и предъявлялись публике, а отдельные индивиды и организации — уличались со скандалом или угрозой скандала.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИРОДЫ

Я уже отмечал, что современные государства часто предпринимают усилия по контролю вредоносного воздействия различных факторов на окружающую среду. Данная сфера государственного регулирования выявляет углубляющуюся взаимозависимость проблем, ранее разделяемых на категории либо «внутренних», либо «внешних». Кроме того, она свидетельствует о снижении значимости средств физического принуждения в определении влияния государств. «Регулирование» экологического воздействия предполагает наличие сетей государств, многосторонних агентств, СМИ, способных нанести удар по репутации, интернациональной науки и т.д. Не существует «национальной» сре-

ды как таковой, которую национальное государство могло бы упорядочивать и контролировать посредством исключительно собственных усилий по ее культивации.

Вместе с тем, когда люди анализируют «природу» или «окружающую среду», значение обоих этих понятий кажется (нижеследующие рассуждения в значительной мере опираются на [Macnaghten, Urry, 1998]). Высказывающие свое мнение о них так или иначе принимают «природу» за некую данность, единственную в своем роде, существующую сама по себе, неизменную и ждущую того, чтобы быть спасенной либо средствами науки, либо с помощью социальных протестов. При этом проводится четкая граница между природой или окружающей средой, с одной стороны, и обществом — с другой. Разумеется, разные группы вкладывают совершенно различное понимание в термин «природное». Для ученых окружающая среда — это реальность, которую следует изучать методами современной науки и к которой социальная деятельность и человеческие практики, в принципе, не имеют никакого отношения. Люди принимаются в расчет лишь в связи с поиском ответа на ключевой вопрос — как посредством интенсивного информирования или финансового стимулирования побудить их вести себя в соответствии с рекомендациями ученых по улучшению состояния окружающей среды, природа которой уже была научно установлена. Для социальных активистов природа служит носительницей уникальных ценностей, которые характеризуются особой чувствительностью к разрушительному воздействию современной науки и экономики. Окружающая среда здесь рассматривается как неповторимая хрупкая природа, подвергающаяся колоссальной угрозе со стороны ценностных и практических установок представителей научного сообщества, которые обращаются с планетой как с лабораторией и расширяющимся глобальным рынком.

В первой главе было продемонстрировано, что социология как наука об обществе развивалась на основе сопоставления природы и общества. Наиболее полного воплощения этот подход достиг в Европе XIX столетия. Природа была сведена к царству несвободы и враждебности, которую необходимо было подчинить и обуздать. Модерн нес с собой веру в то, что прогресс человечества должен измеряться и оцениваться в зависимости от того, в какой мере общество овладело природой, а не от того,

насколько успешны оказались попытки трансформации отношений между ними. Описанный взгляд на природу как на нечто отдельное от общества и требующее покорения лег в основу учения о человеческой исключительности. Последнее зиждется на нескольких представлениях: люди фундаментально отличаются и превосходят другие биологические виды; общества могут распоряжаться своими судьбами и постигать все, что необходимо для продвижения в заданном направлении; единая природа обширна и предлагает неограниченные возможности для ее эксплуатации человеческими общностями; история каждого общества — это история бесконечного совершенствования посредством преодоления сопротивления мира природы [Glacken, 1967; Williams, 1972; 1973; Merchant, 1982; Schama, 1995].

Первое затруднение, связанное с таким подходом, состоит в существовании множества разных определений «природы», которые, как правило, противопоставляют ее Богу, с одной стороны, и «обществу» — с другой. Однако в разные времена и в разных обществах природа понималась совершенно по-разному, отчасти в зависимости от того, какому именно пониманию Бога/общества она противопоставлялась. Таким образом, единой природы никогда не существовало, но были весьма различные *природы*, которые отличались и часто взаимоисключали друг друга [Macnaghten, Urry, 1998]. Нет никакой единой инстанции под названием «природа».

Во-вторых, особой разновидностью природы является та, которую мы сегодня именуем «окружающей средой». Однако последняя представляет собой не просто нечто, существующее само по себе и поддающееся анализу как совокупность научных законов либо человеческих ценностей. Окружающая среда — это гибрид, нераздельный синтез физического и социального, или, как выразился Латур, для самовоспроизводства обществу были необходимы «экстрасоматические» ресурсы. Общество само по себе является не тем, что держит нас вместе, но тем, что удерживает в целостности [Latour, 1993; Латур, 2008; Diken, 1998, p. 266–267]. Возникновение гибрида «окружающей среды» в последние десятилетия стало следствием сложных взаимодействий между различными комбинациями социальных и физических элементов. Сюда входят экологическая наука, медиа, паттерны путешествий, экологические протестные движения, меры государственного воздействия и их отсутствие, испытываемое

обществом чувство перемен, действия корпораций, различные исследования на природоохранную тему, технологические изменения, использующая образы планеты реклама, публичные разоблачения государств и т.д. Образовавшийся гибрид «окружающей среды» включает в себя различные научно прогнозируемые риски (подобные тем, которые отражаются в моделях изменения климата), определенные тексты и образы (например, голубой планеты), некоторые памятные героические поступки и свидетельства (например, резонансные акции Greenpeace на нефтяной платформе Brent Spar), а также конкретных людей и сети (как в случае протестов против строительства дорог).

В-третьих, современные тенденции несут в себе весьма отчетливый парадокс. В большинстве западных обществ все больше внимания уделяется значимости природы и ценности натурального, приобретению естественных продуктов (и даже приданию им еще большей естественности, например, кофе без кофеина), использованию образов природы в рекламе товаров, политических программах и институциях, а также продвижению и призыву к членству в организациях, занятых сохранением природы [Strathern, 1992, p. 173]. Вместе с тем, как отмечает Стратерн, культура необходима для спасения природы, соответственно мы приходим к «невозможности различения природы и культуры на понятийном уровне, когда оказывается, что природа не может выжить без культурного вмешательства» [Strathern, 1992, p. 174]. Сила природы в прошлом была связана с тем способом, каким ее культурная конструкция была в действительности сокрыта от взгляда [Latour, 1993; Латур, 2008]. Однако в теперешнем мире зыбкости и неопределенности ситуация изменилась. Все типы природы, которые мы можем выделить сегодня, тесно связаны и глубоко переплетены с социальными практиками и характерными для них способами культурной репрезентации.

В-четвертых, различные природы действительно встроены в разные паттерны социальной активности, принадлежности и перемещения (см. гл. III и VI наст. изд.). Такие практики развернуты в разных временных горизонтах, начиная с мгновенного и заканчивая ледниковым, и в разных пространствах, начиная с локального сообщества через национальное государство и заканчивая планетарным масштабом. Социальная деятельность задается тем, каким образом люди живут в разных местах, как они их ощущают посредством зрения, обоняния, слуха и ося-

зания, как они перемещаются внутри и за пределами этих мест, наконец, тем, в какой мере они реализуют свои силы в качестве субъектов трансформации собственных жизней и непосредственных сред обитания. Различные социальные практики, таким образом, порождают разные «природы». К последним относятся: природа как открытая местность, пригодная для отдыха высшего класса; природа как зрелище, воспринимаемое через наброски, пейзажные зарисовки, почтовые открытки, фотографии и видеозаписи; природа как совокупность научных законов, в особенности провозглашаемых экологической наукой; природа как расположенная вдали от промышленных предприятий и городов неосвоенная территория, открывающая возможности духовного и физического восстановления; природа как происходящие «глобальные изменения окружающей среды», противопоставляемые изолированным локальным изменениям.

Поделюсь несколькими суждениями о «глобальных экологических изменениях». Понятие устойчивого развития было институционализировано в ходе уникального глобального мегасобытия — саммита Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Это событие, впервые заставившее мир трезво взглянуть на самого себя, внедрило в сознание жителей Земли представление об окружающей среде как глобальной категории. Саммит поднял на новый уровень проблемы глобального потепления, разрушения озонового слоя и биологического разнообразия, каждая из которых связана со сложнейшими научными программами по изучению воздействия социальных процессов на планетарные. В таких областях, как химия атмосферы, океанография, климатология и геология, возникла наука нового типа, связанная с определением влияния промышленности на био-гео-химические циклы планеты, а также вероятных долгосрочных последствий текущих и прогнозируемых тенденций индустриального роста. Эта наука внесла заметный вклад в «новый глобально-экологический подход», в представление о том, что вопросы экологии могут носить более глобальный характер, представлять более серьезную, требующую безотлагательного разрешения проблему, различные аспекты которой связаны друг с другом гораздо теснее, чем считалось ранее [Finger, 1993, p. 40].

Такая глобализация природы расширяет возможности субъекта, действующего в интересах всей планеты, в силу роста зна-

ния людей о тех экологических рисках, потоки которых носят трансграничный характер. В то же время эти глобальные потоки снижают чувство личной ответственности, поскольку растет осведомленность о регулярном нарушении государствами и корпорациями их собственных экологических директив в погоне за сиюминутными экономическими и политическими выгодами. В целом, эти потоки изменяют природу «социального». Я уже неоднократно показывал, как социальное постепенно смещается от полной замкнутости на «национальные социальные структуры» к неформальным глобальным сетям и потокам (см. гл. I и II наст. изд.). Последние пронизывают национальные границы, подрывая строгую упорядоченность отдельных национальных обществ. Они демонстрируют пространственную неравномерность и темпоральное разнообразие. Все это означает, что «природа» уже не настолько связана с каждым отдельным национальным обществом, основанным на «общности судьбы», но в гораздо большей степени зависит от неформальных глобальных гибридных связей, включающих разные общества в образования все более сложной и «неестественной» формы, преодолевающие временные и пространственные ограничения, а также рамки тех политических стратегий, которые реализуются отдельными национальными государствами.

Одновременно эти различные природы оказываются все более выходящими из-под контроля, что склоняет многих к тому, чтобы наделять их правами ледникового времени. Однако такое наделение встретило сопротивление, поскольку в основе традиционно понимаемого гражданства лежало «общество», а не некий более широкий концепт «общества-и-природы» (см. гл. VII наст. изд.). Только люди могут иметь права в обществах, тогда как природные и другие предположительно неодушевленные объекты ими не обладают. Следовательно, чтобы наделять природу (и другие объекты) правами, мы должны были бы «отнестись к “природным” внечеловеческим существам как к автономным участникам... происходящего в мире» [Michael, 1996, p. 135]. Такой подход, в свою очередь, предполагает, что природа (и другие объекты) обладает не только правами, но и обязанностями (о взгляде на природу сквозь призму обязанностей, а не прав см. [Batty, Gray, 1996]). В то же время идея наличия обязанностей у природных объектов, не говоря уже об артефактах, очевидно, идет вразрез с западной научной традицией в целом

и с разделяемым ею представлением об объектности внешнего мира — мира, отделенного от любых форм субъективности.

Существует, однако, и другой подход к пониманию таких объектов, который предполагает наличие у них обязанностей, — я имею в виду гибсоновское исследование «возможностей» окружающей среды [Gibson, 1986, ch. 8; Гибсон, 1998, гл. 8; Michael, Still, 1992; Costall, 1995]. Гибсон утверждает, что в окружающей среде мы не встречаем некоего множества объективных «вещей», доступных или недоступных зрительному восприятию. Скорее, различные поверхности и объекты, соотносимые с человеческим организмом, предоставляют возможности для того, чтобы лежать на них, сидеть, прислоняться и т.д. Эти возможности одновременно объективны и субъективны. В равной степени выступая частью окружающей среды и организма, они возникают из отношений взаимности между ними [Costall, 1995, p. 475]. Возможности предопределены кинестетической активностью людей в мире. Природа задает пределы телесных возможностей, но не определяет конкретные действия, в которые люди могут быть вовлечены. Возможности не вызывают то или иное поведение, но накладывают на него определенные ограничения в пределах некоторой инвариантности. Майк Майкл делает следующий вывод: «существует диапазон опций... неявно задаваемый самой физической средой, и эта заданность напрямую соотносится с телесными возможностями и пределами [человеческого] организма» [Michael, 1996, p. 149].

Можно также сказать, что возможности присущи не только физической среде, но и артефактам [Costall, 1995]. В качестве примера можно назвать дорогу, заманивающую людей собой воспользоваться, гору, дающую укрытие от солнца, здание, с которого открывается панорамный вид, дерево как хранилище воспоминаний, пандус, обеспечивающий беспрепятственный доступ инвалидам-колясочникам, озеро, освежающее прохладой своих вод, и т.д. Необходимо также указать на различные формы оказываемого средой сопротивления: жар солнца, препятствующий восхождению на гору, шоссе, которое портит вид на бухту, низкий мост, не позволяющий туристам на автобусе достичь наиболее живописного места, и т.д. [Costall, 1995]. Объекты, таким образом, могут предоставлять разные возможности, «набор возможностей, присущих экологии места» [Michael, Still, 1992, p. 881], даже если западная наука говорит нам, что

тропинки не могут манить, а скалы не могут предоставлять удобных мест для обзора. Однако это именно то, что они делают или иногда делают в силу определенного сочетания людей, технологий и сред. При наличии неких существовавших в прошлом и ныне действующих социальных отношений конкретные «объекты» открывают некий набор возможностей или шансов; природа и другие физические объекты несут в себе определенные возможности.

Итак, мы можем оценить, обладает ли природа не просто правами, но и обязанностями по отношению к людям и другим живым существам. Можем ли мы представить ответственную природу, обязанную предоставлять людям и другим животным соответствующие возможности? Такая идея представляется противоречащей здравому смыслу в силу особенностей понимания гражданина и гражданства, к которым могут иметь отношение предположительно лишь граждане — человеческие существа. Представление об уникальных свойствах человеческих индивидов еще сильнее укрепляется инициативами последних десятилетий по выработке всеобщих прав человека в противоположность правам, предоставляемым в рамках того или иного общества (см. [Soysal, 1994]; а также гл. VII наст. изд.).

Хотя и в самом деле странно характеризовать природу как *гражданина*, гораздо более естественным кажется представлять ее включенной в дискурсы и практики *гражданства*. Это требует более глубокой переработки понятия возможностей. Майкл пытается «очертить некоторые перспективы взаимодействия “добродетельной природы” с телом с целью восстановления скрытых ранее возможностей, в ходе которого окружающая среда... не сдерживает, но открывает путь движению тела, сообразуясь с его собственными потенциалом» [Michael, 1996, p. 149]. Добродетельная природа — это, говоря условно, природа, демонстрирующая качества добропорядочного гражданина. Понятие возможностей связано с вопросом о том, каким образом разнообразие структур и поверхностей окружающей среды определяют спектр возможных телесно реализуемых действий организма, в особенности организма человека.

В заключение я выскажу три замечания о природе и обновленном понимании гражданства. Во-первых, предоставляемые индивидам возможности должны соотноситься с многообразием чувств, с которыми может быть сопряжено взаимодействие

человека и окружающей среды. Их диапазон ни в коей мере не ограничивается зрительным чувством, на изучении которого сосредоточен Гибсон (см. гл. IV наст. изд.). Добродетельная природа должна давать опыт осязания, слуха, обоняния, вкуса, движения, а также зрения. В противном случае можно говорить об отсутствии полноправного гражданства у человеческих индивидов и животных.

Во-вторых, добродетельная природа — это такая природа, которая предоставляет человеку максимально широкий спектр возможностей, в особенности тех, что раскрывают физические ресурсы противодействия различным формам дисциплинирующих ограничений [Michael, 1996, p. 149–150]. Природа, демонстрирующая качества добропорядочного гражданина, расширяет поведенческие перспективы. Организму человека такая природа предлагает набор потенциальных, доступных индивиду идентичностей.

Наконец, добродетельность природы не означает полного потворствования всем без исключения человеческим практикам. Говоря языком гражданства, природа должна, скорее, задавать рамки непосредственных, сиюминутных людских практик с целью поддержания долгосрочной жизнеспособности или ледникового времени как элементов исполняемой природой роли. Такого рода связанные с ледниковым временем практики предполагают расширенное понимание возможностей. Последние должны предоставляться не только индивидам или социальным группам, но и человеческому роду в целом, поскольку, будучи устремленным в далекое будущее, человечество как вид встроено в необъятные каналы времени природы [Adam, 1998; Sullivan, 1999]. Все это, в свою очередь, обуславливает необходимость дальнейшего изучения связи между социальными практиками и средой, в которой они протекают, что стало возможным с появлением «теории сложности».

СЛОЖНЫЕ МОБИЛЬНОСТИ

В пятой главе я анализировал процесс порождения системами хаотичных, непреднамеренных и нелинейных последствий, которые, даже будучи упорядоченными, остаются непредсказуемыми, удаленными в пространстве и (или) во времени от места и момента своего возникновения и несут в себе паттерны

бифуркации системы. Такие свойства обусловлены «сложной» природой физической и социальной систем. Последние характеризуются большим числом элементов, препятствующим использованию формальных средств репрезентации. Названные элементы взаимодействуют во времени физически и информационно, образуя петли положительной и отрицательной обратной связи. Системы такого типа рассеянным образом взаимодействуют со своей средой, а также обладают историей, необратимо разворачивающейся во времени.

В этом параграфе я обращаюсь к вопросу о том, действительно ли мы наблюдаем возникновение такого нового уровня «глобального», который можно рассматривать в качестве рекурсивно самопроизводящегося, т.е. предполагать, что его следствия служат отправными точками циклической аутопойетической системы «глобальных» объектов, идентичностей, институтов и социальных практик. И если такой уровень существует, то каковы присущие ему характеристики, как глобальное возникает из сочетания хаоса и порядка (о глобальном см. [Robertson, 1992], о сравнительно недавних попытках применить теории хаоса/сложности к социальной науке см. [Byrne, 1998; Cilliers, 1998; Wallerstein, 1998; Валлерстайн, 2003]).

В физических науках теория сложности использует особые математические формулы и мощные компьютеры для обработки гигантского числа итеративных событий, которые происходят в той или иной системе. В конкретных экспериментах, в которых изучалось ускорение в паттернах размножения шелкопрядов, итоговые изменения численности популяции показали существенные нелинейные изменения всей системы с качественной точки зрения. Изменения одного параметра привели к трансформации системы, в то время как в определенных контекстах порядок порождает хаос [Baker, 1993, p. 133].

Описанный итеративный характер систем не получил должного рассмотрения в рамках социологической науки. Отчасти это связано с предположением об атемпоральных свойствах социального мира в противоположность представлению о принципиальной историчности всех социальных гибридов (так же как и физических). Причина такого положения вещей кроется также в пагубных последствиях разделения так называемых структуры и субъекта (agency). В социологической мысли в отношении миллионов индивидуальных итеративных действий

часто применяют термин «структура» (например, классовая структура, структура гендерных отношений или социальная структура). Обозначенная таким образом совокупность явлений не нуждается в дальнейшем изучении; она «упорядочена» и воспроизводится через последовательные итерации. Подобное понятие структуры устраняет саму проблему итерации в социологии. Социальные системы непрерывно меняются, и некоторая хитрость для социологической науки состоит здесь в использовании понятия действия (*agency*), в утверждении, что некие группы агентов действия каким-то образом отделяются от структуры и трансформируют ее (см. обсуждение предложенной Арчер морфогенетической трактовки этой структурно-субъектной дихотомии в гл. I наст. изд.).

Ограничения вышеописанной конструкции были, разумеется, очевидны для ряда исследователей. Гидденс выдвинул идею «дуальности структуры», дабы объяснить рекурсивный характер социальной жизни [Giddens, 1984; Гидденс, 2005]. Сегодня термин «рекурсивный» напоминает, скорее, об итерациях, и Гидденс, несомненно, приблизил нас к пониманию того, как «структуры» могут в одно и то же время опираться и являться следствием бесчисленных итеративных действий разумных субъектов. Вместе с тем недостаточное внимание в рассуждениях Гидденса уделено «сложному» характеру названных итеративных процессов, тому, как порядок может порождать хаос, непредсказуемость и нелинейность. То есть хотя мы и наблюдаем рекуррентность, рекуррентные действия могут создавать неравновесность, нелинейность и — при радикальном изменении параметров — внезапные бифуркации в социальном мире. Здесь мы подходим к самой существенной проблеме: сложные изменения могут не иметь никакой связи с агентами действий, реально пытающимися изменить мир. Они могут просто продолжать совершать те же рекуррентные действия или те действия, которые они считают таковыми. Однако именно в силу итерации во времени они могут вызывать внезапные, непредсказуемые, хаотические последствия, часто противоположные тем, которых вовлеченные в процесс человеческие агенты стремились достичь [Urry, 1995, p. 50]. Кроме того, очевидно, что агентами действий выступают не столько человеческие существа, сколько множество человеческих и внечеловеческих актантов, являющихся типичными мобильными, блуждающими гибридами.

Один из наиболее чистых социологических примеров осмысления сложности являет собой предпринятый Марксом анализ демонстрируемых капитализмом «противоречий» (см. [Elster, 1978]). По мысли Маркса, отдельные капиталисты стремятся к максимизации собственной прибыли и потому платят рабочим как можно меньше или принуждают их работать как можно дольше. Такая «эксплуатация» рабочей силы будет длиться до тех пор, пока государства или коллективные действия профсоюзов не окажут ей сопротивление или пока рабочие не вымрут. В противном случае рабочие будут преждевременно умирать. Последствия таких бесконечно повторяемых действий воспроизводят капиталистическую систему, пока они создают значительные прибыли, сглаживающие влияние того, что Маркс назвал тенденцией к снижению нормы прибыли. Реализация полученных доходов ведет к воспроизводству классовых отношений капитала и наемного труда, лежащих в основе устойчивости капиталистической системы.

Однако сам процесс поддержания порядка за счет эксплуатации своих рабочих каждым капиталистом приводит к трем системным противоречиям. Во-первых, общий уровень спроса на продукты капиталистической системы снижается, поскольку рабочий получает минимальную зарплату; это, в свою очередь, ведет к перепроизводству товаров относительно спроса и недоиспользованию капиталистических ресурсов. Во-вторых, рабочая сила теряет здоровье, эффективность и накапливает недовольство; Маркс утверждает, что порядок воспроизводимых капиталистических отношений порождает хаос революционного пролетариата. В-третьих, капиталисты будут пытаться найти альтернативные рынки для своей продукции, и это желание в итоге сметет все китайские стены, распространит капитализм по всему миру и даст рождение общемировому революционному пролетариату. Таким образом, следствие капиталистического порядка с течением времени и спустя миллионы итераций будет противоположным тому, которого капиталисты стремились добиться, эксплуатируя местную рабочую силу. Миллионы итераций ведут к тому, что на смену порядку приходит хаос, нелинейные изменения и катастрофические бифуркации капиталистической системы [Reed, Harvey, 1992].

В социологии много усилий было потрачено на то, чтобы объяснить, почему грандиозные предсказания Маркса не осу-

ществились. Однако с точки зрения современной теории осуществимость его предсказаний социальной революции кажется вполне понятной, поскольку небольшие изменения в системе могут привести к совершенно иной ситуации по сравнению с той, что Маркс анализировал более века назад (применительно к постфордистскому консюмеризму, к примеру). Кроме того, структура его анализа выявляет принципиальную значимость *локальных* форм информации. Сильерс указывает на то, что любая возникающая сложная система является результатом интенсивного взаимодействия простых элементов, которые «лишь реагируют на ограниченную информацию, с которой каждый из них имеет дело» [Cilliers, 1998, p. 5]. Таким образом, следуя мысли Маркса, каждый капиталист действует в условиях, далеких от равновесия; капиталисты могут лишь реагировать на «локальные» источники информации, поскольку релевантная информация распространяется только в ограниченном диапазоне. Иногда локальное сопротивление групп рабочих против условий их эксплуатации в долгосрочной перспективе приводила — в силу собственного повторения — к воспроизводству капиталистической системы. В конечном счете такого рода борьба как раз и преграждала путь той эксплуатации рабочей силы, которая с неизбежностью привела бы к революции. Основанная на локальном знании, эта борьба служила закреплению социального порядка на более высоком уровне.

Капитализм, как мы теперь знаем, и в самом деле разрушил не одну «китайскую стену», став в определенной мере действительно глобальным. Может ли сложность и теория сложности пролить свет на природу такого глобального капитализма? Конечно, мы можем отметить, что имеют место миллиарды отдельных действий, каждое из которых связано с предельно локализованными формами информации. Большинство людей большую часть времени предпринимают действия, которые носят итеративный характер, без малейшего представления о глобальных связях и последствиях того, что они делают. Однако эти локальные действия не остаются всего лишь локальными, поскольку они подвергаются повсеместной фиксации, воспроизведению, маркетизации и распространению. Они разносятся потоками по различным каналам рождающегося глобального мира, перемещая идеи, людей, образы, деньги и технологии практически в любое место. Действительно, подобные действия

могут перескакивать из одного канала в другой, будучи текучими и с трудом удерживаемыми в пределах одного из них. Некоторый интерес, однако, представляют те связи, которые могут существовать между локальным и глобальным, связи, обусловленные облегчением распространения информации о такого рода взаимодействиях отчасти благодаря медиа (см. гл. VII наст. изд.).

В целом глобальные последствия носят нелинейный, крупномасштабный, непредсказуемый и отчасти неуправляемый характер. Незначительные причины, порожденные в определенном месте, приводят к значительным последствиям в другом месте. Проиллюстрируем эту мысль на примере кучи песка: если на вершину поместить еще одну песчинку, она может остаться там или вызвать маленький обвал. Система обладает способностью к самоорганизации, однако последствия локальных изменений могут различаться радикально [Cilliers, 1998, p. 97]. Куча поддерживает себя до определенного критического уровня, и мы не можем заранее знать, что повлечет за собой любое частное действие или как оно скажется на устойчивости всей кучи.

Возникающий глобальный порядок — это порядок устойчивого беспорядка и неравновесия. Приведем несколько сравнительно свежих примеров того, как миллионы решений, основанных на локальном знании, привели к непредсказуемым и нелинейным последствиям на постепенно складывающемся глобальном уровне. Во-первых, как уже упоминалось во второй главе, из недр военной машины США возник Интернет, технологическое изобретение, которое распространилось по планете быстрее любых других, когда-либо использованных людьми. Во-вторых, в той же главе мы приводили пример едва ли не одномоментного обрушения в 1989 г. всех восточноевропейских режимов, когда стало ясно, что локальный центр, находящийся в Кремле, не может или не хочет больше действовать. В-третьих, в разных главах настоящей книги мы говорили о том, как внешне «рациональное» решение миллионов людей сесть за руль привело к выбросу углекислоты, угрожающей долгосрочному выживанию планеты. В-четвертых, беспрецедентный рост «западного консюмеризма» привел к частичному переустройству всего мира по образу североамериканских мегамоллов и тематических парков. Наконец, почти повсеместно наблюдается рост религиозного фундаментализма, бросающего вызов возникающему глобальному порядку и всепоглощающему консюмеризму.

Барбер рассматривает два последних пункта в несколько апокалиптическом ключе. Он описывает нарождающийся глобальный порядок как зажатый в тиски, как находящийся в центре глобального противостояния между консюмеристским «Мак-Миром», с одной стороны, и политикой идентичности «Джихада» — с другой [Barber, 1996]. Он констатирует установление «нового мирового беспорядка», в котором МакМир и Джихад зависят друг от друга и поддерживают один другого в глобальном масштабе. Раскручивается спираль глобального неравновесия, угрожающая существующей публичной сфере, гражданскому обществу и демократическим формам. Разумеется, существуют разные формы глобального правления, нацеленные на смягчение тех или иных форм нарушения баланса, но они преимущественно опираются на национальные правительства (которых ныне насчитывается две сотни), действующие в том или ином локальном контексте. Государства стремятся регулировать то, что поддается локальной оценке, а не то, что имеет глобальное значение, если допустить, что последнее поддается сколь бы то ни было достоверному анализу.

Бейкер предлагает занятую картину, позволяющую понять, как происходит взаимодействие между центром и периферией, или внутри того, что он называет «центриферией», в результате которого возникают одновременно порядок и неустойчивость социальной жизни [Baker, 1993]. Он предполагает, что центриферия функционирует в качестве некоего аттрактора, который определяется как точка, на которую со временем замыкается траектория любой системы [Burgin, 1998, p. 26–29; Cilliers, 1998, p. 96–97]. При таком взгляде центриферия является динамичным паттерном, воспроизводимым на множестве разных уровней, вовлекая потоки энергии, информации и идей, которые одновременно участвуют в формировании центра и периферии. Траектория социальных систем необратимо приводит к центриферии.

Может ли понятие центриферии в конечном счете быть плодотворным для анализа глобальных сетей и потоков? Сам Бейкер утверждает:

Сегодня различные мультинациональные отрасли промышленности концентрируют колоссальные объемы человеческой активности, локализуя отдельные звенья своих компаний на разных континентах. В каждом таком случае обмен товарами и услугами связывает и облегчает динамическое взаимодействие центра и пе-

риферии. По мере роста централизации периферия угасает... Так как концентрация и периферизация предполагают преобразование энергии и информации, а значит, и создание энтропии, описанный процесс необратим [Baker, 1993, p. 140].

Можно допустить, что особой формой центриферии является «глокальное», для которого характерен сходный необратимый процесс глобализации-угасания-локализации. Элементы обоих названных процессов связаны посредством динамического взаимодействия, в то время как между ними циркулируют огромные потоки ресурсов. Ни глобальное, ни локальное не могут существовать друг без друга. Они образуют симбиотическую, необратимую, неустойчивую систему связей, в которой все подвергается преобразованию в ходе миллиардов итераций, носящих планетарный характер. Небольшие возмущения в системе могут привести к ее непредсказуемому и хаотическому распаду (о некоторых сходных последствиях для локального см. [Brodie, 1998]).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой книге я попытался продемонстрировать, что в центре обновленной социологии, следующей нормам нового социологического метода, предложенным в первой главе, должны находиться мобильности, а не общества. В связи с названными мобильностями необходимо высказать два заключительных тезиса, перебрасывающих мостик к будущим исследованиям.

Во-первых, как показали Доган и Паре, особенную инновационную значимость в социальных науках приобретает «интеллектуальная мобильность» [Dogan, Pahre, 1990]. В своем обширном исследовании социальных наук XX в. они демонстрируют, что субъектами инновационной активности не выступают ни те из ученых, кто плотно закрепились в отдельных дисциплинах, ни те, кто, скорее, тяготеет к общим «междисциплинарным исследованиям». Инновация, скорее, возникает в результате академической мобильности поверх междисциплинарных границ — мобильности, порождающей так называемую креативную маргинальность. Именно эта маргинальность, связанная с движением ученых от центра своих дисциплин к периферии и пересечением в конечном счете их границ, именно она помогает создавать новые продуктивные гибридности в социальных науках. Последние же, в свою очередь, способствуют институ-

циональному оформлению подотраслей науки (таких как медицинская социология) или неформальных сетей (таких как историческая социология; см. [Dogan, Pahre, 1990, ch. 21]). Эта креативная маргинальность возникает на стыке сложных, накладывающихся друг на друга и взаимоисключающих процессов миграции, которые затрагивают как дисциплинарные, так и географические или социальные границы (в случае франкфуртской школы были затронуты все из них; см. [Ibid., p. 73–74]). Интеллектуальная мобильность представляется чрезвычайно плодотворной применительно к социальным наукам [Diken, 1998].

Во-вторых, важнейшие этапы развития социологии были по меньшей мере косвенно связаны с социальными движениями «эмансипационного толка», которые питали новый или подвергнутый пересмотру социальный анализ. Примерами подобных мобилизованных групп в разные периоды времени выступали рабочий класс, фермеры, ремесленники, городские протестные движения, студенты, движения женщин, группы иммигрантов, экологические НПО, ЛГБТ-активисты, движения инвалидов и т.д. Эмансипационные интересы таких групп не всегда имели социологическое измерение; чаще они оказывали сложное, опосредованное воздействие. Однако социология в каком-то смысле «паразитировала» на этих движениях, демонстрируя с их помощью, как используемые ими «когнитивные практики» способствуют формированию «публичных пространств для нового мышления, мобилизующих новых акторов и порождающих новые идеи» внутри обществ [Eyerman, Jamison, 1991, p. 161; Urry, 1995, ch. 2]. Общества были структурированы дискуссиями, разворачивавшимися в пределах сравнительно небольшой национальной публичной сферы. Информация и знание, порождаемые университетами, служили центральным основанием такого рода дискуссий и устанавливали их возможные пределы. Те или иные конкретные разработки в рамках отдельных научных дисциплин представляли знание для такой публичной сферы, а также формировали последнюю как часть национального гражданского общества [Cohen, Arato, 1992; Коэн, Арато, 2003; Dahlgren, 1995, p. 127].

Вместе с тем определенные коррективы в сложившийся статус-кво вносит нарастающая медиатизация природы сегодняшних гражданских обществ. Массмедиа уже не столько отражают то, что происходит независимо от них, сколько проис-

ходящее в них и при их участии и является тем, что носит статус события. Сфера публичной жизни, которая служила контекстом для производимых внутри академии знаний, сегодня все больше медиатизируется [Dahlgren, 1995]. Дискуссии разворачиваются уже не столько в форме письменных текстов, знания и науки, сколько через образы, выразительные средства и эмоции. Как я показал в седьмой главе, глобальная экономика знаков превращает публичную сферу в публичную сцену, все больше управляемую зрелищами и эмоциями.

На этой медиатизированной публичной сцене появляются самые разные социальные группы, которые участвуют в формировании частичного, несовершенного, стихийного, своего рода глобализированного гражданского общества. Масштаб этого процесса в своем описании проекта «Модели мирового порядка» (World Order Models Project) представил Ричард Фальк. Он констатирует неуклонный рост числа транснациональных гражданских ассоциаций, общемировой сдвиг к демократизации и отказу от насилия, серьезные проблемы, с которыми сталкиваются национальные государства при попытке завоевать и удержать популярность и легитимность, а также общее углубление и ускорение различных глобальных трендов [Falk, 1995; Archibugi et al., 1998]. Фальк приходит к следующему заключению: «Все эти взаимосвязанные процессы спешествуют рождению и росту глобального гражданского общества» [Falk, 1995, p. 35]. И именно эта совокупность социальных трансформаций служит социальным основанием для социологии мобильностей, которую я попытался разработать в этой книге. Остается надеяться на то, что социальный базис «глобального гражданского общества» и отвечающая его особенностям «социология мобильностей» займут прочное место в тех каналах и потоках, которые переструктурируют сложные глобальные территории, складывающиеся в XXI в.

ЛИТЕРАТУРА

- Abercrombie N., Longhurst B.* Audiences. L.: Sage, 1998.
- Adam B.* Time and Social Theory/ Cambridge: Polity, 1990.
- Adam B.* Radiated Identities: In Pursuit of the Temporal Complexity of Conceptual Cultural Practices // Theory, Culture and Society Conference. Berlin. 1995a. August.
- Adam B.* Timewatch. Cambridge: Polity, 1995b.
- Adam B.* Detraditionalization and the Certainty of Uncertain Futures // Detraditionalization / ed. by P. Heelas, S. Lash, P. Morris. Oxford: Blackwell, 1996.
- Adam B.* Timescapes of Modernity. L.: Routledge, 1998.
- Adler J.* Origins of Sightseeing // Annals of Tourism Research. 1989. No. 16. P. 7–29.
- Albrow M.* The Global Age. Cambridge: Polity, 1996.
- Allan S.* Raymond Williams and the Culture of Televisual Flow // Raymond Williams Now: Knowledge, Limits and the Future / ed. by J. Wallace, S. Nield. L.: Macmillan, 1997.
- Amin A., Thrift N.* Neo-Marshallian Nodes in Global Networks // International Journal of Urban and Regional Research. 1992. No. 16. P. 571–587.
- Anderson A.* Media, Culture and the Environment. L.: UCL Press, 1997.
- Anderson B.* Imagined Communities. L.: Verso (Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001).
- Appadurai A.* (ed.). The Social Life of Things. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Arcaya J.* Why is Time Not Included in Modern Theories of Memory? // Time and Society. 1992. No. 1. P. 301–314.
- Archer M.* Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Archibugi D., Held D., Köhler M.* (eds). Re-Imagining Political Community. Cambridge: Polity, 1998.
- Arendt H.* The Life of the Mind. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1978.

Augé M. Non-Places. L.: Verso, 1995.

Axtmann R. (ed.). Globalization and Europe. L.: Pinter, 1998.

Aycock A., Buchignani N. The e-mail Murders: Reflections on "Dead" Letters // Cybersociety / ed. by S. Jones. L.: Sage, 1995.

Bachelard G. Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter, Farrell (TX): Pegasus, [1942] 1983 (Баульер Г. Вода и Грёзы. М.: Издательство гуманитарной литературы, 1998).

Bachelard G. The Poetics of Space. Boston (MA): Beacon Press, [1958] 1969 (Баульер Г. Избранное: Поэтика пространства. М.: РОССПЭН, 2004).

Baker P. Chaos, Order, and Sociological Theory // Sociological Inquiry. 1993. No. 63. P. 123–149.

Ballard J.G. Crash. L.: Vintage, [1973] 1995 (Баллард Дж. Автокатастрофа. М.: Центрполиграф, 2002).

Barber B. Jihad vs McWorld. N.Y.: Ballantine, 1996.

Barham P. «The Next Village»: Modernity, Memory and Holocaust // History of the Human Sciences. 1992. No. 5. P. 39–56.

Barrell J. The Idea of Landscape and the Sense of Place. 1730–1840. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

Barrett M. The Politics of Truth. Cambridge: Polity, 1991.

Barthes R. Mythologies. L.: Cape, 1972 (Барт Р. Мифологии. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004).

Barthes R. Camera Lucida. N.Y.: Hill & Wang, 1981 (Барт Р. Camera lucida. М.: Ad Marginem, 1997).

Batchen G. Desiring Production Itself: Notes on the Invention of Photography // Cartographies / ed. by R. Diprose, R. Ferrell. L.: Allen & Unwin, 1991.

Batty H., Gray T. Environmental Rights and National Sovereignty // National Rights, International Obligations / ed. by S. Caney, D. George, P. Jones. Boulder (CO): Westview Press, 1996.

Bauböck B. Transnational Citizenship. Aldershot: Edward Elgar, 1994.

Baudrillard J. Simulations. N.Y.: Semiotext(e), 1983.

Baudrillard J. America. L.: Verso, 1988 (Бодрийар Ж. Америка. М.: Владимир Даль, 2000).

Bauman Z. Legislators and Interpreters. Cambridge: Polity, 1987 (Бауман З. Законодатели и толкователи: Культура как идеология интеллектуалов // Неприкосновенный запас. 2003. № 1 (27). С. 5–20).

Bauman Z. Postmodern Ethics. L.: Routledge, 1993a.

Bauman Z. 'The Sweet Smell of Decomposition' // Forget Baudrillard? / ed. by C. Rojek, B. Turner. L.: Routledge, 1993b.

Baym K. 'The Emergence of Community in Computer-Mediated Communication' // Cybersociety / ed. by S. Jones. L.: Sage, 1995.

Beck U. From Industrial Society to Risk Society: Questions of Survival, Structure and Ecological Enlightenment // Theory, Culture and Society. 1992a. No. 9. P. 97–123.

Beck U. Risk Society. L.: Sage, 1992b (*Бек У.* Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000).

Beck U. The Reinvention of Politics. Cambridge: Polity, 1996.

Bell C., Newby H. Communion, Communalism, Class and Community Action: The Sources of New Urban Politics // Social Areas in Cities / ed. by D. Herbert, R. Johnston. Vol. 2. Chichester: Wiley, 1976.

Bell D. Framing Nature: First Steps into the Wilderness for a Sociology of the Landscape // Irish Journal of Sociology. 1993. No. 3. P. 1–22.

Bell D., Valentine G. Consuming Geographies. L.: Routledge, 1997.

Benedikt M. (ed.). Cyberspace. Cambridge (MA): MIT Press, 1991a.

Benedikt M. Cyberspace: Some Proposals // Cyberspace / ed. by M. Benedikt. Cambridge (MA): MIT Press, 1991b.

Benedikt M. Introduction // Cyberspace / ed. by M. Benedikt. Cambridge (MA): MIT Press, 1991c.

Benjamin W. Illuminations. N.Y.: Schocken, 1969 (*Беньямин В.* Озарения. М.: Мартис, 2000).

Berger P., Luckmann T. The Social Construction of Reality. L.: Allen Lane, 1967 (*Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995).

Bergson H. Time and Free Will. L.: George Allen & Unwin, 1950 (*Бергсон А.* Непосредственные данные сознания. Время и свобода воли. М.: ЛКИ, 2010).

Bergson H. Matter and Memory. N.Y.: Zone Books, 1991 (*Бергсон А.* Материя и память // Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. М.: Харвест, 2001. С. 414–643).

Berking H. Solitary Individualism: The Moral Impact of Cultural Modernisation in Late Modernity // Risk, Environment and Modernity / ed. by S. Lash, B. Szerszynski, B. Wynne. L.: Sage, 1996.

- Berman M.* All That Is Solid Melts into Air. L.: Verso, 1983.
- Bhabha H.* (ed.). Nation and Narration. L.: Routledge, 1990.
- Bianchini F.* The 24-hour City // *Demos Quarterly. The Time Squeeze.* 1995. No. 5. P. 47–48.
- Billig M.* Banal Nationalism. L.: Sage, 1995.
- Blackburn R., Mann M.* The Working Class in the Labour Market. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- Blau P.* Exchange and Power in Social Life. N.Y.: John Wiley, 1964.
- Boden D., Molotch H.* The Compulsion to Proximity' // *Now/Here: Time, Space and Modernity* / ed. by R. Friedland, D. Boden. Berkeley (CA): University of California Press, 1994.
- Borneman J.* Time-Space Compression and the Continental Divide in German Subjectivity // *New Formations.* 1993. No. 21. P. 102–118.
- Braidotti R.* Nomadic Subjects. N.Y.: Columbia University Press, 1994.
- Braun R., Dessewfly T., Scheppele K., Smejkalova J., Wessely A., Zentai V.* Culture without Frontiers / Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften. Vienna: Research Grant Proposal, 1996.
- Breen R., Rottman D.* Is the National State the Appropriate Geographical Unit for Class Analysis? // *Sociology.* 1998. No. 32. P. 1–21.
- Brendon P.* Thomas Cook: 150 Years of Popular Tourism. L.: Secker & Warburg, 1991.
- Brodie J.* Global Citizenship: Lost in Space / Rights of the City Symposium / University of Toronto. June 1998.
- Brubaker R.* Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1992.
- Brunn S., Leinbach R.* (eds). Collapsing Space and Time: Geographical Aspects of Communications and Information. L.: HarperCollins, 1991.
- Bryson N.* Vision and Painting. L.: Macmillan, 1983.
- Buci-Glucksmann C.* Baroque Reason: the Aesthetics of Modernity. L.: Sage, 1984.
- Buck-Morss S.* The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. Cambridge (MA): MIT Press, 1989.
- Bulmer M., Rees A.* (eds). Citizenship Today. L.: UCL Press, 1996.
- Bunce M.* The Countryside Ideal. L.: Routledge, 1994.

Burgess J. The Production and Consumption of Environmental Meanings in the Mass Media: A Research Agenda for the 1990s' // Transactions of the Institute of British Geographers. 1990. No. 15. P. 139–162.

Busch A. Globalisation: Some Evidence on Approaches and Data // Globalization Workshop. University of Birmingham Politics Dept. 1997. March.

Buzard J. The Beaten Track. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Byrne D. Complexity Theory and the Social Sciences. L.: Routledge, 1998.

Calhoun C. Nationalism. Buckingham: Open University Press, 1997 (Калхун К. Национализм. М.: Территория будущего, 2006).

Canetti E. Crowds and Power, Harmondsworth: Penguin, 1973 (Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997).

Cannon D. Post-Modern Work Ethic // Demos Quarterly The Time Squeeze. 1995. No. 5. P. 31–32.

Capra F. The Web of Life. L.: HarperCollins, 1996 (Капра Ф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. Киев: София, 2002).

Carson R. Silent Spring. Boston (MA): Houghton Mifflin, 1962.

Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 1996 (Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М., 1999. С. 494–505).

Castells M. The Power of Identity Oxford: Blackwell, 1997.

Casti J. Complexification. L.: Abacus, 1994.

Cerny P. Globalization, Fragmentation and the Governance Gap: Toward a New Mediaevalism in World Politics // Globalization Workshop. University of Birmingham. 1997. March.

Certeau M. de. The Practice of Everyday Life. Berkley (CA): University of California Press, 1984.

Chambers I. Border Dialogues: Journeys in Postmodernity. L.: Routledge, 1990.

Chapman M. Copeland: Cumbria's best-kept secret // Inside European Identities / ed. by S. Macdonald. Oxford: Berg, 1993.

Chatwin B. The Songlines. L.: Picador, 1988 (Чатвин Б. Тропы песен. М.: Логос, Европейские издания, 2003).

- Cilliers P.* Complexity and Post-Modernism. L.: Routledge, 1998.
- Clarke D., Doel M., McDonough F.* Holocaust Topologies: Singularity, Politics, Space // *Political Geography*. 1996. No. 6 (7). P. 457–489.
- Clarke T., Barlow M.* MAI. The Multilateral Agreement on Investment and the Threat to Canadian Sovereignty. Toronto: Stoddart, 1997.
- Classen C., Howes D., Synnott A.* Aroma: the Cultural History of Smell. L.: Routledge, 1994.
- Clifford J.* Routes. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1997.
- Clifford S.* Pluralism, Power and Passion // BANC Conference. St. Anne's College. Oxford. 1994. December.
- Cohen G.* Karl Marx's Theory of History. Oxford: Clarendon Press, 1978.
- Cohen J.* The Public Sphere, the Media and Civil Society // *Rights of Access to the Media* / ed. by A. Sajó, M. Price. The Hague: Kluwer Law International, 1996.
- Cohen J., Arato A.* Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press, 1992 (*Коэн Д., Арато Э.* Гражданское общество и политическая теория. М.: Весь Мир, 2003).
- Cohen R.* Global Diasporas. L.: UCL Press, 1997.
- Colson F.* The Week. Cambridge: Cambridge University Press, 1926.
- Condor S.* Unimagined Community? Some Social Psychological Issues Concerning English National Identity // *Changing European Identities* / ed. by G. Breakwell, E. Lyons. L.: Butterworth Heinemann, 1996.
- Connerton P.* How Societies Remember the Past. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Cooke P., Morgan K.* The Network Paradigm: New Departures in Corporate and Regional Development // *Environment and Planning D. Society and Space*. 1993. No. 11. P. 543–564.
- Cooper R.* The Visibility of Social Systems // *Ideas of Difference: Social Spaces and the Labour of Division* / ed. by K. Hetherington, R. Munro. Oxford: Blackwell and Sociological Review, 1997.
- Corbin A.* The Foul and the Fragrant. Leamington Spa: Berg, 1986.
- Corcoran M.* Heroes of the Diaspora // *Encounters with Modern Ireland* / ed. by M. Peillon, E. Salter. Dublin: IPA, 1998.
- Corner J., Harvey S.* (eds). Enterprise and Heritage. L.: Routledge, 1991.

- Cosgrove D.* Social Formation and Symbolic Landscape. L.: Croom Helm, 1984.
- Cosgrove D.* Prospect, Perspective and the Evolution of the Landscape Idea // Transactions of the Institute of British Geographers. 1985. No. 10. P. 45–62.
- Cosgrove D.* Contested Global Visions: One-world, Whole-earth, and the Apollo Space Photographs // Annals of the Association of American Geographers. 1994. No. 84. P. 270–294.
- Costall A.* Socializing Affordances // Theory and Psychology. 1995. No. 5. P. 467–481.
- Cottle S.* Mediating the Environment: Modalities of TV News // The Mass Media and Environmental Issues / ed. by A. Hansen. Leicester: Leicester University Press, 1993.
- Coveney P., Highfield R.* The Arrow of Time. L.: Flamingo, 1990.
- Crary J.* Techniques of the Observer. Cambridge (MA): MIT Press, 1990.
- Crawshaw C., Urry J.* Tourism and the Photographic Eye // Touring Cultures / ed. by C. Rojek, J. Urry. L.: Routledge, 1990.
- Cresswell T.* Imagining the Nomad: Mobility and the Postmodern Primitive // Space and Social Theory / ed. by G. Benko, U. Strohmayer. Oxford: Blackwell, 1997.
- Dalhgren P.* Television and the Public Sphere. L.: Sage, 1995.
- Dahrendorf R.* Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford (CA): Stanford University Press, 1959.
- Dale P.* Ideology and Atmosphere in the Informational Society // Theory, Culture and Society. 1997. No. 13. P. 27–52.
- Davidoff L.* The Best Circles. L.: Croom Helm, 1973.
- Davies K.* Women and Time: Weaving the Strands of Everyday Life, Aldershot: Avebury, 1990.
- Davis M.* City of Quartz. L.: Verso, 1990.
- de Certeau M.* The Practice of Everyday Life. California: University of California Press, 1984.
- Debord G.* Society of the Spectacle. N.Y.: Zone Books, 1994 (*Дебор Гю.* Общество спектакля. М.: Логос, 2000).
- Delanty G.* The Idea of the University in the Global Era: From Knowledge as an End to an End of Knowledge // Social Epistemology. 1998. No. 12. P. 3–25.

Deleuze G., Guattari F. Nomadology. N.Y.: Semiotext(e), 1986.

Deleuze G., Guattari F. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. L.: Athlone Press, 1988 (Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато. Капитализм и шизофрения. М.: У-Фактория, Астрель, 2010).

Demos Quarterly. The Time Squeeze. L.: Demos, 1995.

Derrida J. Positions, L.: Athlone Press, 1987 (Деррида Ж. Позиции. М.: Академический Проект, 2007).

Derrida J. A Derrida Reader. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1991.

Deutsche R. Boys town // Environment and Planning D: Society and Space. 1991. No. 9. P. 5–30.

Dickens P. Reconstructing Nature. L.: Routledge, 1996.

Dicks B. The Life and Times of Community // Time and Society. 1997. No. 6. P. 196–212.

Diken B. Strangers, Ambivalence and Social Theory. Aldershot: Ashgate, 1998.

Dionne E. Swoosh. Public Shaming Nets Results // International Herald Tribune. 1998. 15 May. P. 11.

Dogan M., Pahre R. Creative Marginality. Boulder (CO): Westview Press, 1990.

du Gay P., Hall S., Janes L., Mackay H., Negus K. Doing Cultural Studies: The Story of Sony Walkman. L.: Sage, 1997.

Durkheim E. The Elementary Forms of the Religious Life. L.: George Allen & Unwin, [1915] 1968 (Дюркгейм Э. Социология и теория познания // Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии в 2 ч. Ч. 1. М.: Наука, 1994).

Durkheim E. Rules of Sociological Method. N.Y.: Free Press, [1895] 1964. (Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Терра-Книжный клуб, 2008).

Durkheim E. Suicide. L.: Routledge, [1897] 1952 (Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. М.: Директмедиа Пабблишинг, 2007).

Eade J. (ed.) Living the Global City. L.: Routledge, 1997.

Eco U. Travels in Hyper-Reality. L.: Picador, 1986.

Edensor T. Touring the Taj /•Ph.D, Dept of Sociology, Lancaster University, 1996.

Edensor T. National Identity and the Politics of Memory: Remembering Bruce and Wallace in Symbolic Space // *Environment and Planning D: Society and Space*. 1997. No. 29. P. 175–194.

Edensor T. *Tourists at the Taj*. L.: Routledge, 1998.

Edensor T. *Moving through the City // City Visions* / ed. by D. Bell, A. Haddour. L.: Longman, 1999.

Edholm F. *The View from Below: Paris in the 1880s // Landscape: Politics and Perspectives* / ed. by B. Bender. Oxford: Berg, 1993.

Elias N. *The History of Manners*. Oxford: Blackwell, 1978 (*Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования*. Т. 1. М.; СПб.: Университетская книга, 2001).

Elias N. *Time. An Essay*. Oxford: Blackwell, 1992.

Elster J. *Logic and Society*. Chichester: Wiley, 1978.

Enloe C. *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Relations*. L.: Pandora, 1989.

Etzioni A. *The Spirit of Community*. N.Y.: Crown, 1993.

Eve R., Horsfall S., Lee M. (eds). *Chaos, Complexity, and Sociology*. California: Sage, 1997.

Eyerman R., Jamison A. *Social Movements: a Cognitive Approach*. Cambridge: Polity, 1991.

Eyerman R., Löfgren O. *Romancing the Road: Road Movies and Images of Mobility // Theory, Culture and Society*. 1995. No. 12. P. 53–79.

Fabian J. *Time and the Work of Anthropology: Critical Essays, 1971–1991*, Chur, Switzerland: Harwood.

Falk R. *The Making of Global Citizenship // The Condition of Citizenship* / ed. by B. van Steenbergen. L.: Sage, 1994.

Falk R. *On Human Governance*. Cambridge: Polity, 1995.

Febvre R. *Problems of Unbelief in the Sixteenth Century*. Cambridge (MA): Harvard UP, 1982.

Finger M. *Politics of the UNCED Process // Global Ecology: a New Arena of Global Conflict* / ed. by W. Sachs. L.: Zed, 1993.

Forster E.M. *Howard's End*. Harmondsworth: Penguin, [1910] 1931.

Foucault M. *The Order of Things*. L.: Tavistock, 1970 (*Фуко М. Слова и вещи*. СПб.: А-сэд, 1994).

Foucault M. *The Birth of the Clinic*. L.: Tavistock, 1976 (*Фуко М. Рождение клиники*. М.: Академический Проект, 2010).

Foucault M. Of other Spaces // *Diacritics*. 1986. No. 16. P. 22–27.

Fox M. Unreliable Allies: Subjective and Objective Time // *Taking Our Time: Feminist Perspectives on Temporality* / ed. by J. Forman, C. Sowton. Oxford: Pergamon, 1989.

Francis R. Chaos, Order, Sociological Theory: A Comment // *Sociological Theory*. 1993. No. 63. P. 239–242.

Frankenberg R. Communities in Britain. Harmondsworth: Penguin, 1966.

Friedrich R., Boden D. (eds). NowHere. Berkeley (CA): University of California Press, 1994.

Frisby D., Featherstone M. (eds). Simmel on Culture. L.: Sage, 1997.

Game A. Undoing the Social. Milton Keynes: Open University Press, 1991.

Game A. Time, Space, Memory, with Reference to Bachelard // *Global Modernities* / ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. L.: Sage, 1995.

Gamst F. "On Time" and the Railroader — Temporal Dimensions of Work // *Ethnologie der Arbeitswelt: Beispiele aus europäischen und aussereuropäischen Feldern* / Hrsg. S. Helmers. Bonn: Holos Verlag, 1993.

Garton Ash T. We, the People: the Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. Cambridge: Granta Books, 1990.

Gault R. In and out of Time' // *Environmental Values*. 1995. No. 4. P. 149–166.

Gell A. The Anthropology of Time. Oxford: Berg, 1992.

Gernsheim H. The Origins of Photography. L.: Thames & Hudson, 1982.

Giblett R. Postmodern Wetlands. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996.

Gibson J. The Ecological Approach to Visual Perception. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1986 (*Гибсон Дж.* Экологический подход к восприятию. Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1998).

Gibson W. Neuromancer. N.Y.: Ace, 1984.

Gibson-Graham J.K. Postmodern Becomings: From the Space of Form to the Space of Potentiality // *Space and Social Theory* / ed. by G. Benko. Oxford: Blackwell, 1997.

Giddens A. New Rules of Sociological Method. L.: Hutchinson, 1976 (Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: Антология в 2 ч. М.: Книжный дом «Университет», 2002).

Giddens A. The Constitution of Society. Cambridge: Polity, 1984 (Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. М.: Академический проект, 2005).

Giddens A. Social Theory and Modern Sociology. Cambridge: Polity, 1987.

Giddens A. Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity, 1991 (Гидденс Э. Модерн и самоидентичность / реф. Е.В. Якимовой // Современная теоретическая социология: Энтони Гидденс. Реферат. сб. М.: ИНИОН РАН, 1995. С. 95–113).

Giddens A. T.H. Marshall, the State and Democracy // Citizenship Today / ed. by M. Bulmer, A. Rees. L.: UCL Press, 1996.

Gilroy P. The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. L.: Verso, 1993.

Gitlin T. The Whole World is Watching. Berkeley: University of California Press, 1980.

Glacken C. Traces on the Rhodian Shore: Nature and Culture in Western Thought from Ancient Times to the End of the Eighteenth Century. Berkeley (CA): University of California Press, [1967] 1997.

Glennie P., Thrift N. Reworking E. P. Thompson's "Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism" // Time and Society. 1994. No. 5. P. 275–300.

Goffman E. Asylum. Harmondsworth: Penguin, 1968.

Gould S. Questioning the Millennium. L.: Jonathan Cape, 1997.

Gouldner A. The Coming Crisis of Western Sociology. L.: Heinemann, 1972 (Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии. СПб.: Наука, 2003).

Graham S., Marvin S. Telecommunications and the City. L.: Routledge, 1996.

Graves-Brown P. From Highway to Superhighway: The Sustainability, Symbolism and Situated Practices of Car Culture // Social Analysis. 1997. No. 41. P. 64–75.

Gray C.H. The Ethics and Politics of Cyborg Embodiment: Citizenship as a Hypervalue // Cultural Values. 1997. No. 1. P. 252–258.

- Green N.* The Spectacle of Nature. Manchester: Manchester University Press, 1990.
- Gregory D.* Geographical Imaginations. Cambridge (MA): Blackwell, 1994.
- Gregory D.* Scripting Egypt: Orientalism and the Cultures of Travel // *Writes of Passage* / ed. by J. Duncan, D. Gregory. L.: Routledge, 1999.
- Griffin S.* Pornography and Silence: Culture's Revenge against Nature. L.: Women's Press, 1981.
- Griffiths J.* Life of Strife in the Fast Lane // *The Guardian*. 1995. 23 August.
- Grosz E.* Merleau-Ponty and Irigaray in the Flesh // *Thesis Eleven*. 1993. No. 36. P. 37–59.
- Grosz E.* Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism. Sydney: Allen & Unwin, 1994.
- Guérer A. le.* Scent: The Mysterious and Essential Powers of Smell. L.: Chatto & Windus, 1993.
- Gurnah A.* Elvis in Zanzibar // *The Limits of Globalizaion* / ed. by A. Scott. L.: Routledge, 1997.
- Gurvitch G.* The Spectrum of Social Time. Dordrecht: D. Reidel, 1964.
- Gurvitch G.* The Social Frameworks of Knowledge. Oxford: Basil Blackwell, 1971.
- Habermas J.* The Public Sphere // *New German Critique*. 1974. No. 3. P. 49–55.
- Habermas J.* The Theory of Communicative Action. 2 vols. Cambridge: Polity, 1987.
- Habermas J.* The Structural Transformation of the Public Sphere / Cambridge: Polity, 1989.
- Habermas J.* Further Reflections on the Public Sphere // *Habermas and the Public Sphere* / ed. by C. Calhoun. Cambridge (MA): MIT Press, 1992.
- Habermas J.* Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe // *Theorizing Citizenship* / ed. by R. Beiner. N.Y.: SUNY Press, 1995 (*Хабермас Ю.* Гражданство и национальная идентичность // *Хабермас Ю.* Демократия. Разум. Нравственность. М.: Academia, KAMI, 1995. С. 209–245).

Habermas J. There Are Alternatives // *New Left Review*. 1998. No. 231. P. 3–12.

Halbwachs M. On Collective Memory. Chicago (IL): University of Chicago Press, 1992.

Hall S. Cultural Identity and Diaspora // *Identity: Community, Culture, Difference* / ed. by J. Rutherford. L.: Lawrence & Wishart, 1990.

Hall S. Which Public, Whose Service? // *All Our Futures: the Changing Role and Purpose of the BBC* / ed. by W. Stevenson. L.: British Film Institute, 1993.

Hannerz U. Transnational Connections. L.: Routledge, 1996.

Hansen A. Greenpeace and Press Coverage of Environmental Issues // *The Mass Media and Environmental Issues* / ed. by A. Hansen. Leicester: Leicester University Press, 1993a.

Hansen A. (ed.). *The Mass Media and Environmental Issues*. Leicester: Leicester University Press, 1993b.

Haraway D. Primate Visions. N.Y.: Routledge, 1989.

Haraway D. Simians, Cyborgs, and Women. L.: Free Association Books, 1991.

Harley J. Deconstructing the Map // *Writing Worlds: Discourse, Text and Metaphor in the Representation of Landscape* / ed. by T. Barnes, J. Duncan. L.: Routledge, 1992.

Harvey D. The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell, 1989.

Harvey D. Justice, Nature and the Geography of Difference. Oxford: Blackwell, 1996.

Harvey P. Hybrids of Modernity. L.: Routledge, 1996.

Hassard J. (ed.) *The Sociology of Time*. L.: Macmillan, 1990.

Hawkes T. Metaphor: The Critical Idiom. L.: Methuen, 1972.

Hawking S. A Brief History of Time. L.: Bantam, 1988 (*Хокинг С.* Кратчайшая история времени. СПб.: Амфора, 2006).

Hayles N.K. (ed.). *Chaos and Order*. Chicago (IL): University of Chicago Press, 1991.

Heidegger M. Being and Time. Oxford: Blackwell, 1962 (*Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Академический Проект, 2011).

Heidegger M. The Question Concerning Technology and Other Essays. N.Y.: Harper Torchbooks, 1977 (*Хайдеггер М.* Время картины мира // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.:

Республика, 1993. С. 41–61; *Хайдеггер М.* Вопрос о технике // *Хайдеггер М.* Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 221–238).

Heidegger M. Basic Writings / ed. by D. Farrell Krell. L.: Routledge, 1993.

Heim M. The Erotic Ontology of Cyberspace // *Cyberspace* / ed. by M. Benedikt. Cambridge (MA): MIT Press, 1991.

Held D. Democracy and the Global Order. Cambridge: Polity, 1995 (*Хелд Д.* Демократия и глобальный порядок. СПб.: Питер, 2007).

Hempel C. Philosophy of Natural Science. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1966.

Hetherington K. Stonehenge and its Festival: Spaces of Consumption // *Lifestyle Shopping* / ed. by R. Shieds. L.: Routledge, 1992. P. 83–98.

Hetherington K. The Contemporary Significance of Schmalenbach's Concept of the Bund // *Sociological Review*. 1994. No. 42. P. 1–25.

Hetherington K. Technologies of Place. Labour of Division Conference, Keele University, 1995.

Hetherington K. The Badlands of Modernity. L.: Routledge, 1997a.

Hetherington K. In Place of Geometry: The Materiality of Place // *Ideas of Difference* / ed. by K. Hetherington, R. Munro. Oxford: Blackwell/ *Sociological Review*, 1997b.

Hetherington K. Expressions of Identity: Space, Performance, Politics. L.: Sage, 1998.

Hewison R. Field of Dreams // *Sunday Times*. 1993. 3 January.

Hewitt P. Social Justice in a Global Economy? // *Citizenship Today* / ed. by M. Bulmer, A. Rees. L.: UCL Press, 1996.

Hewitt R. The Possibilities of Society. Albany: SUNY Press, 1997.

Hibbitts B. Making Sense of Metaphors: Visuality, Aurality, and the Reconfiguration of American Legal Discourse // *Cardozo Law Review*. 1994. No. 16. P. 229–356.

Hindess B. Citizenship in the Modern West // *Citizenship and Social Theory* / ed. by B. Turner. L.: Sage, 1993.

Hirst P., Thompson G. Globalisation in Question. Cambridge: Polity, 1996.

Hoggett P., Bishop J. Organizing Around Enthusiasms. L.: Comedia, 1986.

- Homans G.* Social Behaviour: Its Elementary Forms. L.: Routledge, 1961.
- Hooks B.* Yearning: Race, Gender and Cultural Politics. L.: Turnaround, 1991.
- Hooks B.* Black Looks: Race and Representation, L.: Turnaround, 1992.
- Huntington S.* The Third Wave. Norman: University of Oklahoma Press, 1991 (*Хантингтон С.* Третья волна: Демократизация в конце XX в. М.: РОССПЭН, 2003).
- Huyssen A.* Twilight Memories. L.: Routledge, 1995.
- Ihde D.* Listening and Voice. Athens (OH): Ohio University Press, 1976.
- Ingold T.* Globes and Spheres: The Topology of Environmentalism // Environmentalism / ed. by K. Milton. L.: Routledge, 1993a.
- Ingold T.* The Temporality of the Landscape // World Archaeology / 1993b. No. 25. P. 152–174.
- Irigaray L.* Interview with L. Irigaray // Les Femmes, La Porno-graphie et L'Erotisme / ed. by M.-F. Hans, G. Lapouge. P.: Minuit, 1978.
- Irigaray L.* The Sex Which Is Not One. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1985.
- Isajiw W.* Causation and Functionalism in Sociology. L.: Routledge, 1968.
- Jagtenberg T., McKie D.* Eco-Impacts and the Greening of Postmodernity. California: Sage, 1997.
- Jarvis R.* Romantic Writing and Pedestrian Travel. L.: Macmillan, 1997.
- Jay M.* In the Empire of the Gaze: Foucault and the Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought // Foucault: a Critical Reader / ed. by D. Hoy. Oxford: Blackwell, 1986.
- Jay M.* Scopic Regimes of Modernity // Modernity and Identity / ed. by S. Lash, J. Friedman. Oxford: Blackwell, 1992.
- Jay M.* Downcast Eyes. Berkeley (CA): University of California Press, 1993.
- Jenks C.* The Centrality of the Eye in Western Culture // Visual Culture / ed. by C. Jenks. L.: Routledge, 1995a.
- Jenks C.* (ed.) Visual Culture. L.: Routledge, 1995b.

Jokinen E., Veijola S. The Disoriented Tourist: the Figuration of the Tourist in Contemporary Cultural Critique // *Touring Cultures* / ed. by C. Rojek, J. Urry. L.: Routledge, 1997.

Jones S. Understanding Community in the Information Age' // *Cybersociety* / ed. by S. Jones. L.: Sage, 1995a.

Jones S. (ed.). *Cybersociety*. L.: Sage, 1995b.

Kaplan C. Questions of Travel. Durham (US): Duke University Press, 1996.

Keane J. The Media and Democracy. Cambridge: Polity, 1991 (*Кин Дж.* Средства массовой информации и демократия. М.: Памятники исторической мысли, 1994).

Keat R., Urry J. Social Theory as Science. L.: Routledge, 1982.

Keck M., Sikkink K. Activists Beyond Borders. Ithaca (NY): Princeton University Press, 1998.

Keil L., Elliott E. Chaos Theory in the Social Sciences. Ann Arbor (MI): University of Michigan Press, 1996.

Kelly K. Out of Control: The Rise of Neo-Biological Civilization. Menlo Park (CA): Addison-Wesley, 1995.

Kern S. The Culture of Time and Space (1880–1918). L.: Weidenfeld & Nicolson, 1983.

Kopytoff I. The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process // *The Social Life of Things* / ed. by A. Appadurai. Cambridge: Cambridge University Press, 1986 (*Копытофф И.* Культурная биография вещей // *Социология вещей* / сб. ст. М.: Территория будущего, 2006. С. 134–166).

Kornblum W. Sociology in a Changing World. N.Y.: Holt, Rinehart & Winston, 1988.

Körner S. Kant. Harmondsworth: Penguin, 1955.

Kuhn T. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago (IL): Chicago University Press, 1962 (*Кун Т.* Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975).

Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. L.: Verso, 1985.

Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago (IL): Chicago University Press, 1980 (*Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004).

- Lash S.* Risk Culture // Australian Cultural Studies Conference. Charles Sturt University. NSW. Australia. 1995. December.
- Lash S., Urry J.* The End of Organized Capitalism. Cambridge: Polity, 1987.
- Lash S., Urry J.* Economies of Signs and Space. L.: Sage, 1994.
- Lash S., Szerszynski B., Wynne B.* (eds). Risk, Environment and Modernity. L.: Sage, 1996.
- Latour B.* Science in Action, Milton Keynes: Open University Press, 1987.
- Latour B.* Drawing Things Together // Representation in Science / ed. by S. Woolgar, M. Lynch. Cambridge (MA): MIT Press, 1990.
- Latour B.* We Have Never Been Modern. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993 (*Латур Б.* Нового времени не было. СПб.: Издательство Европейского ун-та в С.-Петербурге, 2008).
- Law J.* Organizing Modernity. Oxford: Basil Blackwell, 1994.
- Law J., Hassard J.* (eds). Actor Network Theory and After. Oxford: Blackwell/Sociological Review, 1999.
- Lee K.* Beauty for Ever' // Environmental Values. 1995. No. 4. P. 213–225.
- Lefebvre H.* The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991 (*Левфевр А.* Производство пространства // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2. № 3. С. 27–29; *Левфевр А.* Социальное пространство // Неприкосновенный запас. 2010. № 2(70). С. 3–14).
- Leonard M.* Rediscovering Europe. L.: Demos, 1998.
- Levin D.* Decline and Fall: Ocularcentrism in Heidegger's Reading of the History of Metaphysics // Modernity and the Hegemony of Vision / ed. by D. Levin. Berkeley (CA): University of California Press, 1993a.
- Levin D.* Modernity and the Hegemony of Vision. Berkeley (CA): University of California Press, 1993b.
- Levinas E.* Ethics and Infinity. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1985 (*Левинас Э.* Этика и бесконечность. Диалоги с Филиппом Немо // История философии. Вып. 5. М., 2000. С. 172–183).
- Lewis N.* The Climbing Body, Nature and the Experience of modernity // Body and Society. 2000. No. 6.
- Leyshon A., Thrift N.* Money/Space. L.: Routledge, 1997.
- Light A.* Forever England: Femininity, Literature and Conservatism between the Wars. L.: Routledge, 1991.

- Liniado M.* Car Culture and Countryside Change / M.Sc Dissertation. Geography Department. University of Bristol, 1996.
- Loader B.* (ed.). The Governance of Cyberspace. L.: Routledge, 1997.
- Lodge D.* Small World. Harmondsworth: Penguin, 1983 (*Лодж Д.* Мир тесен. М.: Независимая газета, 2004).
- Lovelock J.* The Ages of Gaia: a Biography of Our Living Earth. Oxford: Oxford University Press, 1988.
- Lowe P., Ward S.* (eds). British Environmental Policy and Europe. L.: Routledge, 1998.
- Lowenthal D.* The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Lowenthal D.* British National Identity and the English Landscape // Rural History. 1991. No. 2. P. 205–230.
- Lowenthal D.* European and English Landscapes as National Symbols // Geography and National Identity / ed. by D. Hooson. Oxford: Blackwell, 1994.
- Luhmann N.* The Differentiation of Society. N.Y.: Columbia University Press, 1982 (*Луман Н.* Дифференциация. М.: Логос, 2006).
- Luhmann N.* Social Systems. Stanford (CA): Stanford University Press, 1995 (*Луман Н.* Социальные системы. СПб.: Наука, 2007).
- Luke T.* New World Order or Neo-World Orders: Power, Politics, and Ideology in Informationalizing Glocalities // Global Modernities / ed. by M. Featherstone, S. Lash, R. Robertson. L.: Sage, 1996.
- Lupton D.* The Emotional Self. L.: Sage, 1998.
- Lury C.* Prosthetic Cultures. L.: Routledge, 1997a.
- Lury C.* The Objects of Travel // Touring Cultures / ed. by C. Rojek, J. Urry. L.: Routledge, 1997b.
- Lyon D.* The Electronic Eye: The Rise of the Surveillance Society. Cambridge: Polity, 1994.
- Lyon D.* Cyberspace Sociality: Controversies over Computer-Mediated Relationships // The Governance of Cyberspace / ed. by B. Loader. L.: Routledge, 1997.
- Lyotard J.-F.* The Postmodern Condition. Manchester: Manchester University Press, 1984 (*Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998).
- Lyotard J.-F.* The Inhuman. Reflections on Time. Cambridge: Polity, 1991.

- MacCannell D.* Empty Meeting Grounds. L.: Routledge, 1992.
- Macdonald S.* A people's Story: Heritage, Identity and Authenticity // *Touring Cultures* / ed. by C. Rojek, J. Urry. L.: Routledge, 1997.
- MacIver R., Page C.* Society: An Introductory Analysis. L.: Macmillan, 1950.
- Macnaghten P., Urry J.* Contested Natures. L.: Sage, 1998.
- Macy J.* World as Lover, World as Self. L.: Rider, 1993.
- Maffesoli M.* The Time of the Tribes. L.: Sage, 1996.
- Maier C.* A Surfeit of Memory? Reflections of History, Melancholy and Denial // *History and Memory*. 1994. No. 5. P. 136–152.
- Majone G.* The Rise of the Regulatory State in Europe // *West European Politics*. 1994. No. 17. P. 77–101.
- Majone G.* Egulating Europe. L.: Routledge, 1996.
- Makimoto T., Manners D.* Digital Nomad. Chichester: John Wiley, 1997.
- Mallett P.* The City and the Self // *Ruskin and the Environment* / ed. by M. Wheeler. Manchester: Manchester University Press, 1995.
- Mann M.* The Sources of Social Power. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Mann M.* The Sources of Social Power. Vol. 2. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Mann M.* Ruling Class Strategies and Citizenship // *Citizenship Today* / ed. by M. Bulmer, A. Rees. L.: UCL Press, 1996.
- Mann M.* Is There a Society Called Euro? // *Globalization and Europe* / ed. by R. Axtmann. L.: Pinter, 1998. P. 184–207.
- Marcus S.* Reading the Illegible // *The Victorian City: Images and Reality* / ed. by H. Dyos, M. Wolff. Vol. 1. L.: Routledge & Kegan Paul, 1973.
- Marshall T., Bottomore T.* Citizenship and Social Class. L.: Pluto, 1992 (*Маршалл Т.* Гражданство и социальный класс // *Гражданство и гражданское общество*. М.: ГУ ВШЭ, 2011).
- Martin H.-P., Schumann H.* The Global Trap. L.: Zed, 1997.
- Marx K., Engels F.* Selected Works. Vol. 2. Moscow: Foreign Languages, 1955 (*Маркс К.* Тезисы о Фейербахе // *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч.: в 39 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954–1966. Т. 3. 1955а. С. 1–4).

Marx K., Engels F. Manifesto of the Communist Party. L.: Modern Reader, [1848] 1964 (*Маркс К., Энгельс Ф.* Манифест Коммунистической партии // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.: в 39 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954–1966. Т. 4. 1955б. С. 419–459).

Marx K., Engels F. Collected Works. Vol. 6. L.: Lawrence & Wishart, 1976 (*Маркс К.* Нищета философии. Ответ на «Философию нищеты» г-на Прудона // Маркс К. и Энгельс Ф. Соч.: в 39 т. М.: Государственное издательство политической литературы, 1954–1966. Т. 4. 1955в. С. 65–185).

Massey D. Space, Class and Gender. Cambridge: Polity, 1994.

Massey D. Living in Wythenshawe // *The Unknown City* / ed. by D. Massey. L.: Routledge, 1992.

McClintock A. Imperial Leather. N.Y.: Routledge, 1995.

McCrone D. Understanding Scotland. L.: Routledge, 1998.

McCrone D. The Sociology of Nationalism. L.: Routledge, 1998.

McCrone D., Morris A., Kiely R. Scotland — the Brand. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1995.

McKay G. Senseless Acts of Beauty. L.: Verso, 1996.

McKay G. (ed.). DiY Culture. L.: Verso, 1998.

McLuhan M. The Gutenberg Galaxy. L.: Routledge, 1962 (*Мак-Люэн М.* Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. М.: Ника-Центр, 2003).

McRae H. New York? London? We're All on the Move // *The Independent*. 1997. 16 July.

McTaggart J. The Nature of Existence. Vol. 2. Book 5. Cambridge: Cambridge University Press, 1927.

Mead G.H. The Philosophy of the Present. La Salle (IL): Open Court, 1959.

Meehan E. European Citizenship and Social Policies // *The Frontiers of Citizenship* / ed. by U. Vogel, M. Moran. L.: Macmillan, 1991.

Meijer I. Advertising Citizenship: An Essay on the Performative Power of Consumer Culture // *Media, Culture and Society*. 1998. No. 20. P. 235–249.

Menon M. Effects of Modern Science and Technology on Relations between Nations // *World Citizenship. Allegiance to Humanity* / ed. by J. Rotblat. L.: Macmillan, 1997.

- Merchant C.* The Death of Nature. San Francisco (CA): Harper & Row, 1982.
- Meyrowitz J.* No Sense of Place. N.Y.: Oxford University Press, 1985.
- Michael M.* Constructing Identities. L.: Sage, 1996 (*Майкл М.* Конструирование идентичностей: социальные, внечеловеческие и трансформирующие факторы // Реферат. ж-л: Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология. 1999. № 4.1. С. 88–102).
- Michael M.* Hybridising Regularity: A Characterology and Chronology of the Hudogledog' // Actor Network and After Conference. Keele University. 1997. July.
- Michael M.* Co(a)gency and the Car: Attributing Agency in the Case of the 'Road Rage // Machines, Agency and Desire / ed. by B. Brenna, J. Law, I. Moser. Oslo: TMV Skriftserie, 1998.
- Michael M., Still A.* A Resource for Resistance: Power-Knowledge and Affordance // Theory and Society. 1992. No. 21. P. 869–888.
- Middleton D., Edwards D.* (eds). Collective Remembering. L.: Sage, 1990.
- Miller D.* Material Cultures. L.: UCL Press, 1998.
- Miller S.* Urban Dreams and Rural Reality: Land and Landscape in English Culture, 1920–45 // Rural History. 1995. No. 6. P. 89–102.
- Milton K.* Land or Landscape: Rural Planning Policy and the Symbolic Construction of the Countryside // Rural development in Ireland / ed. by M. Murray, J. Greer. Aldershot: Avebury, 1993.
- Mingers J.* Self-Producing Systems. N.Y.: Plenum, 1995.
- Mlinar Z.* Globalization as a Research Agenda / Paper Given to the European Sociological Association. Colchester, 1997. August.
- Mol A., Law J.* Regions, Networks and Fluids: Amaemia and Social Topology // Social Studies of Science. 1994. No. 24. P. 641–671.
- Morley D.* Television: Not so Much a Visual Medium, More a Visible Object // Visual Culture / ed. by C. Jenks. L.: Routledge, 1995.
- Morley D., Robins K.* Spaces of Identity. L.: Routledge, 1995.
- Morris M.* At Henry Parkes Motel // Cultural Studies. 1988. No. 2. P. 1–47.
- Morrison T.* Song of Soloman. L.: Picador, 1989 (*Моррисон Т.* Песнь Соломона. М.: Прогресс, 1982).

Mulvey L. Visual and Other Pleasures. L.: Macmillan, 1989.

Murdoch J. Actor-networks and the Evolution of Economic Forms: Combining Description and Explanation in Theories of Regulation, Flexible Specialisation, and Networks // Environment and Planning A. 1995. No. 27. P. 731–757.

Murdock G. Citizens, Consumers, and Public Culture // Media Cultures / ed. by M. Shovmand, K. Shrøder. L.: Routledge, 1992.

Myers G. Ad Worlds. L.: Arnold, 1999.

Nairn T. The Enchanted Glass: Britain and its Monarchy. L.: Radius, 1988.

Nash R. The Rights of Nature. Madison (WI): University of Wisconsin Press, 1989 (*Нэш Р.* Права природы. История экологической этики. Киев: КЭКЦ, 2001).

Negroponte N. Being Digital. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1995.

Newby H. A Green and Pleasant Land. L.: Hutchinson, 1979.

Newby H. Citizenship in a Green World: Global Commons and Human Stewardship // Citizenship Today / ed. by M. Bulmer, A. Rees. L.: UCL Press, 1996.

Nguyen D. The Spatialisation of Metric Time // Time and Society. 1992. No. 1. P. 29–50.

Nowotny H. Time. Cambridge: Polity, 1994.

O'Brien J., Colebourne A., Rodden T., Benford S., Snowden D. Informing the Design of Collaborative Virtual Environments, Department of Sociology. Lancaster University, 1997.

O'Connor B. Riverdance // Encounters with Modern Ireland / ed. by M. Peillon, E. Salter. Dublin: IPA, 1998.

O'Neill J. Ecology, Policy and Politics. L.: Routledge, 1993.

Ohmae K. The Borderless World. L.: Collins, 1990 (*Омэ К.* Мир без границ // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 1).

Oldenburg R. The Great Good Places. N.Y.: Marlowe & Company, 1989.

Ong W. Orality and Literacy. L.: Methuen, 1982.

Orwell G. The Road to Wigan Pier. L.: Victor Gollancz, 1937.

Osborne P. The Politics of Time // Radical Philosophy. 1994. No. 68. P. 3–9.

- Pahl R.* After Success. Cambridge: Polity, 1995.
- Parr M.* Small World. Stockport: Dewi Lewis, 1995.
- Parson T., Shils E.* Towards a General Theory of Action. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1951.
- Parsons T.* Structure and Process in Modern Societies. N.Y.: Free Press, 1960.
- Parsons T.* The System of Modern Societies. Englewood Cliffs (NJ) Prentice-Hall, 1971 (*Парсонс Т.* Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1998).
- Peel J.* Herbert Spencer: The Evolution of a Sociologist. L.: Heinemann, 1971.
- Peillon M., Salter E.* Encounters with Modern Ireland. Dublin: IPA, 1998.
- Peters T.* Liberation Management. L.: Macmillan, 1992.
- Pickering J.* Agents and Artefacts // Social Analysis. 1997. No. 41. P. 46–63.
- Pierson C.* The Modern State. L.: Routledge, 1996.
- Pilkington E., Clouston E., Traynor I.* How a Wave of Public Opinion Bowled over the Shell Monolith // Guardian. 1995. 22 June.
- Pinkney T.* Raymond Williams. Bridgend: Seren Books, 1991.
- Plant S.* Zeros and Ones. L.: Fourth Estate, 1997.
- Plumwood V.* Feminism and the Mastery of Nature. L.: Routledge, 1993.
- Popper K.* The Open Society and its Enemies. L.: Routledge & Kegan Paul, 1962 (*Поппер К.* Открытое общество и его враги. М.: Культурная инициатива, 1992).
- Porteous J.* Smellscape // Progress in Human Geography. 1985. No. 9. P. 356–378.
- Porteous J.* Landscapes of the Mind: Worlds of Sense and Metaphor. Toronto: Toronto University Press, 1990.
- Power M.* The Audit Explosion. L.: Demos, 1994.
- Prato P., Trivero, G.* The Spectacle of Travel // The Australian Journal of Cultural Studies. 1985. No. 3.
- Pratt M.* Imperial Eyes. L.: Routledge, 1992.
- Prigogine I.* From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. San Francisco (CA): W.H. Freeman, 1980 (*Приго-*

жин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М.: КомКнига, 2006).

Prigogine I., Stengers I. Order Out of Chaos. L.: Heinemann, 1984 (Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986).

Radcliffe-Brown R. Structure and Function in Primitive Society. L.: Cohen & West, 1952 (Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. М.: Восточная литература, 2001).

Radley A. Artefacts, Memory and a Sense of Place // Collective Remembering / ed. by D. Middleton, D. Edwards. L.: Sage, 1990.

Rapoport A. The Dual Role of the Nation State in the Evolution of World Citizenship // World Citizenship: Allegiance to Humanity / ed. by J. Rotblat. L.: Macmillan, 1997.

Reed M., Harvey D. The New Science and the Old: Complexity and Realism in the Social Sciences // Journal for the Theory of Social Behaviour. 1992. No. 353–380.

Rees A. T.H. Marshall and the Progress of Citizenship // Citizenship Today / ed. by M. Bulmer, A. Rees. L.: UCL Press, 1996.

Reich R. The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism. N.Y.: Knopf, 1991.

Reid E. Virtual Worlds, Culture and Imagination' // Cybersociety / ed. by S. Jones. L.: Sage, 1995.

Rex J. Key Problems of Sociological Theory. L.: Routledge, 1961.

Rheingold H. The Virtual Community. L.: Secker & Warburg, 1994.

Richardson D. Sexuality and Citizenship' // Sociology. 1998. No. 32. P. 83–100.

Rifkin J. Time Wars: The Primary Conflict in Human History. N.Y.: Henry Holt, 1987.

Ritzer G. The McDonaldization of Society. L.: Pine Forge, 1992 (Ритцер Дж. Макдональдизация общества. М.: Праксис, 2011).

Ritzer G. Expressing America. L.: Pine Forge, 1995.

Ritzer G. «McDisneyization» and «Post-Tourism»: Complementary Perspectives on Contemporary Tourism // Touring Cultures / ed. by C. Rojek, J. Urry. L.: Routledge, 1997.

Robertson R. Mapping the Global Condition: Globalisation as the Central Concept // Global Culture / ed. by M. Featherstone. L.: Sage, 1990.

- Robertson R.* Globalization. L.: Sage, 1992.
- Robins K.* Into the Image. L.: Routledge, 1996.
- Roche M.* Mega-Events and Modernity. L.: Routledge, 1999.
- Roche M., van Berkel R.* European Citizenship and Social Exclusion. Aldershot: Ashgate, 1997.
- Rodaway P.* Sensuous Geographies. L.: Routledge, 1994.
- Roderick I.* Household Sanitation and the Flows of Domestic Space // Space and Culture. 1997. No. 1. P. 105–132.
- Rorty R.* Philosophy and the Mirror of Nature. Oxford: Blackwell, 1980 (*Рорти Р.* Философия и зеркало природы. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1997).
- Rose N.* Refiguring the Territory of Government // Economy and Society. 1996. No. 25. P. 327–356.
- Rotblat J.* Preface, Executive Overview // World Citizenship. Allegiance to Humanity / ed. by J. Rotblat. L.: Macmillan, 1997a.
- Rotblat J.* (ed.). World Citizenship. Allegiance to Humanity. L.: Macmillan, 1997b.
- Rowan D.* Meet the New World Government // Guardian. 1998. 13 February. P. 15.
- Rowell A.* Green Backlash. L.: Routledge, 1996.
- Roy A.* The God of Small Things. L.: Flamingo, 1997.
- Runciman G.* Why Social Inequalities are Generated by Social Rights // Citizenship Today / ed. by M. Bulmer, A. Rees. L.: UCL Press, 1996.
- Rushdie S.* Midnight's Children. L.: Vintage, 1995 (*Пушди С.* Дети полуночи. М.: Лимбус Пресс, 2006).
- Rushkoff D.* Cyberia: Life in the Trenches of Hyperspace. L.: Flamingo, 1994.
- Sachs W.* (ed.). Global Ecology. L.: Zed, 1993.
- Samuel R.* Theatres of Memory. L.: Verso, 1994.
- Samuel R.* Island Stories. L.: Verso, 1998.
- Sardar Z.* alt. Civilizations.faq: Cyberspace as the Darker Side of the West // Cyberfutures / ed. by Z. Sardar, J. Ravetz. L.: Pluto, 1996.
- Sardar Z., Ravetz J.* (eds). Cyberfutures. L.: Pluto, 1996.
- Scannell P.* Radio, Television and Modern Life. Oxford: Blackwell, 1996.

Schama S. Landscape and Memory. L.: HarperCollins, 1995.

Schivelbusch W. The Railway Journey: Trains and Travel in the Nineteenth Century. Oxford: Blackwell, 1986.

Schmalenbach H. Herman Schmalenbach: On Society and Experience. Chicago (IL): University of Chicago Press, 1977.

Schor J. The Overworked American. N.Y.: Basic, 1992.

Scott J. Corporate Business and Capitalist Classes. Oxford: Oxford University Press, 1997.

Sennett R. The Conscience of the Eye. L.: Faber, 1991.

Sennett R. Flesh and Stone. L.: Faber and Faber, 1994 (*Сеннетт Р.* Плоть гражданственности. Мультикультурный Нью-Йорк // Неприкосновенный запас. 2010. № 2(70)).

Sharratt B. Communications and Image Studies: Notes after Raymond Williams // Comparative Criticism. 1989. No. 11. P. 29–50.

Shaw M. Global Society and International Relations: Sociological Concepts and Political Perspectives. Cambridge: Polity Press, 1994.

Shields R. (ed.). Cultures of Internet. L.: Sage, 1996.

Shields R. Ethnography in the Crowd: The Body, Sociality and Globalization in Seoul // Focaal. 1997a. No. 30–31. P. 23–38.

Shields R. Flow as a New Paradigm // Space and Culture. 1997b. No. 1. P. 1–4.

Schildrick M. Leaky Bodies and Boundaries. L.: Routledge, 1997.

Shils E. Sociology // The Social Science Encyclopaedia / ed. by A. and J. Kuper. L.: Routledge, 1985.

Shiva V. Staying Alive. L.: Zed, 1989.

Shove E. Consuming Automobility / Scenesustech. Sociology Department. Trinity College. Dublin, 1998.

Silverstone R., Hirsch E. (eds). Consuming Technologies. L.: Routledge, 1992.

Silverstone R., Hirsch E., Morley D. Information and Communication Technologies and the Moral Economy of the Household // Consuming Technologies / ed. by R. Silverstone, E. Hirsch. L.: Routledge, 1992.

Sklair L. Sociology of the Global System. 2nd ed. Hemel Hempstead: Harvester, 1995.

Smart J. Philosophy and Scientific Realism. L.: Routledge, 1963.

- Smith A.* State-Making and Nation-Building // States in History / ed. by J. Hall. Oxford: Blackwell, 1986.
- Smith J.* Writing the Aesthetic Experience // Writing Worlds / ed. by T. Barnes, J. Duncan. L.: Routledge, 1992.
- Sontag S.* On Photography. Harmondsworth: Penguin, 1979 (Зонтаг С. О фотографии // Мир фотографии. М.: Планета, 1998).
- Sontag S.* Aids and its Metaphors. Harmondsworth: Penguin, 1991.
- Sorokin P.* Social and Cultural Dynamics. Vol. 2. N.Y.: American Books, 1937 (Сорокин П. Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006).
- Sorokin P., Merton R.* Social Time: A Methodological and Functional Analysis' // American Journal of Sociology. 1937. No. 42. P. 615–629 (Сорокин П.А., Мертон Р.К. Социальное время: опыт методологического и функционального анализа // Социологические исследования. 2004. № 6. С. 112–119).
- Soysal Y.* Limits of Citizenship. Chicago (IL): University of Chicago Press, 1994.
- Spence J., Holland P.* Family Snaps: the Meanings of Domestic Photography. L.: Virago, 1991.
- Spencer H.* The Principles of Sociology. Vol. 1. L.: Williams & Norgate, [1876] 1893.
- Spillman L.* Nation and Commemoration. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Spufford F.* I May Be Some Time. L.: Faber & Faber, 1996.
- Stacey J.* Teratologies: a Cultural Theory of Cancer. L.: Routledge, 1997.
- Stafford B.M.* Artful Science. Cambridge (MA): MIT Press, 1994.
- Stallybrass P., White A.* The Politics and Poetics of Transgression. L.: Methuen, 1986.
- Stevenson N.* Globalization, National Cultures and Cultural Citizenship // The Sociological Quarterly. 1997. No. 38. P. 41–66 (Стивенсон Н. Глобализация, национальные культуры и культурное гражданство // Глобализация: Контуры XXI века. Рефер. сб. Ч. III. М., 2002. С. 7).
- Stone A.* Will the Real Body Please Stand up? Boundary Stories about Virtual Cultures // Cyberspace / ed. by M. Benedikt. Cambridge (MA): MIT Press, 1991.

- Strathern M.* After Nature. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Sullivan K.* The New Promethean Fire: Radioactive Monsters and Sustainable Nuclear Futures / Ph.D. Department of Sociology. Lancaster University, 1999.
- Szerszynski B.* Uncommon Ground: Moral Discourse, Foundationalism and the Environmental Movement / Ph.D. Department of Sociology. Lancaster University, 1993.
- Szerszynski B.* The Varieties of Ecological Piety // Worldviews: Environment, Culture, Religion. 1997. No. 1. P. 37–55.
- Szerszynski B., Toogood M.* Global Citizenship, the Environment and the Mass Media // The Media Politics of Environmental Risks / ed. by S. Allen, B. Adam, C. Carter. L.: UCL Press, 1999.
- Taylor J.* A Dream of England. Manchester: Manchester University Press, 1994.
- Taylor P.* Iizations of the World: Americanization, Modernization and Globalization // Globalization Workshop. University of Birmingham Politics Department. 1997. March.
- Temourian H.* Iran Bans Baywatch with Purge on «Satan's dishes» // Sunday Times. 1995. 23 April.
- Tester K.* (ed.) The Flâneur. L.: Routledge, 1995.
- Therborn G.* European Modernity and Beyond. L.: Sage, 1995.
- THES. Smarten up Those Baggy Notions Now // The Times Higher Education Supplement. 1997. 30 May.
- Thomas J.* The Politics of Vision and the Archaeologies of Landscape // Landscape, Politics and Perspectives / ed. by B. Bender. Oxford: Berg, 1993.
- Thompson E.P.* Time, Work-Discipline and Industrial Capitalism // Past and Present. 1967. No. 36. P. 57–97.
- Thompson J.* The Media and Modernity. Cambridge: Polity, 1995.
- Thompson J.* Scandal and Social Theory. Mimeo, SPS, University of Cambridge, 1997.
- Thoreau H.* Walden or Life in the Woods. L.: Chapman & Hall, [1854] 1927 (*Торо Д.Г.* Уолден, или Жизнь в лесу. М.: АН СССР, 1962).
- Thrift N.* The Making of a Capitalist Time Consciousness // The Sociology of Time / ed. by J. Hassard. L.: Macmillan, 1990.

Thrift N. Spatial Formations. L.: Sage, 1996.

Toogood M. Globcit Image Database: Description and Categorisation of Images / Mimeo. CSEC. Linguistics. Sociology Departments. Lancaster University, 1998.

Touraine A. Culture without Society // Cultural Values. 1998. No. 2. P. 140–157.

Tuan Y.-F. Sight and Pictures // Geographical Review. 1979. No. 69. P. 413–422.

Tuan Y.-F. Passing Strange and Wonderful. Washington (DC): Island Press, 1993.

Turkle S. Life on the Screen. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1996.

Turner B. Citizenship and Capitalism: The Debate over Reformism. L.: Allen & Unwin, 1986.

Turner B. Contemporary Problems in the Theory of Citizenship // Citizenship and Social Theory / ed. by B. Turner. L.: Sage, 1993a.

Turner B. Outline of a Theory of Human Rights // Citizenship and Social Theory / ed. by B. Turner. L.: Sage, 1993b.

Urry J. The Tourist Gaze. L.: Sage, 1990 (*Урри Дж.* Взгляд туриста и глобализация // Массовая культура: современные западные исследования. М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005. С. 136–150).

Urry J. Consuming Places. L.: Routledge, 1995.

Urry J. How Societies Remember the Past // Theorizing Museums / ed. by S. Macdonald, G. Fyfe. Oxford: Sociological Review Monographs, 1996.

Van den Abbeele G. Sightseers: the Tourist as Theorist // Diacritics. 1980. No. 10. P. 3–14.

Van Hear N. New Diasporas. L.: UCL Press, 1998.

van Steenbergen B. Towards a Global Ecological Citizen // The Condition of Citizenship / ed. by B. van Steenbergen. L.: Sage, 1994.

Virilio P. Speed and Politics. N.Y.: Semiotext(e), 1986.

Virilio P. The Work of Art in the Age of Electronic Reproduction // Interview in «Block». 1988. No. 14. P. 4–7.

Virilio P. The Vision Machine. Bloomington (IN): Indiana University Press, 1994 (*Вирильо П.* Машина зрения. СПб.: Наука, 2004).

Walby S. Women and Citizenship: Towards a Comparative Analysis // University College of Galway Women's Studies Centre Review. 1996. No. 4. P. 41–58.

Walby S. Gender Transformations. L.: Routledge, 1997.

Walby S. The New Regulatory State: The Social Powers of the European Union' // British Journal of Sociology. 1999. No. 50. P. 118–140.

Wallace A. Walking, Literature and English Culture. Oxford: Clarendon Press, 1993.

Wallerstein I. World-Systems Analysis' // Social Theory Today / ed. by J. Turner, A. Giddens. Cambridge: Polity, 1987.

Wallerstein I. Unthinking Social Science. Cambridge: Polity, 1991.

Wallerstein I. The Heritage of Sociology, the Promise of Social Science // Presidential Address, 14th World Congress of Sociology, Montreal. July 1998 (*Валлерстайн И.* Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: Логос, 2003).

Walvin J. Beside the Seaside. L.: Allen & Unwin, 1978.

Ward N. Surfers, Sewage and the New Politics of Pollution // Area. 1996. No. 28. P. 331–338.

Wark M. Virtual Geography: Living with Global Media Events. Indiana: Indiana University Press, 1994.

Waters M. Globalization. L.: Routledge, 1995.

Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. L.: Unwin, [1904–5] 1930 (*Вебер М.* Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 44–271).

Weiss L. The Myth of the Powerless State. Cambridge: Polity, 1998.

Wheeler M. (ed.). Ruskin and the Environment. Manchester: Manchester University Press, 1995.

Whitelegg J. Critical Mass. L.: Pluto, 1997.

Williams R. Ideas of Nature // Ecology: the Shaping Enquiry / ed. by J. Benthall. L.: Longman, 1972.

Williams R. The Country and the City. L.: Chatto & Windus, 1973.

Williams R. Border Country. L.: Hogarth Press, 1988.

Williams R. Mining the Meaning: Keywords in the Miners' Strike // in Resources in Hope. L.: Verso, 1989.

Wilson A. Culture of Nature. Oxford: Blackwell, 1992.

Wilson E.O. Sociobiology. Cambridge (MA): Belknap, 1980.

Wolff J. On the Road Again: Metaphors of Travel in Cultural Criticism // Cultural Studies. 1993. No. 7. P. 224–239.

- Woolff V.* The Three Guineas. L.: Harcourt, Brace & Ward, 1938.
- Wood K., House S.* The Good Tourist: a Worldwide Guide for the Green Traveller. L.: Mandarin, 1991.
- Wordsworth W.* The Illustrated Wordsworth's Guide to the Lakes / ed. by P. Bicknell. L.: Book Club Associates, [1844] 1984.
- Worster D.* The Intrinsic Value of Nature // Environmental Review. 1980. No. 4. P. 43–47.
- Wright P.* On Living in an Old Country. L.: Verso, 1985.
- WTO. Yearbook of Tourism Statistics. 1996. 49th edn. Vols 1–2. Madrid: World Tourism Organisation, 1997.
- Wynne B.* After Chernobyl: Science Made too Simple // New Scientist. 1991. P. 44–46.
- Wynne B.* Scientific Knowledge and the Global Environment // Social Theory and the Global Environment / ed. by M. Redclift, T. Benton. L.: Routledge, 1994.
- Young H.* Democracy Ditched in Waves of Escapism // Guardian. 1995. 22 June.
- Yuval-Davis N.* National Spaces and Collective Identities: Borders, Boundaries, Citizenship and Gender Relations. Inaugural Lecture, University of Greenwich, 1997.
- Zerubavel E.* The Standardisation of Time: A Sociohistorical Perspective // American Journal of Sociology. 1888. No. 88. P. 1–23.
- Zimmerman M.* Heidegger's Confrontation with Modernity. Bloomington (IA): Indiana University Press, 1990.
- Zohar D., Marshall I.* The Quantum Society. N.Y.: William Morrow, 1994.

Научное издание

Серия «Социальная теория»

ДЖОН УРРИ

СОЦИОЛОГИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЩЕСТВ: ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ XXI СТОЛЕТИЯ

Главный редактор

ВАЛЕРИЙ АНАШВИЛИ

Заведующая книжной редакцией

ЕЛЕНА БЕРЕЖНОВА

Редактор

МАРИНА КОВАЛЕВА

Художник

ВАЛЕРИЙ КОРШУНОВ

Верстка

НАТАЛЬЯ ПУЗАНОВА

Корректор

ГАЛИНА КРИКУНОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

101000, Москва, ул. Мясницкая, 20

Тел./факс: (495) 611-15-52

Подписано в печать 15.05.2012. Формат 60×90/16

Гарнитура Minion Pro. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 17,9

Печать офсетная. Тираж 1000 экз.

Изд. № 1271. Заказ №

Отпечатано ООО «Информационные

Банковские Системы. Консалтинг»

105264, Москва, ул. 4-я Парковая, 23

Тел./факс: (499) 272-00-03

ISSN 978-5-7598-0824-4



9 785759 808244

Джон Урри
Социология
за пределами обществ
*Виды мобильности
для XXI столетия*



В Ы С Ш А Я
Ш К О Л А
Э К О Н О М И К И